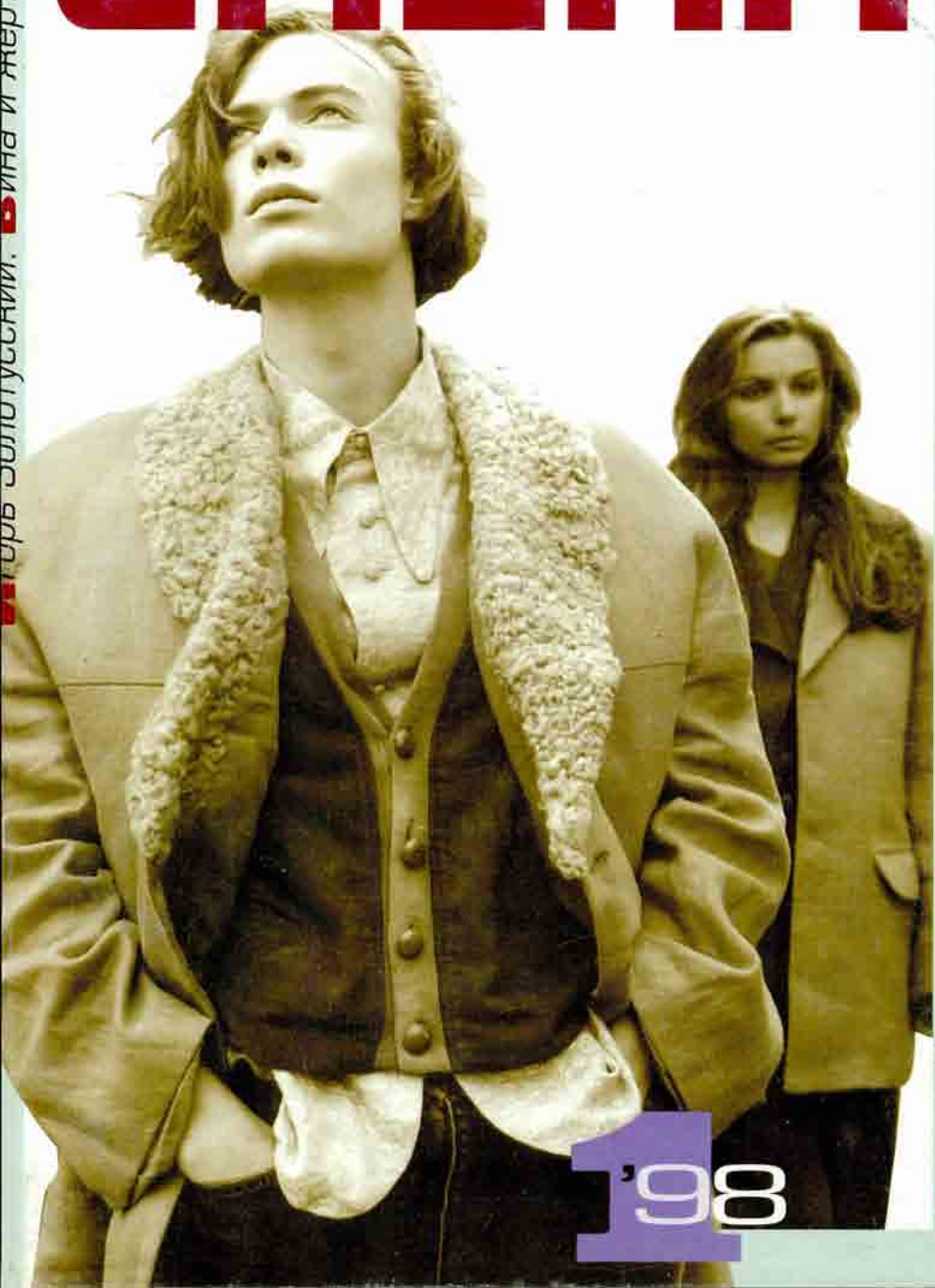


СМЕНА

В горах Салатусский. Вина и жертва



198

Сергей Устинов. Стеклоанный дом

СОВРЕМЕННОМУ МОТОРУ



МАСЛО

ЛУКОЙЛ

СМЕНА

Главный редактор

Михаил Низилов

зам. главного редактора

Редколлегия:

*Валерий Гуринович
Борис Даношевский
Николай Левичев
Сергей Попов
Виталий Федоров
Тамара Чичина*

**зам. главного редактора
главный дизайнер**

Литературно-
Художественный
Иллюстрированный
Журнал

198
(1589) ЯНВАРЬ

Основан
в январе
1924 года.

Сдано в набор 10.11.97
Подписано и печати 28.11.97

Бумага офсетная

Печать офсетная

Тиражи 52 000 экз.

Цена свободная

101457, ГПТ, Москва,

Бумажный проезд, 14

212-15-07 — для справок

250-29-39 — отдел реализации

250-49-98 — отдел рекламы

Факс (095) 250-59-28.

Журнал зарегистрирован

в Комитете Российской

Федерации по печати

Рег. № 014832

Учредитель —

коллектив редакции журнала "Смена".

Рукописи, фото и рисунки

не возвращаются

© Дизайн — Виталий Федоров

Набор, верстка и цветоделение

Valid Design Alliance

Издательство "Открытые системы".

Отпечатано в типографии:

"Strohhal" (Австрия)

**Журнал выходит
12 раз в год.**

© "Смена" 1998

32 Юрий Слезнин
ГЛУПОЕ СЕРДЦЕ
Рассказ

118 Валерий Аграновский
ОБЕЛИСК
Рассказ

158 Сергей Устинов
СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ
Детектив

276 Геннадий Новожилов
ЦЫГАН И ЗМЕЙ
Сказка

20 Сергей Литвинов
ЗДЕСЬ РОДИЛСЯ ШТИРЛИЦ

40 Ралиф Сафин
**"...И ТОГДА
Я ПОСТРОИЛ ХРАМ"**

46 Григорий Киперман
МЕТРЫ ПЕРЕМЕН

64 Ирина Савельева
"КОСАЯ" ЖИЗНЬ

84 Виктор Маматов
**ЧТО НАС ОЖИДАЕТ
В НАГАНО?**

133 Татьяна Смольякова
БЕЗ ЛЕКАРСТВ

140 Галина Брынцева,
Нина Фокина
**ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ СТАТЬ МАТЕРЬЮ**

В НОМЕРЕ:
98



На Т-ой обложке:
фотохуд.
Владимира Клявкин

Иван Зюзюкин
**ЗАМУЧЕН
И СОЖЖЕН.
ЗА ЧТО?**

Человек великого духа,
талантливейший писатель —
это протопол Авванум,
чья драматическая судьба
потрясает
и спустя три века...

2
АНО

4 **Любовь Русева**
БЕЛЫЙ ГЕНЕРАЛ

24 **Игорь Золотуский**
ВИНА И ЖЕРТВА

90 **Михаил Лебедевский**
САЛЬВАДОР ДАЛИ

268 **Рамазан Рамазанов**
ВОЛШЕБНЫЙ ЗОНТ

36 **Сергей Гончаренко**



Татьяна Смольянова
РОЗЫ ДЬЯВОЛА

Псориаз — одно из самых загадочных заболеваний; медицина до сих пор не может разгадать тайну его происхождения...

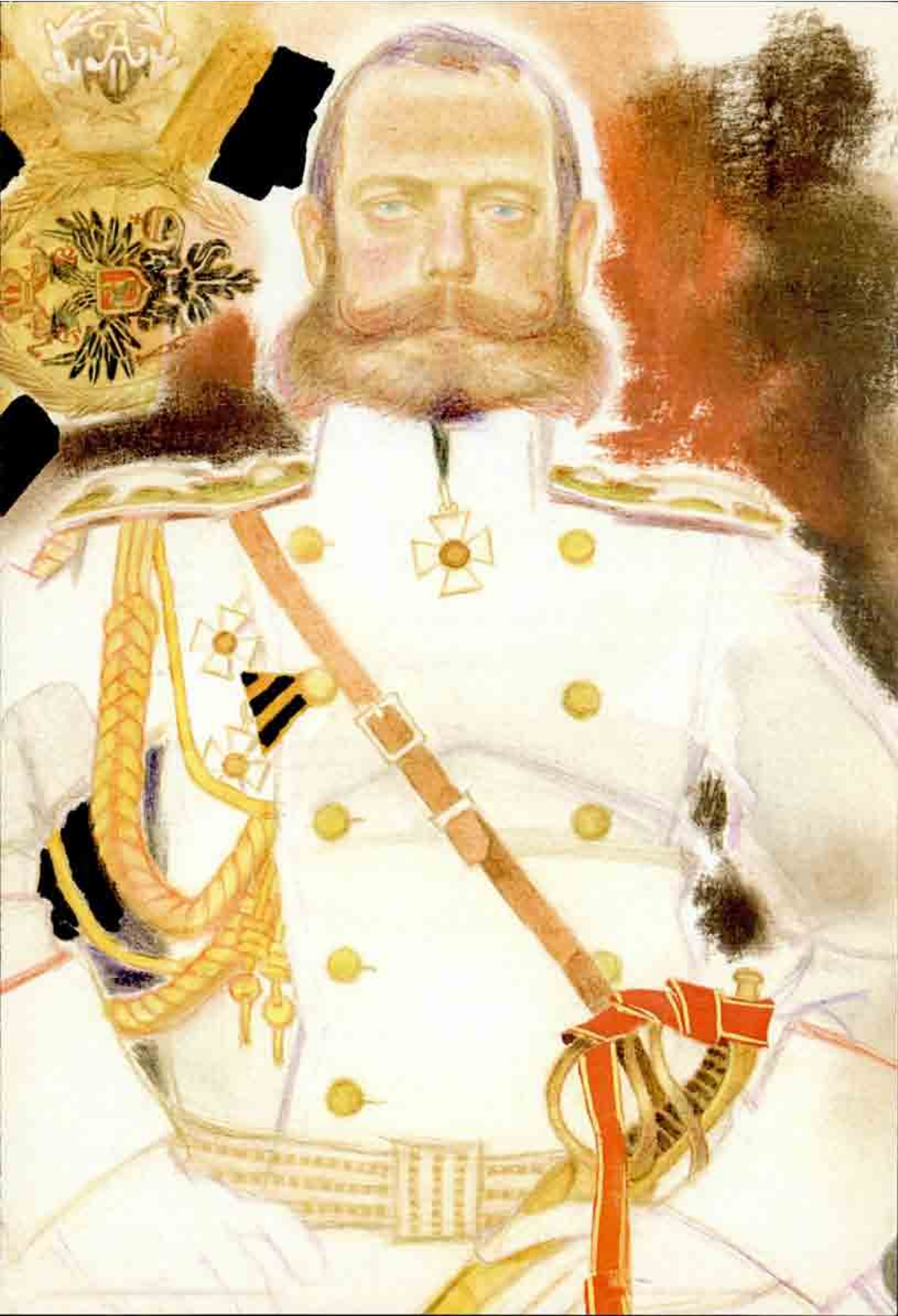
Филипп Дик
КОЛОНИСТЫ

Даленая планета назалась высадившимся на нее землянам тихой и безопасной, но вдруг преподнесла сюрприз: некая материальная субстанция начала клонировать предметы, делая безобидные вещи смертельно опасными...

98

НСЕ





ВАЛДАМ ГЕНЕРАЛ

"На войне только невозможное возможно".
Генерал Скобелев

ЛЮБОВЬ РУСЕВА

— Круковский!

— Я здесь, ваше-ство.

— Ты что, мерзавец, хочешь, чтобы меня убили?!

— Помилуй Бог, ваше-ство.

— Так почему на кителе пятно? Это же мишень для турка!

Так отчитывал своего денщика народный герой и любимец — Михаил Дмитриевич Скобелев. В бой он шел всегда на великолепном белом скакуне и одет был в белоснежный китель. Скобелев был фаталистом. Он верил, как и многие его солдаты, что его пуля не возьмет. Но пятно на кителе считал плохой приметой...

— Где генерал?

— А вишь, перестрелка с левого хлангу идет!..

— Ну?

— Значит, это он объезжает позицию!

Это было точное указание, где искать Скобелева. По мчавшемуся на белой лошади генералу из ближайших турецких траншей били залпами. Скобелев несется вперед, не обращая внимания на град осыпавших его пуль. Шагов за двести до ложементов турок он останавливается как вкопанный. Лошадь не шевельнет ушами. Он сам высматривал неприятельскую позицию, поэтому во время боя всегда хорошо ориентировался.

— Чего вы это напрасно подвергаете себя опасности? — заметил ему кто-то.

— Нужно же показать своим, что турки не умеют стрелять!

рисунки Г. Аннедидия и И. Овчинникова

Храбрость Михаила Дмитриевича была беспримерной. Во время отступления от Плевны требовалось удержать турок и дать возможность отойти нашим войскам. Скобелев вначале с сотней казаков отстреливался от превосходящих сил неприятеля, но затем велел себе подать бурку и под убийственным огнем лег спать, приказав не отступать, пока он не проснется. Горстка казаков держалась около любимого генерала, не подпуская турок.

— Неужели вы спали?

— Спал...

— При таких условиях?

— Если надо — я могу спать при всяких условиях!

Михаил Скобелев был третьим генералом и Георгиевским кавалером в семье. Прадед его — крестьянин Самарской губернии — дослужился до сержантского чина, что по тем временам дало ему право стать помещиком-однодворцем, то есть получить надел без крепостных душ. Дед Михаила Дмитриевича — Иван Никитич прошел путь от простого солдата до генерала. Во время войны с Наполеоном служил старшим адъютантом фельдмаршала Кутузова, которого по смерти и проводил в последний путь. О храбрости и самообладании Скобелева говорит хотя бы такой эпизод. Когда под Минском в дни польского восстания ему раздробило левую руку, он во время операции, сидя на барабане, диктовал свой знаменитый приказ по полку, в котором между прочим говорилось, что для службы ему и "трех оставшихся пальцев с избытком достаточно".

Иван Никитич считал, что нет лучше русского воина, его он беззаветно любил. "В сотовариществе с солдатами отцвели лучшие дни моей жизни..." "Русского солдата хоть распили, а правды врагам не скажет". "Невозможность для русского солдата еще не придумана... невозможность — мечта. Невозможность — чужое слово. Где же невозможность? Высылай ее к нам на волах или на кораблях, а у нас она тотчас заплещет вприсядку". Генерал никогда не забывал, что службу он начинал в солдатской шинели, и сыну своему, Дмитрию Ивановичу, оставил десять заповедей, в которых советует не гордиться, не поддаваться соблазнам и не забывать, что он "не более как сын русского солдата и что в родословной твоей первым свинцом означенный кружок вмещает порохом воняющую фигуру отца твоего, который потому только не носил лаптей, что босиком бегать ему было легче".

Иван Никитич вернулся из Франции уже генералом и был назначен генерал-полицеймейстером 1-й армии. В связи с историей Семёновского полка он мужественно заступился за опальный полк и высказал главнокомандующему своей армии мнение, что "полиция, собственно, в армии не надобна и что она была бы явным оскорблением честолюбия ревнующих к пользам службы воинов". За это заступничество генерала отправили в отставку. Но позже, в 1828 году, Иван Никитич назначается дивизионным командиром, правда, прослужил недолго — уже через два года, лишившись руки, израненный, он вынужден расстаться с действительной службой. Удалившись на покой, боевой генерал занялся писательством и стал известным литератором.

Правда, до конца жизни он так и не научился грамотно писать, его сочинения обычно поправлял Греч. В доме Ивана Никитича постоянно собирались русские писатели и поэты.

Сын его воспитывался уже в совершенно других условиях. Дмитрий Иванович Скобелев по традиции тоже стал военным и дослужился до генерала, хотя современники говорили о нем, что он сын знаменитого отца и отец знаменитого сына. Д.И. Скобелев унаследовал от Ивана Никитича богатое наследство, большие хозяйственные способности и скупость. Наследство отца Дмитрий Иванович увеличил до огромного миллионного состояния. Женившись на Ольге Николаевне Полтавцевой, породнился с аристократическими фамилиями Адлербергов и Барановых. Как командир конвоя, он был близок ко двору, что сделало его эластичным, покладистым и “куртуазным” человеком.

Ольга Николаевна — интересная женщина, с властным и настойчивым характером — самозабвенно любила своего единственного сына и, когда тот находился на войне, посещала его. Ольга Николаевна возглавила болгарский отдел Красного Креста, открыла в Филиппополе приют для 250 детей, а также школы и приюты в других городах Болгарии и Румелии. В 1880 году ее зверски убили разбойники, главой которых был капитан румелийской полиции русский поручик А. Узатис, служивший во время турецкой войны под началом Михаила Дмитриевича Скобелева и многим ему обязанный. Узнав, кого убила его шайка, Узатис покончил с собой.

— Со смертью матери у меня оторвалось многое от сердца, — горько сокрушался генерал. — И зажить оно не может. Все кровью сочится. К кому я пойду теперь, когда душа заболит?.. Вечно один и один... Сослуживцы?.. Я их глубоко люблю, знаю, и они меня любят, но это все не то. Тут я был сыном, другом... Один я знаю, насколько я обязан ей, ее советам, ее влиянию. Она одна меня понимала. Ах, если бы она могла жить со мною постоянно...

Теплые чувства связывали и отца с сыном, но они постоянно подшучивали друг над другом, поддевая один другого. Оба генералы, но сын командовал большим отрядом, у него уже Георгий на шее. Отца это и радовало и злило.

— А все-таки я старше тебя!.. — подначивал Михаил Дмитриевич отца. — Дослужился до того, что я тебя перегнал... Неужели тебе, папа, не обидно?..

— А я тебе денег не дам... — находилась Дмитрий Иванович.

— То есть как же это?

— А так, что и не дам... Живи на жалованье...

— Папа! Какой ты еще удивительно красивый, — начинал отступать сын. — Расскажи, пожалуйста, мне что-нибудь о венгерской кампании... Знаешь, о том деле, где ты получил Георгия... Отец у меня, господа, молодчинище... В моих жилах течет его кровь...

— А я все-таки тебе денег не дам!

Щедрость сына и скупость отца были хорошо всем известны, и на этой почве у них часто бывали столкновения.

Когда в Болгарии отряд М.Д.Скобелева накануне зимы остался без полушубков, а денег ни в полку, ни у него самого не было, он обратился к отцу.

— Нет у меня денег! Ты мотаешь... Это невозможно. Вздумал, наконец, солдат одевать на мой счет...

Через некоторое время Михаил Дмитриевич узнал, что несколько сот полушубков привезены румыном, и он вновь отправился к своему добродушному, но скупому отцу.

— Здравствуй, отец! — целуя руку отца, сказал Скобелев.

— Сколько? — спрашивает Дмитрий Иванович.

— Что сколько?

— Денег сколько тебе надо?.. Ведь я тебя насквозь вижу... Промотался, верно...

— Что это ты в самом деле... Я еще с собой привез несколько тысяч... Помоги мне купить полушубки на полковые деньги. Ты знаешь, ведь я без тебя ничего не понимаю!

— Еще бы ты чего-нибудь понимал! — самодовольно улыбался отец.

— Как без рук без тебя... Я вообще начинаю глубоко ценить твои советы и указания! И чем дальше, тем больше!

— Ну, ну!.. — совсем тает Дмитрий Иванович. — Что уж тут считаться!

— Нет, в самом деле — без тебя хоть пропадай!

— Довольно, довольно!..

Старик оделся, и они отправились к румынскому купцу... Генерал-отец в поте лица возился, рассматривал, щупал и нюхал полушубки. Увлечшись этим делом, он не заметил насмешливой улыбки сына. Часа три подряд накладывали полушубки на телеги, которые тут же одна за другой отправлялись под Плевну, на позиции 16-й дивизии.

— Я, брат, хозяин... Все знаю... Советую и тебе научиться...

— А ты научи меня!..

Когда последняя телега уехала, Скобелев вскочил в седло.

— Ну... Прощай, отец... Заплати, пожалуйста, я потом отдам тебе... И был таков.

Родился Михаил Дмитриевич 29 сентября 1843 года в Петербурге. В соответствии с бытовавшими общественными настроениями и популярностью университетского образования, мальчику решили дать военное воспитание. Вначале его обучали дома, особое значение придавая языкам. Некоторое время его домашним учителем был грубый и педантичный немец, который постоянно ущемлял самолюбие мальчика. За малейшие пустяки или плохо выученный урок гувернер бил Михаила прутом. Не желая доставлять немцу удовольствия, он не издавал ни звука, но, оставшись один, горько плакал. Вражда усугублялась еще презрительным отношением немца к русским. Однажды учитель забылся до того, что в присутствии девочки, в которую был влюблен двенадцатилетний мальчик, ударил его. Скобелев, не выдержав подобного оскорбления, дал в ответ пощечину. После этой истории незадачливого гувернера уволили, а Михаил на всю жизнь сохранил неприязнь к немцам.

Мать увезла сына в Париж, где поместила в пансион Жирарде. Выбор оказался удачным: Жирарде уважал в воспитаннике человека и благотворно повлиял на характер юного Скобелева. Обладавший огромной эрудицией, мягкостью, добрый Жирарде стал для Скобелева идеалом благородства и честности. Французский воспитатель настолько привязался к своему воспитаннику, что впоследствии часто сопровождал его в военных походах.

В 1860 году Скобелев поступил в Петербургский университет на математический факультет, но спустя год, в связи с закрытием университета правительством, покидает его и поступает юнкером в кавалергардский полк. В 1863 году он участвовал в подавлении польского восстания, проявив при этом чудеса храбрости.

Щеголеватость Скобелева-офицера, его склонность к изящной одежде и духам сохранились на всю жизнь — он и в бой неизменно шел одетый с иголочки и надушенный. И в гусарских попойках Скобелев был горазд на остроумные выходки.

Как-то Михаил Дмитриевич чуть не утонул в трясине, спасла его от верной гибели лошадь крестьянина.

— Я ее налево забираю, а она меня направо тянет, — рассказывал Скобелев хозяину лошади. — Если где придется мне на лошади ездить, так, чтобы твою сивку помнить, всегда буду белую выбирать.

Он сдержал свое слово — в бой шел исключительно на белой лошади.

География службы молодого офицера очень богата: Петербург, Туркестан, Павловск, Кавказ, Красноводск, Новгород, Пермь, Москва... Он не только служил, но и читал лекции по тактике и военной истории. Каждую свободную минуту посвящал книгам, отдавая предпочтение военной литературе, которую читал на трех языках — немецком, французском и английском.

Академию Генерального штаба Скобелев закончил в двадцать три года. При этом учился без энтузиазма, занятия почти не посещал. Профессору Витмеру с трудом удалось уговорить своего слушателя не бросать академии, ведь она могла помочь ему быстро достигнуть командных постов, к чему так стремился честолюбивый Скобелев. Нерадивость Михаила Дмитриевича объясняется скорее всего неординарностью его мышления и темпераментом, которым чужда рутинность. Военное искусство было для него настоящей поэзией. Ответы Скобелева на экзаменах казались всем несерьезными. Так, например, ему дали задачу по карте Баварии: он должен был прикрыть Аугсбург от неприятеля, идущего с севера. Скобелев решил, что так как, по его мнению, прикрыть невозможно, нужно вести наступательный бой.

— Так почему же вы на карте не проделали заданную работу? — спросил профессор.

— Что же я буду вычерчивать, когда решаюсь атаковать противника?

Кипучая натура Скобелева не могла оставаться в благоразумных пределах мещанской морали. Реализовать себя он мог только на войне. Вынужденное бездействие часто толкало его на безумные кутежи и

выходки, доходившие иногда до невозможного. Поэтому Петербург и другие спокойные места службы казались ему клеткой, и он рвался в действующую армию. На войне же этот витязь поражал львиной храбростью даже людей, привычных к опасности. Благодаря инициативе, неординарности и дерзости военных операций в Туркестане Скобелев сделал быструю карьеру. Это вызвало зависть и злопыхательство петербургских хлыщей, которые еще недавно считали себя его друзьями. Его презрительно называли “победителем халатников”.

Покорителя Туркестана и Хивы вызвали в Петербург. Северная столица встретила героя довольно холодно. Особенно поразил Скобелева прием императора. С одной стороны, была выражена благодарность, а с другой — резкий выговор в обидной и оскорбительной форме.

— Благодарю тебя за молодецкую боевую твою службу, — сказал Александр II, — к сожалению, не могу сказать того же об остальном... Я помню, знал твоего деда, и я краснею за его славное имя... Я надеюсь, что на новом назначении, которое я тебе дам, покажешь себя молодцом...

Никаких пояснений, в чем же его провинность, Скобелев не получил. Такой же прием он встретил и у военного министра. Скорее всего сыграли свою роль дворцовые интриги и политические действия молодого генерала в Туркестане, где он в качестве наместника отменил рабство. Не вызывали симпатии и демократизм Скобелева, его “панибратство” с подчиненными офицерами и гуманное отношение к солдатам. Михаил Дмитриевич серьезные операции обсуждал не только с офицерами, но и с сержантами, которые подробности предстоящего боя должны были разъяснить своим солдатам. Он считал, что рядовой боец должен сознательно воевать, зная, что от него требуется в данном бою.

Скобелев назначается флигель-адъютантом, но начавшаяся русско-турецкая война не могла примирить его с участью тылового офицера. Он использует все свои родственные связи для того, чтобы получить назначение в действующую армию. Красивый, изящный, умный и энергичный, но строптивый тридцатипятилетний генерал вызывал недоверие командования. Два Георгиевских креста, которые он получил в Азии, в расчет не принимались, поскольку получены в войне с “халатниками”, их еще заслужить надо. Благодаря высокопоставленным родственникам Скобелев все-таки отправляется на театр военных действий начальником штаба казачьей дивизии, которой командовал его отец. В сущности, его отдали не столько под начальство Скобелева-старшего, сколько под его присмотр. Такое назначение не могло удовлетворить Михаила Дмитриевича, он желал командовать самостоятельно. Тем не менее мечта его сбылась — он принял участие в большой войне, которая принесла ему мировую славу. С Балкан опальный генерал вернется уже общепризнанным военным авторитетом и народным героем.

Первая же операция — переправа через Дунай — поразила всех военных Европы. Во главе казачьей бригады Скобелев участвует в июле

1877 года во втором штурме Плевны. Затем одержал блестящую победу под Ловчей, за что произведен в генерал-лейтенанты. Во время третьего штурма Плевны отряд Скобелева, составивший пятую часть штурмовавших войск, приковал к себе две трети сил противника. Были захвачены важнейшие укрепления турок. Войска видели своего кумира всегда впереди атакующих цепей в самых горячих точках боя. Солдаты и офицеры, воодушевляясь его хладнокровием и отвагой, сами совершали чудеса храбрости. Но развить успех, стоивший стольких жертв, и захватить крепость Скобелеву не удалось из-за бездарности высшего командования. Зотов, руководивший штурмом, не прислал подкрепления.

— Наполеон Великий был признателен своим маршалам, если они в бою выигрывали ему полчаса времени для одержания победы. Я вам выиграл целые сутки, и вы меня не поддержали!.. — с горечью сказал Скобелев.

После каждого такого боя хладнокровного генерала Скобелева сменял Скобелев-мученик. Во время сражения он не щадил ни себя, ни других, но потом муки совести за смерть подчиненных изводили его. Зачем он остался жив, похоронив свои лучшие полки? И жутко ему становилось, когда вспоминал, каких именно людей потерял в данной битве. Как они дрались под Ловчей!.. С какой верой в него шли сегодня на смерть... Миг за мигом вспоминал Белый генерал непрерывный тридцатичасовой бой, и вновь и вновь шевелилось в нем проклятие бездарности, сделавшей жертвы бесплодными. Никогда не забывал Скобелев третью Плевну.

— До третьей Плевны я был молод, оттуда вышел стариком! Разумеется, не физически и не умственно... Точно десятки лет прошли за эти семь дней, начиная с Ловчи и кончая нашим поражением... Это кошмар, который может довести до самоубийства... Откровенно говорю вам: я искал тогда смерти и если не нашел ее — не моя вина!..

Незадолго до смерти у прославленного генерала состоялся характерный разговор с М.Л.Духониным:

— Я дошел до убеждения, что все на свете ложь, ложь и ложь... Вся эта слава и весь этот блеск — ложь... Разве в этом истинное счастье? Человечеству разве это надо?.. А ведь чего, чего стоит эта ложь, эта слава? Сколько убитых, раненых, разоренных!.. Кстати, вы человек верующий, религиозный... Объясните мне: будем ли мы с вами отвечать Богу за массу людей, которых мы погубили в боях?

— По учению церкви — убивать во имя воинского долга и присяги допускается. При погребении воина она разрешает от этого греха!

— Вы это из катехизиса... Я знаю. Ах, это не то, совсем не то! Что скажет голос совести? За что же мы, наконец, живем и наслаждаемся славою, добытую кровью братьев, сложивших свои головы?..

Получив под свое командование отдельный отряд, а затем дивизию, Скобелев прежде всего занимался их боевым воспитанием. В этом плане он создал целую новую школу. Он видел в солдате гражданина, поднял его солдатское достоинство и поддерживал дисциплину, основанную на сознании служебной ответственности. По воспоминаниям

современников, Скобелев умел и солдат накормить, и офицерам создать кое-какой комфорт. Прославленный генерал выгонял из своих частей офицеров, которые “чистили солдатские зубы”.

— Дисциплина должна быть железною, — оборвал раз Скобелев полкового командира, ударившего солдата, — но достигается это авторитетом начальника, а не кулаком. Срам, полковник, срам! Солдат должен гордиться тем, что защищает родину, а вы его, как лакея, бьете... Гадко! Нынче и лакеев не бьют... А что касается до глупости солдата — вы их плохо знаете... Я многим обязан здравому смыслу солдата. Нужно только уметь прислушиваться к ним.

Белый генерал не только приучал подчиненных к храбрости, но как никто умел подбодрить во время боя.

...После яростного ночного штурма, когда турки ни на минуту не давали передышки, смертельно уставшие скобелевцы приуныли.

— Вот я их подбодряю! — говорит Скобелев, и через час является оркестр владимирского пехотного полка.

“Музыка — в окопах, — вспоминал Немирович-Данченко*, — в ста шагах от неприятеля! Но если бы вы видели, как ободряюще подпевало это на утомленных солдат. Народный гимн аккомпанировался залпами наших батарей, перестрелкой часовых и громкими аплодисментами картечников. Только что он кончился, с конца в конец грянуло оглушительное “ура”, в котором, точно в море, утонули и выстрелы ружей, и рев наших орудий... Потом — знакомые уже этому отряду звуки плевненского марша. Музыка сегодня играла до вечера, с тех пор каждый полк является в траншею со своим оркестром. Сами солдаты стали просить музыки.

— Мы забыли войну, — говорит Скобелев. — Наши отцы были лучшими боевыми психологами и понимали влияние музыки на солдата. Она поднимает дух войск. Наполеон — бог войны — хорошо сознавал это и водил атаки под громкие звуки марша...”

Храбрость Белого генерала стала легендой, и многим хотелось пользоваться такой же славой. У Скобелева служил генерал N., по природе человек довольно трусливый, но тем не менее любивший хвастаться своей отвагой. Эта его черта стала притчей во языцех, от него только и слышали:

— Я и Скобелев, мы со Скобелевым!

— Как вам кажется, кто храбрее, я или Скобелев? — неожиданно обращался он к своему адъютанту.

Если тот был сыт и не желал более обедать, то отвечал:

— Разумеется, Скобелев.

— Не угодно ли вам отправиться домой и проверить, все ли бумаги и ответы готовы!..

И адъютант уходил спать. Если же он был голоден или на кухне у генерала готовилось что-нибудь уж очень вкусное, то ответ был другим.

*Василий Иванович Немирович-Данченко [1848/49—1936], русский писатель, брат Владимира Ивановича Немировича-Данченко. [Прим. ред.]

— Знаете, ваше превосходительство, это еще вопрос — храбрее ли вас Скобелев... У него слишком пылкая отвага... Вы — другое дело...

— Послушайте, юноша... Вы уже обедали?..

— Нет еще... Скобелев слишком бросается вперед... Тогда как вы...

— Вот что, оставайтесь-ка вы у меня обедать... Ну, так что же я? Говорите, не стесняйтесь... Я люблю слышать о себе правду!

— Вы именно вождь...

— Семен... Подай бутылку красного вина на стол, нашего, того, которое я привез из Бухареста. Так я вождь?

— Да... Вы ничего не боитесь, но спокойно в убийственном огне располагаете ходом боя...

— Семен... К концу обеда, пожалуйста, захолоди нам бутылочку шампанского...

Адъютант делался еще серьезнее и еще искреннее начинал хвалить своего генерала.

Этот трусливый генерал иногда настолько увлекался, что, забывая, как во время боя он выбирал места наименее опасные и заботился не о ходе боя, а о сохранении своей жизни, очень живо описывал свою отвагу:

— Я, знаете, стоял в огне... Гранаты падают и здесь и там, и передо мной, и позади меня, и направо, и налево... Падают и все рвутся... А я, знаете, посмотрелся на картину боя и так увлекся, что даже забыл о своем положении.

В это время проезжал мимо Скобелев... Генерал обращается ко мне:

— Я вам удивляюсь... Неужели вы не боитесь? Мне жутко!..

В это время прямо перед носом у меня лопается граната...

— Михаил Дмитриевич, вот мой ответ! — Это я ему.

— Что же Скобелев?

— Молча пожал мне руку, вздохнул и поехал!..

Скобелев, слушая рассказы о хвастовстве генерала, от души смеялся и становился гораздо любезнее с N.

— В первом же бою он мне за свое хвастовство сослужит службу! — замечал он между прочим.

— Мы с вами, генерал, понимаем друг друга, — обращался Скобелев к "храброму" генералу. — Мы — боевые генералы, нам не в чем завидовать друг другу... Скорее даже, я вам позавидую.

— О, помилуйте, ваше-ство, что ж тут считаться!

— Разумеется!

Скобелев лукаво улыбался в усы, а в первом же бою он подозвал несчастного и приказал ему вести на редут свои войска.

— Покажите им, как мы с вами действуем... Замените меня!

И тот дрался как следует, воодушевляя солдат.

— Соперничество родит героев! — подшучивал потом Скобелев.

— Ну, как вы? — встретил он потом вернувшегося из боя льва.

— Я сегодня собой доволен! — величественно произнес тот.

— Это ваша лучшая награда!.. — сочувственно вздохнул Скобелев.

— Могу сказать, я видел ад...

— И ад видел вас...

Генерал не выдержал, прослезился и бросился обнимать Михаила Дмитриевича.

Офицеры и солдаты всячески старались уберечь Скобелева от опасности. Как-то в отсутствие Михаила Дмитриевича, когда он в очередной раз самолично изучал позиции противника, его подчиненные составили своеобразный заговор.

— Знаете что, господа? Давайте отучим генерала рисковать собой! — предложил один из офицеров.

— Как это отучишь?

— А вот заметили вы, что он терпеть не может, если с ним рядом в опасных пунктах выставляются и другие?

Скобелев действительно, рискуя собой, заботился о безопасности других.

— Всякий раз, как он выставится на банкете либо за бруствер уйдет, сейчас же давайте и мы с ним гурьбой!

— Чудесно!

В первом же бою, как только началась перестрелка и Скобелев выставился над бруствером напротив неприятельского огня, тут же целая толпа ординарцев, штабных и других офицеров стала рядом с ним.

— Что вы, господа, стоите тут... Пули дожидаетесь, что ли? — воскликнул генерал.

— Мы имеем честь находиться при вашем превосходительстве! — ответил один из ординарцев, прикладывая руку к козырьку.

Скобелев все понял и расхохотался. Это стало повторяться, и генерал, пожимая плечами, вынужден был сходить с бруствера.

Любопытен такой факт: в скобелевских траншеях, когда генерал проходил мимо, солдатам было приказано не вставать. Это возмущало других военачальников. Скобелев же объяснял просто:

— Солдату отдых нужен. Коли он будет вскакивать, так или генерал не показывайся на позицию, не живи с ними, или солдат вечно будет в усталости.

В скобелевском отряде (подобно ему самому) заботились быть не только храбрыми, но и красивыми в бою. “Надо везде и показом брать!” — говорил он. На показную сторону даже солдаты обращали внимание. Скобелевцы всегда выгодно отличались от других своим щегольством, сытым и веселым видом, своей нравственностью. Они никогда не грабили завоеванные города. С пленными обращались милостиво, те ели с ними из одного котла, спали вместе с русскими, укрываясь от холода.

— Бей врага без милости, пока он оружие в руках держит, — говорил своим Скобелев. — Но как только сдался он, амину запросил, пленным стал — друг он и брат тебе. Сам не доешь — ему дай. Ему нужнее... И заботься о нем, как о самом себе!..

Когда после взятия Плевны у русских оказалось в плену 40 000 человек, а продовольствия не хватало даже для своей армии, главнокомандующий поручил турок Скобелеву-отцу. Из-за этих пленных между сыном и отцом были столкновения. Генерал-сын был назначен военным губернатором Плевны и часто приставал к отцу:

— Ну, чем, ваше превосходительство, вы сегодня накормите турок?

— А тебе что за дело?

— Одного барашка на сорок тысяч человек прислали?

— Ну уж, пожалуйста! К тебе не обратимся!

— Да мне и дать вам нечего... Я тебе, отец, знаешь, что посоветую в интересах военной дисциплины и нравственного воспитания вверенных тебе турок?

— Что?

— А ты им брось барана, они с голоду на него накинута, ты за беспорядок барана назад... Таким образом, и бараны будут целы, и туркам жаловаться не на что — сами виноваты...

Михаил Дмитриевич не раз собирал своих офицеров для совета, как накормить пленных. И пока те находились в Плевне, они не умирали голодной смертью, но когда их погнали через Румынию, то масса их умерла от голода.

Как только Плевна пала, румыны бросились грабить город. Сразу же после своего назначения военным губернатором города Скобелев вызвал румынских офицеров:

— Господа! Я должен вас предупредить, чтобы не ссориться больше с вами... Ваши солдаты грабят город!

— Мы победители, а победители имеют право на имущество побежденных...

— Ну, во-первых, вы с мирными жителями не воевали, следовательно, и не побеждали их, а во-вторых, подите и предупредите своих, что я таких победителей буду расстреливать... Всякий, пойманный на мародерстве, будет убит как собака. Так и помните... Постоите... Ваши обижают женщин — представляю вам судить, насколько это гнусно... Знайте — ни одна жалоба не останется без последствий, ни одно преступление не будет безнаказанным.

Турки прозвали Скобелева справедливым. Когда он принял город, то в нем оказалось много раненых и больных. Осман, пока был в городе, не обращал на них никакого внимания. "Когда нужно драться, лечить некогда, — говорил он. — Раненые и больные — лишняя тягость. Султану и Турции они не нужны. Лучше, если скорее умрут... И без них дела много!"

Скобелев по-другому смотрел на это. Он сразу же открыл госпитали, и большой отряд врачей и санитаров был направлен на лечение турок. После посещения генералом мечети, где также лежали раненные пленные, турки говорили:

— У вас лучше, чем у нас, теперь мы видим это.

— Почему?

— Ваш Ак-паша и турок посещает, врагов своих, а наш Осман никогда не видел нас.

Ак-паша по-турецки означает "Белый генерал" — так турки называли Скобелева.

После подписания мирного договора Скобелев вернулся в Россию, где его везде принимали как народного героя. Но в условиях мирной жизни он немного растерялся, о чем свидетельствуют его письма того периода. В 1879 году император посылает Скобелева в Германию, где тот должен присутствовать на маневрах. Немцы смотрели на всемирно прославленного генерала как на своего опаснейшего врага. Они не

щадил его национальные чувства и довольно высокомерно с ним говорили. Вернувшись в Россию, Скобелев написал объемный отчет — более 200 страниц, в котором дал полный анализ немецкого войска. Русский генерал был твердо убежден в неизбежности войны с Германией.

— Знаете ли, что такое война? Это такое несчастье, такое бедствие, что желать ее — величайший грех, и, напротив, ее надо избегать всеми возможными способами. Сохрани меня Бог от войны с кем бы то ни было, но чтобы подраться с немцами, — готов отдать десять лет жизни... Худой народ, худой! Для того чтобы им было хорошо, ничего не пожалеют, а Россию ненавидят, потому что боятся, да и мешает она им много. Рано или поздно наделают они нам хлопот. Нам ведь от них ничего не надо, а им давно хочется отхватить от нас Остзейские губернии да Польшу. Но трудно ожидать, чтобы они этим удовлетворили свой волчий аппетит. Вот, по моему мнению, и следовало бы сократить их теперь же.

Перед смертью, чувствуя ее приближение, Скобелев говорил:

— Я не переживу этот год, верно... Хоть не хочется умирать совсем. Сделать еще европейскую войну, разбить исконных врагов России, уничтожить их, и тогда — из списков вон... Только этого не будет... Ну да что, впрочем...

В это же время потерпела полный провал Ахалтекинская военная экспедиция, имевшая целью присоединение Туркмении к Российской империи. Скобелев внимательно следил за ходом военных действий и в неудаче генерала Ломакина видел грозное мщение судьбы. Дело в том, что этими военными действиями командовали лица, бывшие с ним в Коканде и клеветавшие на него в Петербург, на основании чего были ему предъявлены обвинения и из-за чего он и был так холодно встречен императором Александром II.

Вторую Ахалтекинскую экспедицию поручили генералу Скобелеву. Здесь он впервые выступил в роли главнокомандующего, ничем не связанного в своих планах. Михаил Дмитриевич полностью сам разработал план операции и блестяще воплотил его в жизнь. В этом походе ярко проявились все сильные стороны Скобелева-полководца. В то время как генерал успешно проводил экспедицию, злопыхатели в Петербурге оплакивали русские войска, распространяя слухи о полном провале и смерти Скобелева. Поход Ак-паша завершился блестящей победой. 12 января 1881 года после короткого штурма был взят главный оплот текинцев — крепость близ селения Геок-Тепе. Вернувшись в Россию генерал триумфатором. Везде его встречали как народного героя. Чем ближе к центру, тем эти встречи были многолюднее. Овации на Волге уже начали беспокоить Петербург, но встреча в Москве затмила все. Площадь между вокзалами была залита народом — здесь были десятки тысяч, и сам генерал-губернатор князь Долгоруков еле протискивался в поезд, сопровождая Скобелева до Петербурга. В Европе сравнивали возвращение Белого генерала из Средней Азии с возвращением Наполеона из Египта. Это подлило масла в огонь, и Петербург встретил героя традиционно. Скобелева уже не только нена-

видели, но смертельно боялись. В его лице оппозиция получила не просто человека, недовольного режимом, а генерала всероссийской известности, народного героя в полном смысле слова, человека волевого, готового на самые смелые действия. Все это порождало массу слухов и беспокоило правительство. Особенно красноречивы в этом плане письма К.П.Победоносцева к Александру III: "...Смею повторить слова, что вашему величеству необходимо привлечь к себе Скобелева сердечно. Время таково, что требует крайней осторожности в приемах. ... Скобелев, опять скажу, стал великой силой и приобрел на массу громадное нравственное влияние, т.е. люди ему верят и за ним следуют..."

В Петербурге прославленного генерала прозвали "le premier consul"* . Скобелев включается в политическую жизнь. Воинственный пафос его политических речей был направлен против пораженческих настроений правительственных и военных кругов. Скобелев считал Александра III недостаточно национальным императором. Для него, русофила и славянофила, погранные интересы родины больно отзывались в сердце. Речь его на годовщине завоевания Туркмении произвела такое громадное впечатление, что император предложил ему выехать за границу. В Париже слова, сказанные студентам-славянам, произвели настоящий европейский скандал. "... Враг — это Германия. Борьба между славянами и тевтонами неизбежна... Она даже очень близка. Она будет длинна, кровава, ужасна, но я верю, что она завершится победой славян... Я вам скажу, я открою вам, почему Россия не всегда на высоте своих патриотических обязанностей вообще и своей славянской миссии в частности. Это происходит потому, что как во внутренних, так и во внешних своих делах она в зависимости от иностранного влияния. У себя мы не у себя. Да! Чужестранец проник всюду. Во всем его рука. Он одурачивает нас своей политикой, мы жертвы его интриги, рабы его могущества. Мы настолько подчинены и парализованы его бесконечным, губительным влиянием, что, если когда-нибудь рано или поздно мы освободимся от него, — на что я надеюсь, — мы сможем это сделать не иначе как с оружием в руках!"

Речь Скобелева всколыхнула общественно-политические сферы Центральной Европы. Во Франции его выступление стало подлинным событием в истории франко-русских отношений. Общественное мнение Франции приняло позицию Скобелева по отношению к Франции как долгожданную, открывавшую огромные перспективы.

Белый генерал был немедленно вызван в Петербург. Ожидали репрессий со стороны правительства, но популярность Скобелева стала настолько велика, что правительство не смело и думать о его отставке. Друзья, сторонники Скобелева боялись покушения на его жизнь со стороны немцев. В Германии в это время в прессе развернулась настоящая вакханалия против главного врага. Не исключал покушения на свою жизнь и сам Михаил Дмитриевич. Весь этот год

*Первый консул (франц.)

он говорил друзьям о предчувствии смерти, о том, что ему не позволят больше жить.

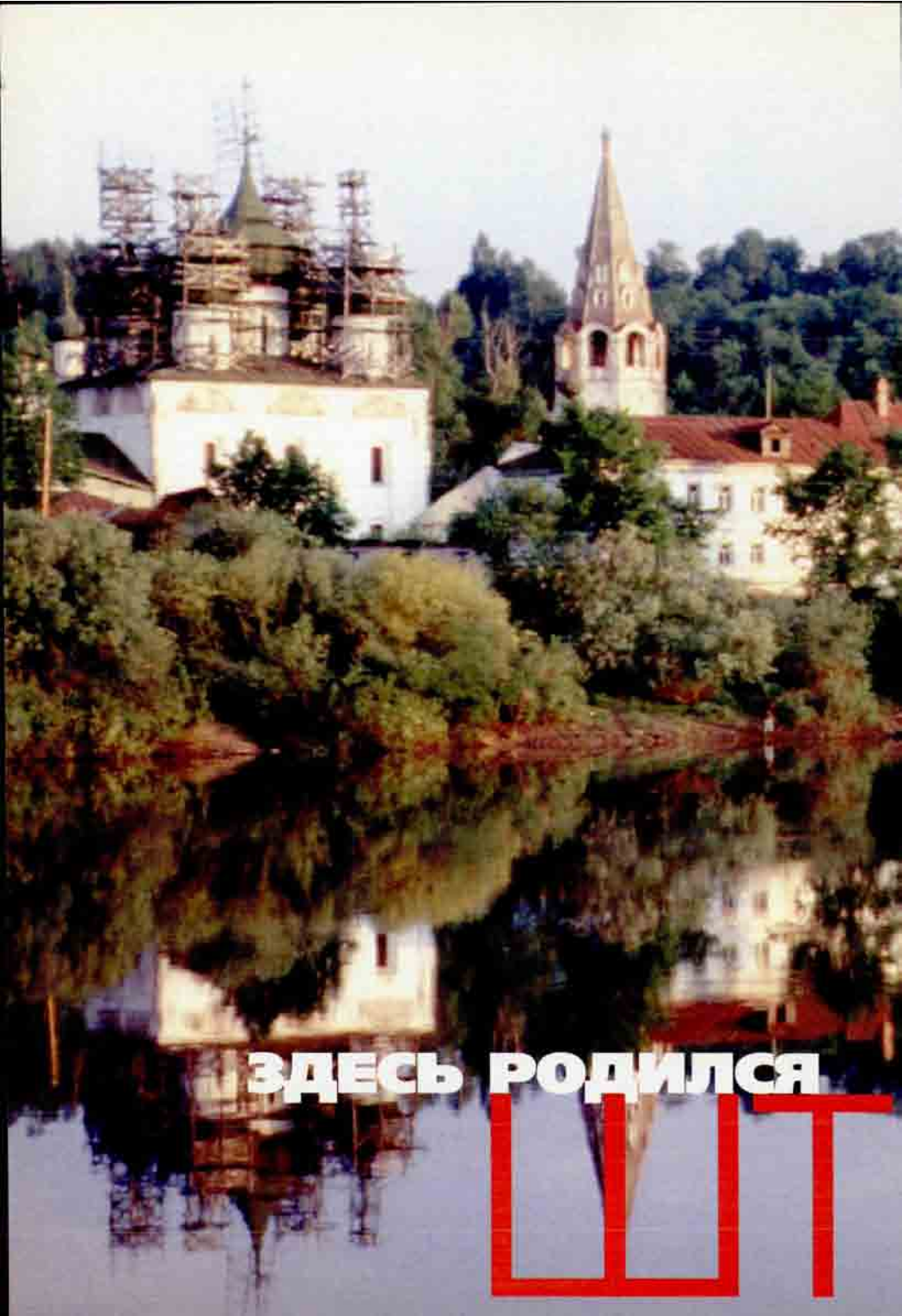
Вечером 7 июля, перед отъездом из Москвы, Скобелев отправился в гостиницу "Англия", где жила известная всей кутящей Москве немка Ванда. У нее-то и провел последние часы жизни прославленный генерал. Поздно ночью Ванда прибежала к дворнику и сообщила, что у нее в номере скоропостижно умер офицер. В протоколе вскрытия, которое произвел профессор Нейдинг, было записано, что тридцативосьмилетний генерал скончался "от паралича сердца и легких". Цензура не пропускала в газеты подробности о кончине национального героя. В обществе распространились слухи о насильственной смерти Скобелева. Уверенность, что Белый генерал отравлен, была всеобщей. Но мнения расходились в том, кто это сделал. Большинство выражало уверенность, что это дело рук Бисмарка.

По другой версии Скобелева отравила не Ванда, а подгулявшая компания из соседнего номера, которая пила за здоровье Белого генерала и прислала бокал шампанцы были здесь ни при чемства Александра III. Не ражала радость по поводу



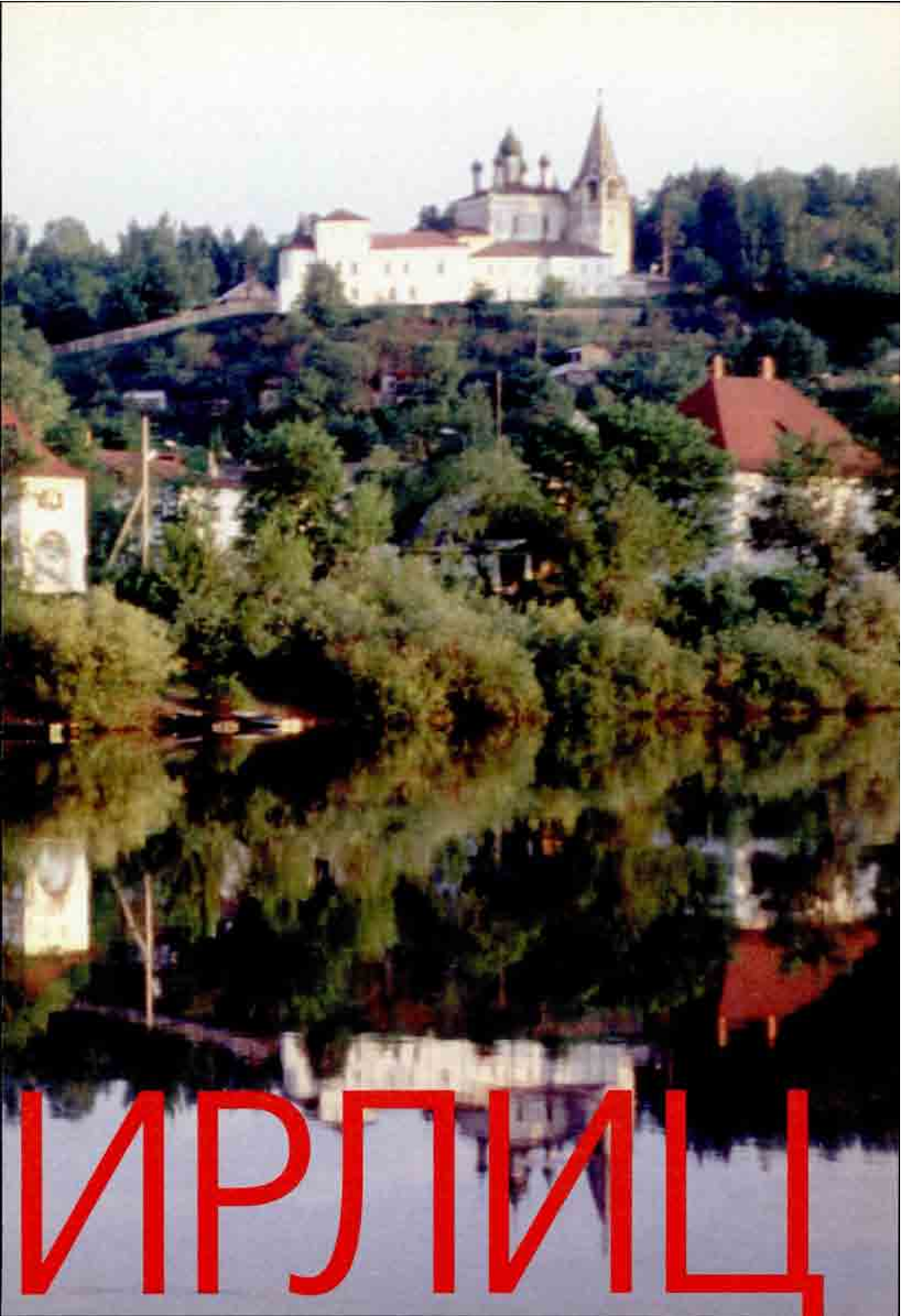
Проститься со своим ге близлежащие деревни. щадь, все соседние улицы, балконы и крыши домов, на вокзал пронесли сквозь узкий человеческий коридор. Москва плакала... Траурный поезд отправился к месту его последнего успокоения, часть войск сопровождала тело своего любимого генерала. Последний путь Михаила Дмитриевича описал Немирович-Данченко: "Похороны стали чисто народными, когда поезд наш тронулся... вагоны двигались до Рязани по коридору, образованному массами народа, столпившегося по обе стороны полотна... Это было что-то до сих пор неслыханное. Крестьяне кидали полевые работы, фабричные оставляли свои заводы — и все валило к станциям, а то и так, к полотну дороги... Все они стояли на коленях... Уже с первой версты поезду пришлось поминутно останавливаться. Каждое село являлось со своими иконами. Крестьяне служили по пути сотни панихид... Большая часть сел вышли навстречу с хоругвями — совершенно исключительное и небывалое явление... Ночь была тиха до Рязани... впереди горели тысячи огней: это крестьяне выходили со свечами и зажигали их в ожидании поезда. Раскольничье село вышло без попов, но пели свои гимны, печальный напев которых долго носился в воздухе".

Только после смерти Скобелев был безоговорочно признан военным командованием. Генеральный штаб прислал венок с надписью: "Равный Суворову". Европа приравнивала Белого генерала Скобелева к Наполеону. Поэтом войны и меча называли его современники. ■



ЗДЕСЬ РОДИЛСЯ

ШТ



ИРЛИЦ

Осень патриарха

Здесь действительно родился Штирлиц.

Автору "Семнадцати мгновений весны" зачем-то понадобилось, чтобы его герой-разведчик, плетущий заговоры и ностальгирующий в фашистском Берлине, появился на свет в самой что ни на есть российской глубинке — городе Гороховце.

В эпоху реактивных перелетов такая, казалось бы, глубинка всего 300 километров от столицы. А все же...

Едешь по Владимирскому транту, и довольно скоро от Москвы линяют иномарки, проваливаются в тартарары рекламные плакаты. Еще временами радуют глаз среди серенького осеннего пейзажа закусьные для проезжающих — соревнуются друг с другом яркостью афиш да броскостью названий: "Сытый папа", "Выручалочка. Открыто круглосуточно!". Или: "Москва — Петушки". А миновали Владимир — и как отрезало: справа и слева леса, леса, леса...

Вот и Гороховец. Устраиваемся в гостиницу и спешим прогуляться по городу.

Еще светло. Рабочий день кончился, магазины еще работают — а на улице ни души.

Выходим на широкую площадь. Чешуйчатые главни Сретенского монастыря блистают на солнце сине-розово-зеленым огнем (эти чешуйки — керамические). Во всем монастыре только они, канетса, и отреставрированы.

Одна монастырская церковь в песах, другая просто заколочена.

В нельях монастыря живут. Живут почему-то люди светские. Туда ведут лесенки, огороженные от дождя и ветра фанерками. За окнами "нелий" видны цветы и занавесочки.

Рядом — старинные палаты, еще при молодом Петре построенные. На них — три доски-афиши, как бы олицетворяющие три эпохи.

Сверху. В июне 1918 года здесь работал комбриг Первой Конной армии С.М.Патолочев.

Нинче: Дом Ширяевых (Шумилиной). Конец XVII — начало XVIII века. Находится на государственной охране.

Еще ниже "Бар "Алладин"

Ходим по городу, дивимся, сколько ж здесь старины! Вот еще одни палаты — купеческие, каменные, построенные в допетровские времена. В них — музей. А вот и другие палаты — здесь управление культуры.

Поблизости — Благовещенский собор Заколочен.

И рядом — собор. Из него доносятся ухающие, шмякающие звуки. На улице — толпа мальчишек. Окружили двоих — дерущихся. Подзунивают. На соборе доска: "Детско-юношеская спортивная школа".

Надо всем царит монастырь на горе, Никольский. Он нынче передан церкви. Там живут братья и послушники, потихоньку восстанавливают разор.

...С этой точки на горе и пошел Гороховец. И именно с "горой", а не с "горохом" связывают местные краеведы его название. (Всего версий об этимологии имени города не меньше десятка.)

Впервые город упомянут в летописи как один из сожженных татарским набегом в 1239 году. Был он тогда, семь с лишним веков назад, восточ-

ным форпостом русской земли. Держал оборону на высоком берегу Клязьмы...

С тех пор повторяет Гороховец все извивы российской истории. Краешком упоминается в документах разных эпох — то Куликовскому сражению посвященных, то — ополчению Минина и Пожарского, то — восстанию Ивана Болотникова, то — строительству железной дороги Москва — Нижний Новгород...

По тягучей лестнице поднимаемся в гору. Гору называют Пужаловой. Давно-давно именно здесь сигнальные костры заигрывали, когда татарва шла на Владимир. Нынче тут заброшенный парк. Разломаны нарусели. Безжизненно висят качели без снамей. Дыры на месте баскетбольных щитов

А с горы город виден, как на ладони: маленький, старинный, золотистый.

“Себя-делы”

Одно из самых красивых зданий в Гороховце (из новых) — “биржа труда”, она же Центр занятости населения. А одна из самых красивых женщин — Светлана Николаевна Леничева, директор Центра.

Безработица — жестокая проблема Гороховца. 17 тысяч человек живет в городе. 3,5 тысячи из них работало на местном судостроительном заводе. Завод уже три года как объявлен банкротом. Работают нынче не больше полтысячи человек, и те уже забыли, когда получали зарплату.

— Официально безработица у нас — 7 процентов, — говорит Леничева.

— А неофициально?

— Думаю, все двадцать. Наш город нынче как мертвая зона. Слово кто-то приказал ему: “Умри!..” Но нет — не умирает город. Может, замирает? В спячку впадает?.. А потом очнется, как спящая красавица?

На улицах города безлюдно — зато нигде работа за высокими заборами — осень, последние сельхозработы. В городе полторы тысячи частных домов. На одного жителя приходится по восемь (!) соток земли. Некоторые от нее даже отказываться стали. Так что пропитание — пусть худое, пусть бедное! — каждый может “нарыть” (во всех смыслах этого слова) себе сам.

Многие жители самостоятельно, без надежд на “биржу”, принялись устраивать судьбу. Около восьмисот человек (в основном — мужчины) подались работать по контракту в расположенные поблизости от города воинские части. Примерно столько же (конечно, женщины) стали “челночить”. Есть и те, кто отправился “шабашить” в денежную столицу или Нижний Новгород.

А появились ли в Гороховце новые производства взамен угасших? Стал ли кто-то производить вместо мало кому сейчас нужных военных кораблей и бунсиров что-нибудь полезное?

Об этом спросил Василия Николаевича Рожина, заместителя главы городской администрации.

— Предприниматели наши в большинстве делают не “дело” — то есть “бизнес” по-английски. — скривился Василий Николаевич. — а деньги. Не бизнесмены они — “деньгоделы”.

И все же удалось узнать о нескольких настоящих, по мнению многих, предпринимателях — тех, для которых дело превыше прибыли.

Парень по фамилии Тихонов открыл автосервис на трассе Москва — Нижний: “занял” и себя, и еще несколько слесарей. Безработный Кузовнов из близлежащего поселка напалдил мини-фабрику, стал производить манаронные изделия.

Елена Каменская вместе с напарницей открыла косметический салон.

— Косметический салон? В “засыпающем” городе? — удивляюсь я.

— Почему бы нет? — говорит Елена Алексеевна. — У нас же маленький город. Театра нет, в кино я уже лет пять не была. А женщине, вы понимаете, надо время от времени куда-то выйти. Сделать маникюр, макияж — пусть даже ее муж ничего не заметит, но она-то себя почувствует женщиной. Посмотрит утрадной на свои чистенькие ноготочки — и радуется. Кто эту радость хоть раз ощутил — деньги на визит к нам находят.

Цены "на красоту" здесь раз в пять ниже, чем в Москве. Основную выручку дают не услуги, а косметический магазинчик.

Как начинали?

Безработную Каменскую и ее партнершу Центр занятости направил на курсы косметологов. Отучившись, поняв толк в косметике, женщины скинулись по триста тысяч, нанупили пузырьков и флаконов с лосьонами да шампунями и стали, как коммивояжеры, продавать их землякам — со знанием дела рассказывая об их достоинствах. Продали. Выручили миллион. Потом миллион тем же манером превратили в два. Наконец хватило денег арендовать "подсобку" в парикмахерской. Сами делали здесь ремонт: белили, красили, клеили обои. Писали от руки объявления-рекламы, расклеивали их по городу.

— Даже если бы муж получал столько денег, чтобы я могла себе ни в чем не отказывать, все равно бы здесь работала, — говорит Каменская. — Понимаете, салон — это как мой ребенок. Я его вырастила и не брошу уже никогда.

...Только вернувшись в Москву и просматривая бланкеты, вдруг обратил внимание: в Гороховце встречался не с одним десятком людей — и из "верхов", и из "низов" — и ни от кого не слышал ни жалоб на судьбу, ни пропль-

тий в адрес властей... А ведь года три-четыре назад услышал бы наверняка Утверждаю это уверенно, потому что в те годы ездил по таким же провинциальным городкам, с тем же набором социальных болячек. На что только не жаловались, кого только не ругали!.. А нынче — нет.

Притерпелись? Возможно.

Или поняли, что новая эпоха как бы "в обмен" на трудности (вроде безработицы и безденежья) дает шанс — шанс совершить в жизни нечто такое, чего пренний уклад никогда, ни за что не позволил бы?

И фармацевт по образованию Наменская, милая, славная женщина, простояла бы, наверное, всю жизнь за стойкой в аптеке. И канальничудь подруга давала бы ей понохать купленные по случаю "Шанель"... А теперь она с Шанелью и Кристианом Диором почти "на ты".

Она использовала свой шанс. Имеет дело — маленькое, но любимое и свое.

Нет, не только "деньгоделы" живут в глубинке, но и, как это называется у американцев, "сэлф-мэйд-мэны". Или, говоря проще и по-русски, — "себяделы".

Мотель

Жили мы в Гороховце в городской гостинице. Как всегда — горячей воды нет, обои заляпаны жиром, в постере горит одна лампочка из пяти... Стал я под тремя одеялами, по утрам изо рта шел пар.

Потом узнаем: в трех кварталах от гостиницы — мотель. Там есть и горячая вода, и тепло, и телевизор (даже спутниковый!). К вечеру перебрались туда. Все оказалось так, как рассказывали: уютный номер, жалюзи, ночники, горячий душ. Особенно меня удивила система, принятая в

Ирина Шаталова — воспитательница детского сада.



На подножном корму.



«европах»: войдешь на темную лестницу, нажмешь на кнопку — свет включится, дойдешь до этажа — он сам выключается.

А как иначе! Мотель-то — частный. Принадлежит Андрею Князеву.

Четыре этажа. В подвале — бойлер (вот откуда тепло и горячая вода). На первом этаже — гаражи для четырех машин и «рецепшн». На втором — четыре двухместных номера. На третьем — хозяина, Андрея Князева, квартиры. На четвертом, чердачном, этаже — его кабинет.

Ни одеждой, ни обликом, ни речью Андрей Князев нисколько не похож на «нового русского». Интеллигент-строитель — так бы я его определил по первому впечатлению.

— В 1990-м работал заместителем директора по строительству в ремонтно-техническом предприятии, — рассказывает Андрей. — И всем сказал: хочу построить свой, частный мотель. Это всех шокировало. А я стал строить!

Купил этот участок. Пришел к отцу, а он у меня пчеловод, и деньги у него припасены были по тем временам немалые — 30 тысяч. Я и предложил: «Отец, отдай мне эти деньги — в дело пойдут».

Начал строить — и вся жизнь моя, можно сказать, на этот дом уходила. Шесть лет не был в отпуске. Все, что зарабатывал, — шло сюда. Сам месил раствор; с братом и отцом валили лес, нряжевали, пилили, штукатурили, проводку вели... Наконец выстроили мотель, открыли...

Строит рядом с мотелем Князев небольшую сауну. Вкладывает немалые деньги в абсолютно неприбыльное дело — собирается украсить площадку перед мотелем, поставить фонари, пустить фонтаны...

А еще купить микроавтобус, заключить договора с московскими и нижего-

родскими туристическими фирмами и возить сюда, в Гороховец, в свой мотель, экскурсии!

— Город-то у нас красивейший, Суздалью ничем не уступает, а туристов кот наплакал. Хорошо, если групп десять за год...

...Когда я уезжал, свободных мест в мотеле уже не было.

Левши

Моругин работает в бане. Виталий Петрович на пенсии подрабатывает плетет корзины — и маленькие, для ягод, и большие, бельевые. Маленькие стоят восемь тысяч, большие — пятнадцать.

— Образования у меня нет совсем, — говорит Моругин. — Мне в школу идти, а тут война. Отец на фронт ушел, а мама больная. Ну, я и стал пастухом работать.

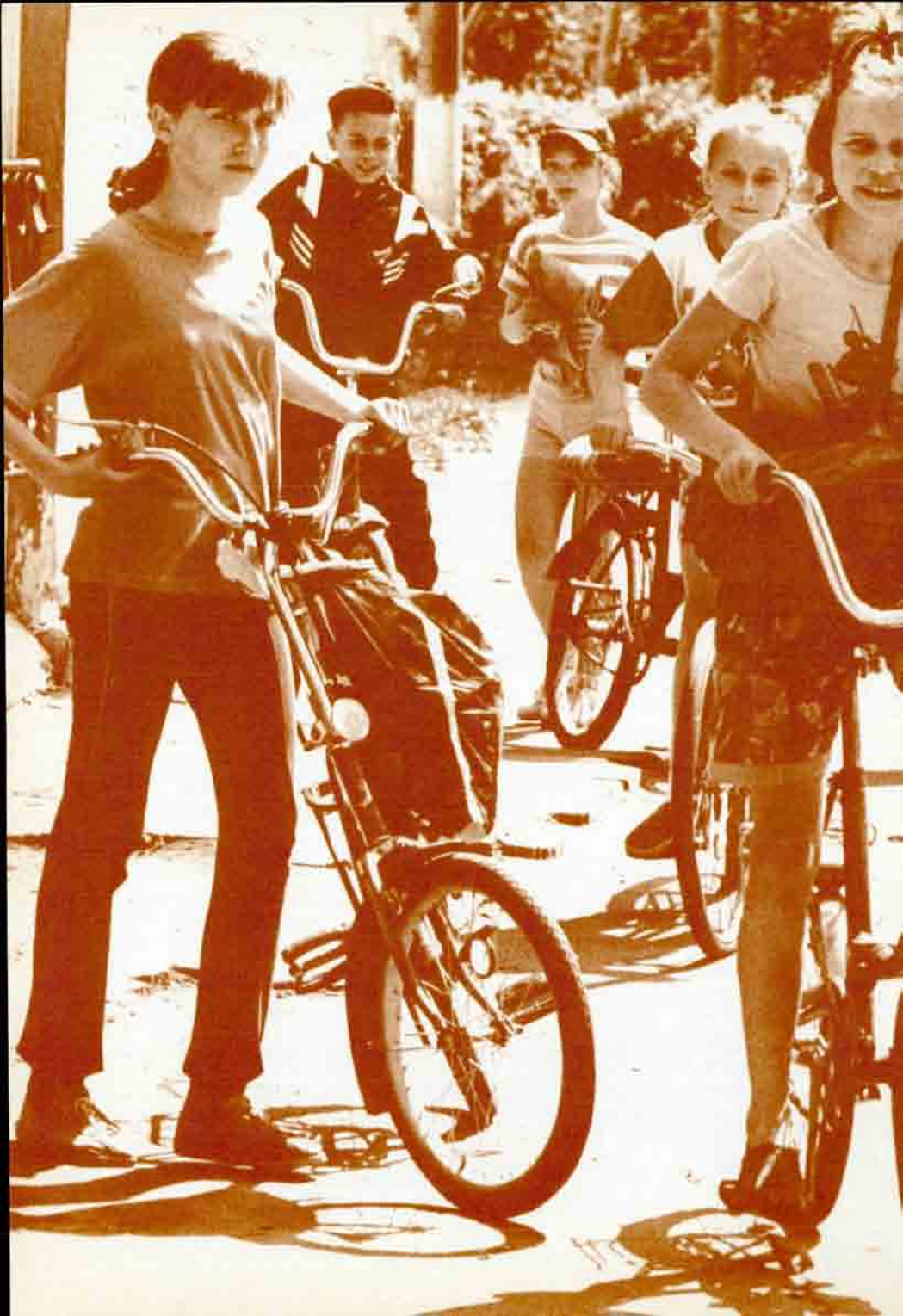
Всю взрослую жизнь проработал Виталий Петрович кузнецом, потом, когда в город перебрался, — литейщиком. Теперь вот отдыхает от огня и металла — с лозой работает.

— Как вы корзинки плетете, Виталий Петрович? Показали бы...

— А я вот себе станочек сконструировал. Чтоб корзинку держал. Размер корзины можно регулировать... А у меня нога-то больная — так я, чтоб вокруг станочка не бегать, подшилпичен сюда поставил. Сину, верчу перед собой столешницу. Ну, корреспондент, давай покурим, что ли?

Моругин свертывает самокрутку: «Сам самосад выращиваю — ядреный!» Достает закигалку в виде толстой авторучки, можно за нарман цеплять. Гарит ровным, спокойным пламенем.

Прошу у Виталия Петровича посмотреть. Принцип — точь-в-точь как у «Зиппо» — дорогой американской игрушки с пожизненной гарантией. «Дав-





Велосипед — не роскошь...



У стен монастыря.



Гороховецкий пряник.



Из коллекции вчерашней модницы.

но ли у вас эта штука работает? — спрашиваю. "Четвертый год бесперебойно". — "А бензин какой льете?" — "76-й". Моя "Зилло" посрамлена. Она "нушает" только специальный, высокоочищенный.

— Неужели и зажигалку сами сделали?

— Нет, у сына в машине в Северодвинске моряки какие-то забыли. Видите — из дозиметра переделана.

До чего ж горазд на выдумку наш народ! Знаете ли вы, к примеру, что крекинг сырой нефти впервые осуществили крепостные крестьяне родом из

Секретный фарватер

Никогда бы не подумал, что на речке Нязьме может быть судостроительный завод — да такой мощный, наполовину оборонный... А вот, оказывается, есть.

Или, скорее, уже нет его?

Иду по территории завода. От проходной до заводоуправления не меньше километра. Ни души. Тихо стоят цеха. Временами где-то скрипнет от ветра дверь. Жутковато — будто в сталкеровскую "зону" попал...

В городе поговаривают, что, как стал завод банкротом, с него приняли тащить все, что плохо (или даже хорошо) лежало. Разорили: подсобное хозяйство, литейку. Кабели выкапывали!

Нынешний директор (точнее, конкурсный управляющий), Анатолий Федорович Демин, и начал с того, что наладил сильную охрану и крепкую ограду да провел инвентаризацию оставшегося имущества.

История краха завода проста, как бумажный кораблик. В 1994 году Министерство обороны перестало финансировать свои заказы, в том числе наполовину или на две трети законченные. Гранданим морякам тоже не нужна стала продукция завода (бунсиры в основном). Корабелы остались без денег.

Завод объявили банкротом. За полтора года сменились два арбитражных управляющих. Дела они не наладили. Кораблестроители должны всем: государству, Пенсионному фонду, энергетикам — более чем 50 организациям! Должны собственным рабочим... Многим из них не плачено с 1994 года — люди подают в суд, дела выигрывают, им присуждают вдобавок к задолженностям компенсацию за моральный ущерб — да кто платить будет, ежели у завода денег нет?

Гороховца? На тридцать без малого лет опередили европейцев и американцев!

В прошлом веке во Владимирской губернии земледелием мало кто занимался: не больше 20 процентов населения. Остальные уходили в ближние и дальние края на заработки. Гороховец так уж исторически сложилось, "поставлял" специалистов по "железному делу". Вот и построили гороховецкие умельцы на промыслах близ Грозного первый крепеж-завод.

Есть легенда, ничем, правда, не подтвержденная, что гороховецкие "котельщики", так их тогда называли, участвовали в сооружении Эйфелевой башни. Или то был мост Александра III в Париже?.. Во всяком случае, в строительстве одного из самых длинных мостов (для своего времени), моста Александра II через Волгу близ Сызрани, гороховчане участвовали вовсю. И еще: знаменитую башню Шухова в Москве возводили, металлоконструкции перекрытий ГУМа ставили...

А в начале нашего века в Гороховце уже действовал на полную мощь судостроительный завод. В 1907 году спустили здесь на воду одно из самых больших в мире судов, соизмеримых с "Титаником", — нефтеналивную баржу "Марфа Посадница".

И еще: местный гороховецкий завод Шорина получил в 1898 году золотую медаль в Риме за...рессорный тарантас.

Что же мы никак за свои современные "тарантасы" — "Лады" да "Волги" — никакой награды не получим?

Зато по дороге в Гороховец видел я на частном доме чудо-телеантенну, сваренную из двух велосипедных ободов...

Или, может, прав мудрый чегемец Фазля Исандера, говоривший примерно так: "Русские — они могут блоху подковать... Вот только лошади у них частенько бегают неподкованные. Лошадей подковывать им неинтересно..."

Вишневый сад

— Беда в том, — говорит Демин, — что государство приняло процедуру банкротства, но не определило: что будет после банкротства. Вот — мы банкроты. Что делать? Продаваться на корню? Кто нас купит? Кому нужны старые здания с неработающими станками?.. Неподдалену — судостроительный завод "Ока". Его уже дважды на торги выставляли. Никто не купил. Ниному он не нужен! Любое предприятие может кто-либо приобрести — наши ли капиталисты, иностранные — и начать вкладывать в него деньги, если только оно работает. Если мы покажем: да, мы делаем такую-то продукцию. Да, она пользуется спросом. Вот наш бизнес-план, так станем действовать дальше. Вот тогда инвесторы найдутся... Так что наша задача сейчас запустить хоть какое-то производство.

Заназы у корабелов уже появились. Оказывается, есть спрос на буксиры, на блочные электростанции. Но между заказом и финансированием этого заказа — расстояние во много морских миль. У заказчиков, чтобы оплатить хотя бы начало строительства, — денег негусто. Кредит в банке? Демин рассказал: в любом банке только покажешь визитку "конкурсный управляющий" — даже говорить отказываются.

Нужны финансовые гарантии заводу — хотя бы от руководства области. Необходимо, чтобы объединились кредиторы — бюджет, внебюджетные фонды, банки, энергетика, газовики — и искали выход сообща.

Напоследок спрашиваю Демина:

— Как считаете, выйдет все-таки завод на широкую воду?

Демин отвечает почти бунвально:

— Для начала надо фарватер Клязьмы очистить. За четыре года, что мы не работаем, здесь столько мелей нанесло! Мы ни одно судно испытать не сможем. — Потом вздыхает и добавляет: — Выйдет. Заводы, в отличие от кораблей, никогда полностью не тонут.

Гороховец когда-то славился вишнями. В прошлом веке громадные сады росли в округе — в них даже ставили деревянные башенки ["клячугами" назывались]: для сторожей и надзирателей за сборщиками ягод.

И сейчас вам бабушки на рынке расскажут, как плодоносил сад на горе над городом, сколько вишен сдавали местному пищекомбинату и какие варенья-компоты-днемы закатывал и продавал тот комбинат.

Нынче сад захирел. Порос березой и осинкой. У всякого дерева свой срок — столетняя вишня плодоносить не будет.

А вот пищекомбинат, перерабатывавший некогда вишни-яблоки, отнюдь не захирел. Ему в городе все тихо завидуют. Еще бы! Работает бесперебойно, в три смены. Триста человек получают зарплату день в день (средний заработок по комбинату — больше миллиона, для Гороховца сумма изрядная).

Многие горожане поговаривают: "Повезло пищевинам! Получили немецкую линию по производству кренеров — теперь и в ус не дуют".

— Повезло? — улыбается директор комбината Людмила Дмитриевна Петрова. — Может быть... Только я помню, как я эту линию в Москве защищала — их сорок на страну получили. Как я за нее боролась! Спрашивают меня в Москве, в министерстве: "Какова численность населения Гороховца? Сколько километров до Владимира? Есть ли у вас специалисты по автоматизированным комплексам?" Я отвечала без запинки. И ведь я им — все врала! И что город наш — большой, и что чуть ли не в пригороде Владимира расположен, и что инженеры по АСУ на предприятии есть... Возвращаюсь потом в Гороховец ночным автобусом и думаю: проверят — точно снимут!.. Ну, пан или пропал...

Выпал "пан". Не сняли. И линию выделили. И хрупкая Людмила Дмитриевна переманивала специалистов по электронике с судостроительного, вместе с монтажниками изучала новую технику, а потом и свой коллектив учила на ней работать...

Нынче, впрочем, не техника — дековитость решает все. Сегодня шаг на месте равнозначен шагу назад: конкурентов много; вытеснят с рынка, сомнут... А продает свою продукцию комбинат по всей стране — от Москвы до Астрахани, от Перми до Архангельска. Надо работать, стало быть, с сотнями покупателей и продвигать свои кренеры, рекламировать...

Ассортимент, опять же, обновлять. Решили сделать кренеры, чтобы для детей были привлекательны: розоватого цвета, на каждом печенье — изобразен зверь какой-нибудь сказочный. Перестали делать сувенирный гороховецкий пряник: большой он, а, значит, дорогой — не всякому по карману. Принялись печь по тому же рецепту, но в два раза меньший. И пряник — пошел. Теперь участок, раньше нередко простаивающий, работает в две смены. Рынок.

Купили на свои кровные пекарню. Пекут хлеб — ближайший хлебокомбинат в Вязниках, за сорок километров: составляют завозному хлебу конкуренцию.

Есть у предприятия два обычных магазина и третий, передвинной. Два кафе в городе взяли в аренду (в одном я, к слову, дважды обедал: добротная вкусная пища, а цены — фантастически низкие). Еще одно кафе поставили на трассе Москва—Нижний, скоро откроют: его в списанном вагоне-ресторане обустраивают ("Как вагон-то до автодороги дотащили?", — спрашиваю Людмилу Дмитриевну. "Не знаю, — понимает она плечами. — я распорядилась, инженеры придумали"...]

...Раньше Петрова любила ходить на работу и с работы пешком: город



маленький, живет близко. Теперь приходится ездить на машине. Иначе каждый второй, а то и каждый первый встречный спрашивает: нет ли вакансий? не возьмете на работу? не ожидается ли места? А огорчать людей не хочется.

Лад

Всем своим строем и ладом Гороховец внушает покой и умиротворение. Дале мысли здесь становятся другими: менее суетными, менее дергаными. То, что кажется дозволенным в Москве, здесь представляется неприличным. □



том, что в столице представлялось ванным, тут думаешь: суета сует.

Это от того, может, что место, как говорят, "намоленное": церкви, монастыри... Или от того, что старина удивительно ладно вписана в пейзаж и город не удосужились за последние восемьдесят лет испортить какой-нибудь железобетонной "дурой"... Или от того, что горожане добродетельны — а те, о встречах с которыми рассказал, производят впечатление того самого "света в конце туннеля", о котором в России толнуют вот уж десяток лет...

Так что поезжайте в Гороховец!

Осмотрите монастыри и церкви, сходите в музей, купите корзинку у Виталия Петровича Моргуна; сделайте косметические процедуры в салоне у Лены Каменской, поешьте пельменей в кафе от пицценомбината Петровой...

Только Андрею Нязеву заранее позвоните. Боюсь, свободных мест в мотеле может не быть. ■



Из внутренних двух монологов
не склеить один диалог.
Язык человеческий — не Богов,
и есть у него потолок.
Как тянешь ты, непониманье,
весомое слово ко дну!
Две линии, словно в тумане,
никак не сольются в одну.
Они, в ожидании встречи,
смыкаются в мыслях твоих,
но все-таки внутренней речи
не сыщешь одной на двоих.
И даже, нарушив молчанье,
как по уговору, вдвоем,
в созвучное очень звучанье
вы вложите мысль о своем.



Везло не ведавшему злого,
казнилась кознями казна,
и вновь пузырчатое слово
всплывало на поверхность сна.
Во сне же в эту осень снилось
тепло, проникшее в тела,
была не милостыней милость,
а светом, встроеным в дела.

Настрой на строй не павшей Трои,
на лад, вместившийся в ладонь,
вникал в нас, увеличив втрое
надежды крохотный огонь.



Два огненных кольца,
где тиграм не согреться —
так с твоего лица
глаза мне смотрят в сердце.
Быть может, цирк и дом,
да только не обитель.
Зря щелкает хлыстом
в угаре укротитель.
Огню бы жить в костре,
а тиграм бы — в саванне.
Придуманной игре
надумано название.



Стало быть, вот и случилась
эта бредкостная редкость:
все, что плыло и слоилось,
обрело внезапно резкость.
Гляньте прямо-с или сбоку-с:
где туманное кадило?
Все расплывчатое в фокус
четкость разом поместила.
Разум внял одной дороге
по завету классицизма:
все сомненья и тревоги
сна магическая призма,
протрезвев, в себя вернула,
сделав плоскостью все грани.
Электрического стула
не обрящешь на диване.
Наплевать, к добру ли, к худу
ледяной разумный воздух,
знаю только, что не буду
больше ночевать на звездах.



Держал ли вас за руку
десятилетний сын?
Подобную зарубку
я сделал не один,
а все мужское племя,
которому дано
сквозь то, что тлен и время,
продеть в ушко звено.
Прикован цепью Палех
к истоку мастерства.
Сожми мне руку, Павлик,
и все нам трын-трава.



И ничего-то не случится
у нас от хлопанья дверьми.
В блокноте вырвана страница,
которую себе возьми.
Ну, а не хочешь — и не надо.
И так осенний ветер мглист.
Что значит в пору листопада
еще один пожухлый лист?
Я не захлопну той тетради,
где зябкой слякоти назло
грядущих снегопадов ради
все продолжение бело.
Еще перо коснется снега
не тронутого им листа,
и неизвестны у ночлега
ни широта, ни долгота.



Пик сбыта достигнут у быта,
не киснет кисель с молоком.
Обыденной стала обида,



и горло не чувствует ком.
В глазах так пустынно и сухо,
как будто ни слез, ни дождя.
Не слышно дыхания духа,
ни кормчего нет, ни вождя.
Стремнина, неведеньем брода,
пожалуй, меня награди:
живущая в жилах свобода
свистит, словно рана в груди.



Там, за заброшенным садом,
в сонмище неразберих,
бродят с живущими рядом
те, кого нету в живых.
Мирно беседуют, сводят
счеты они меж собой,
а на чудном небосводе
светится шар голубой.
Это, конечно, нелепо,
только ведь вот же оно —
вроде вокзала и skleпа,
объединенных в одно.
Сущий от тех, кого нету,
вовсе там неотличим:
все населяют планету
существованьем своим.
В сущности, что здесь такого,
и почему нас знобит?
В небе прибита подкова
там, где был месяц прибит...

Ралиф Сафин:



**«...И ТОГДА
Я ПОСТРОИЛ
ХРАМ»**

Страна, главная статья дохода которой — экспорт полезных ископаемых, страна, которая торгует своим природным телом, находится в постыдном и, в конечном счете, проигрышном положении.

Мы строили мост в коммунизм на "нефтедоллары", не задумываясь о том, что именно так строят свое благосостояние валютные путаны. Ведь нефтепривод "Дружба" гнал на Запад не бензин, не керосин — сырую нефть. Не топливо даже — воистину "черное золото", из которого европейские "ювелиры" делали все, что требовал рынок, — от пластиковых панелей до зернистой икры. Конечно, и советская нефтехимия творила подобные чудеса, но Запад не нуждался в советском полиэтилене и предпочитал натуральную икру волжских осетров. Запад требовал сырую нефть, как "Де Бирс" требует алмазов, превращая их в бриллианты на собственных гранильных станках.

Чем же лучше "ЛУКОЙЛ"? — спрашивал я себя, глядя, как желто-красная "началка" — гидротанковый насос — засасывает воду из фонтана на мраморном подиуме роскошного здания в центре Москвы. Черно-коричневый "билдинг" с дымчатыми окнами на углу Сретенского бульвара венчала огромная спутниковая тарелка с красными литерами "ЛУКОЙЛ". Я готовился к встрече с одним из "нефтяных маршалов" компании — первым вице-президентом Ралифом Рафиловичем Сафиним. И первый вопрос, который я задал этому человеку, был тот, от которого я никак не мог отделаться:

— Чем же лучше "ЛУКОЙЛ", если он тоже гонит нефть за границу?

— Во-первых, мы гоним на экспорт далеко не всю нефть, а только одну треть добытого объема, — слегка осадил меня Сафин. — Во-вторых, мы перерабатываем нефть, добывая из нее самые разные продукты — от авианеросина до нокса, от бензина до битума, от

высокосортных масел до серной кислоты. И продаем их. А это уже не торговля "природным телом страны". Вы согласны со мной?

— Да, пожалуй.

— Более того, мы намерены расширить диапазон своей производственной деятельности. В марте прошлого года на совете директоров было отмечено, что "ЛУКОЙЛ" отстаёт от мировых компаний по нефтехимической продукции. И в самом деле, на наших заводах, кроме присадок к базовым маслам, ничего "нефтехимического" не производилось. А что такое нефтехимия — это пластики, искусственное волокно, лекарства, да хоть черная икра!

— Боже, неужели вы все это будете выпускать?! Это же впереворот пойдет. Не потеряет ли вертикаль компании свою гибкость?

— Не потеряет. Более того, приобретет еще один поплавочный плавучести. Нефтехимия подстраховывает нас на случай падения цен на нефть.

Разумеется, мы не замахиваемся на весь ассортимент "чудесницы-химии" и не собираемся штамповать пластилиновые мыльницы. Всему есть разумные пределы. Вот и наши экономисты рекомендуют нам ограничиться выпуском только полубабината для нефтехимических заводов. Например, этиленом. Этилен — исходное сырье для многих других производств — для выпуска того же искусственного волокна, которое, в свою очередь, идет на прядильное производство. И так далее...

— Но ведь новое дело потребует и новых средств. Не напядно ли расширяться сегодня, когда все вокруг урезают свои структуры, штаты, инвестиции?

— Нам не придется строить новые предприятия. В стране хватает готовых нефтехимических заводов, где жизнь практически замерла. В той же Нижегородской области, где в советское время существовало весьма развитое нефте-

химическое производство. Ныне оно частично прибрано к рукам компанией "НОРСИ-ойл", с которой мы вступаем в кооперацию. А в перспективе возможно и полное слияние. У "НОРСИ-ойл" — свой устойчивый рынок и довольно широкий промышленный регион, включающий в себя, помимо Нижегородской области, еще и Владимирскую, а также республику Марий-Эл. Мы поставляем на заводы "НОРСИ-ойла" в качестве сырья прямогонный бензин, а получаем этилен — полуфабрикат повышенного спроса. Таким образом, удалось вдохнуть жизнь в завод "Напролантан", что в Дзержинске. Конечно, мы идем пока на убытки. Но тут важен и социальный фактор: три тысячи человек в Дзержинске получили работу...

Сафин сел на своего коня: прибыль, убытки, доходы, расходы... Мне всегда это казалось довольно снучной материей. То ли дело — добыча, бурение или георазведка. Но Сафин так увлеченно рассказывал о своем "кусте" — а в него входит вся верхушка интегрированной "вертикали": коммерция, переработка, реализация, экспорт, планирование, маркетинг, блок торговли и поставок, — что я невольно заразился его предпринимательским азартом и стал подсчитывать вместе с ним цифры.

Значит, так: если из одной тонны сырой нефти можно получить бензина, условно говоря, на 160 долларов, то та же тонна, переработанная в этилен, даст доход в 260. Более глубокая переработка того же количества нефти в этиленгликоль принесет и того больше — 800 долларов. Вообще, как утверждают аналитики других мировых компаний, прибыль на конечном продукте нефтехимического производства возрастает в 5—6 раз.

Так что есть прямой резон идти на временные убытки, связанные с реконструкцией нефтехимических заводов,

чтобы увеличить потом, как говорят экономисты, "съем доходов с одной тонны нефти" на добрую треть. По крайней мере, именно такой результат ожидается от завода "Напролантан".

А ведь присмотрены еще нефтехимические комбинаты в ставропольском Буденновске и белорусском Новополоцке. В перспективе — нефтехимия Украины, она сегодня тоже пребывает в крайне незавидном положении.

В который раз убеждаюсь в собирательской роли "ЛУКОЙЛа" — своими экономическими связями компания стягивает "разбредшиеся" республики бывшего Союза.

Во всяком случае ЗАО "ЛУКОЙЛ-нефтехим", созданное совместно с торговым домом "Нефтяной", выдает уже первую продукцию, которая должна вызвать цепную реакцию оживления в смежных отраслях заглохшей "большой химии".

Наш разговор прервала приветливая помощница первого вице-президента Марина, принесла две чашки чая с молоком — на башкирский манер. Точнее, не прервала разговор, а перевела в другое русло. Речь зашла о родине Сафина — башкирской деревне Уяндыново, название которой в переводе на русский звучит довольно забавно — деревня "Проснулись". Кто там проснулся и по какому поводу — сказать трудно, но нефтяник в Ралифе Сафине проснулся именно там. В семье колхозника он был старшим из четырех братьев. Школу закончил довольно рано и поступил в Башкирский государственный университет на... исторический факультет.

— Но почему на истфан? — не удержался я от восклицания.

— Да потому, что в районе нашей деревни всегда копали археологи. Ну, и я с ними. Мне и сейчас кажется, что это одна из увлекательнейших профессий. Во всяком случае, я тогда многому научился на практике: мог правильно и

скелет из земли откопать, и окислившуюся бронзу, и разбитую керамику извлечь... Так что, не сомневаясь в выборе, подал документы на истфак. Но жизнь заставила копать, точнее, бурить в других местах... Получилось так: меня зачислили кандидатом в студенты. На лекции я ходил, но стипендию не платили. Отец не мог содержать меня в Уфе, большой город — большие расходы. Что делать? Тогда повсюду гремело — Самостор! Ну и решил податься в нефтяники, чтобы семье помочь. Бросил университет, поступил в институт на факультет нефтепереработки. Потом закончил второй факультет — по специальности инженера-бурильщика. Отработал четыре года в Башкирии.

В 1979 году перевелся на Север. Почему? Женился я еще студентом — в 19 лет. Разия училась вместе со мной. Появился ребенок. С деньгами не густо, а тут несчастье — в 1978 году попал в авткатастрофу. Полгода пролежал в больнице. Переломы, сотрясение, повреждение позвоночника. Делали пункции. Лучше не вспоминать... Когда вернулся домой, семейный достаток упал до нуля. Вот тогда и решил: надо вкалывать на Севере. Ничего другого не оставалось. Ну, а дальше — игра судьбы. Летел я в Юганск, а самолет посадили в Сургуте. Там, в автобусе, познакомился с Аленперовым. С тех пор и не расставались. Был у него в Ногалыме главным инженером, потом с 1980 года заместителем начальника нефтегазодобывающего управления "Повхнефть". Потом пять лет возглавлял управление...

Север есть Север... Было все — зимой морозы, летом — комариное пенкло. Жили в балках, аварии на теплотрассах, дети грелись у фанелов. Туалет при минус полста — во дворе. Окружение — бывшие зени и высланные на "химию". Водка — контрабандой. Пьянки кончались порой кровавыми разборками. Что там дикий Запад?! Что там Техас по

сравнению с ханты-мансийской глубиной? Закон — тайга, медведь — хозяин. У нас свои тюрьмы были, в которых дружинники держали самых буйных до приезда милиции... И через все это со мной моя Разия прошла... У нас три сына и дочь. Самый младший — Ренат — родился девять месяцев назад.

Я чуть не полерхнулся. Ну, Ногалым! Вот тебе и "место, где умирают мунчины". Либо умирают, либо становятся настоящими мужиками, орлами, героями, кем там еще?

Сыновья любят рассматривать медали отца — "За трудовую доблесть", "За освоение Западной Сибири"...

Пять раз Сафим попадал в автомобильные аварии. Последний раз — в Эстонии. Машина, за рулем которой сидел 35-летний мастер спорта по автогонкам, непьющий и некурящий, врезалась в дерево. Водитель — замертво. Сафим без сознания увезли в реанимацию.

— Потом я ходил к одной ясновидящей. — хмурится мой собеседник. — Она сказала, что над моим родом тяготеет некий рок. И чтобы снять его, надо совершать добрые дела. И тогда я построил в родной деревне храм. Естественно, это — мечеть. На свои деньги. И освятил именем матери — в честь святой Халипы назвал. Единственная мечеть в районе. На открытие съехалась вся родня. И отец был, и мама... Дорогу в Уяндыново провел, водопровод, магазин построил, мини-пекарню. А раньше там ничего не было...

— Вы верующий?

— Я живу в самолетах. Все время в перелетах. Трудно быть атеистом, когда поднимаешься в воздух. При взлете всегда молитву читаю...

Статуэтка Мернурия — бога торговли, стоящая на столе, вернула нас к прерванной чаепитием теме: маркетингу "ЛУКОЙЛа".

— Стратегия нашей компании вряд ли отличается от генеральных планов

наших конкурентов — это завоевание рынков СНГ, рынков в Восточной Европе, в странах Балтии, экспансия на Запад. Другое дело — как этого добиться. Наша ставка на автозаправочные комплексы европейского стандарта, где абсолютно все — и заправочная техника, и топливо, и сервис, и дизайн — не под Европу, а как в Европе, и по возможности еще лучше. Трудная задача. Но решаемая. Покупать автозаправочное оборудование у иностранных фирм — выгодно лишь на первых порах. Далее надо научиться выпускать его самим. Кто будет делать? Да те, о ком пелось в популярной песне "Зато мы делаем ранеты", то есть наша брошенная на произвол судьбы отечественная "оборонка" со всеми ее высокими технологиями. Недавно летали в Йошкар-Олу, заключили с концерном "Антей" договор почти на триллион рублей сроком до 2005 года о производстве автозаправочных комплексов по схеме конверсии. Уж если наши инженеры и рабочие делали комплексы по заправке ракет высокотоксичным опасным топливом, то разработать и сделать экологически безопасные бензоколонки им вполне по плечу. Уже с 1997 года на лукойловские АЗС идут насосы, топливомеры, бензопистолеты российского производства, по всем параметрам отвечающие евростандартам. В 1998 году мы переводим все свои автозаправки на систему карточной оплаты.

Когда вслед за "ЛУКОЙЛом" стали создаваться другие вертикально интегрированные компании, была общая договоренность не вторгаться в чужие рынки сбыта. Но этот первый — стартовый — этап уже пройден, и мы подошли к следующему рубежу конкурентной борьбы. Соперничество в борьбе за потребителя стало ощутимо жестче, а границы "сфер влияния" все более размываются. Вот в Санкт-Петербурге мы строим сейчас

пять автозаправочных: две уже работают — одна в Гатчине, другая близ пограничного перехода в Ивангороде.

В целом по СНГ мы ежегодно открываем более ста автозаправочных. Более того, мы добились, что почти на всех российских автозаводах право первой заправки бензином ли, дизтопливом, маслом принадлежит "ЛУКОЙЛУ".

Между прочим, сорок процентов дохода АЗС составляет выручка от кафе и магазина, расположенных под крышей станции. Там же по договоренности с автозаводами мы продаем запчасти для всех машин отечественных марок, причем без перенуциционных накруток — по заводским ценам. А это, согласитесь, еще один притягательный фактор для клиентов.

А вот в Америке мы согласились отказаться от продажи сопутствующих товаров и получили колоссальное преимущество перед конкурентами...

— Позвольте, в какой Америке? В США, что ли?

— Да, в США. Мы открыли свои первые автозаправки в Хьюстоне, Бостоне, Филадельфии.

У меня чуть челюсть не отвисла. Ну ладно Турция, Польша или Литва. Но США, где все схвачено транснациональными нефтяными монстрами, где издавна господствуют "семь сестер" — семь самых экспансивных компаний мира — как туда удалось пробиться "младшему брату"?

— Пробились. — усмехнулся Сафин. — Причем Алекперов публично заявил: "Мы не будем восьмой сестрой. Мы будем старшим братом". А Вагит слов на ветер не бросает...

— Круто... И все же, в чем секрет прорыва на американский рынок?

— Секрет прост. Американистские супермаркеты, чтобы завершить комплекс сервисных услуг для своих клиентов, предложили ведущим нефтяным компаниям открыть на территории тор-

говых центров автозаправки. Но с условием: не продавать на АЗС то, что лежит на прилавках супермаркетов. То есть ваше дело — чистая заправка и ничего больше. Компании отказались от такого предложения. А мы согласились. И в результате получили возможность открыть по всей сети супермаркетов пятьсот "лукойловских" бензоколонок. А это мощный прорыв на внешний рынок.

Такие дела!

Припомнились к месту слова президента нефтяной компании.

Вагит Алекперов: "В Америке мы получили свой шанс, потому что нашу компанию уважают. Мы не так порочны, как эти "семь сестер". Мы свежие. Мы новые. К нам тянутся, нам предлагают проенты, которые недооценили в других компаниях. Мы не вальяжны. Мы не снобы. Мы уважаем своих партнеров и строим свои отношения с властями на корректной основе. И мы все время ищем новые проенты. А это залог жизнеспособности компании. Конкретный пример: двадцатипятирублевые акции "ЛУКОЙЛа" стоят сегодня на рынке ценных бумаг более двадцати долларов! Сравните с официальным курсом рубля, и вам станет ясен финансовый рейтинг "ЛУКОЙЛа". Во всяком случае, по капитализации мы обошли "Газпром"..."

Напольные часы в деревянной резной башне в углу кабинета мелодично отбили третью четверть часа. И когда они закончили свой перезвон, я с тоской заглянул в блокнот, где оставалось еще столько безответных вопросов.

— Ралиф Рафилович, но ведь есть же у вас что-то для души, а не только для маркетинга?

— Было, когда работал на Севере, — и охота, и рыбалка. Даже на исторические романы время находилось. Прочитал

все, что смог найти в местных библиотеках — и про княжескую Русь, и про крепостное, и про Александра Невского... Играл на гитаре, пока в последней аварии не повредил левую руку. Теперь не все пальцы могут прижимать струны. Кстати, о гитаре... Помните, в семидесятые годы проводились фестивали бардов? Так вот в Самаре у меня живет друг, у которого всегда останавливался Владимир Высоцкий. У него мы с ним и познакомились. На память осталась фотография, где мы стоим с Володей в обнимку...

Люблю стихи Игоря Северянина и Игоря Талькова. Но все это одна сторона души — лирическая. Есть и другая... В студенческие времена был у меня велосипед с моторчиком. Потом пересел я на мопед. Мопед сменил на мотоцикл "Нововец". И вот теперь дарю до президента клуба мотоциклистов "ЛУКОЙЛа".

— А какая у вас теперь машина?

— Днип "форд". И вот что интересно: когда я сам за рулем — все нормально. Стоит стать пассажиром в чьем-то авто — авария.

Как лихому мотонаезднику назвали подарил Сафину нагайку, отделанную серебром. Висит она у него в кабинете как символ молодецкой удали: старого нефтяника и молодого отца.

Я держу в руках памятное фото — Сафин с Высоцким. Вспоминается фильм "Вертикаль", где впервые прозвучали те самые песни, под которые потом создавалась и вертикаль "ЛУКОЙЛа".

"Мы рубим ступени, ни шагу назад. И от напряженья колени дрожат. И сердце готово к вершине бежать из груди..."

А все же их сердца, сердца перволюкойловцев, прихваченные не одним инфарктом, взлетели к заветной вершине.

МЕТРЫ ПЕ

На вопросы читателей "Смены", посвященные жилищно-коммунальной реформе, отвечает доктор экономических наук, профессор Григорий НИПЕРМАН.

"Сегодня много говорят о жилищно-коммунальной реформе (в кое-где за нее уже взялись вовсю). Правительство объясняет необходимость перемен тем, что ему (правительству) приходится, дескать, слишком много платить за содержание жилья.

Хотелось бы знать, что думают о жилищной реформе не ангажированные правительством люди, а не зависимые от него экономисты. Действительно ли она так нужна, как нам рассказывают, или это очередной трюк, чтобы выманить у населения побольше денег?"

И НИКОЛАЕВА,
Липецк

Жилищно-коммунальная реформа, конечно, нужна. И прежде всего для того, чтобы при оплате жилья не было, как сейчас, уравниловки. Ведь при уравниловке всегда выигрывают богатые, а бедные — проигрывают.

Вот смотрите: стоимость содержания одного квадратного метра жилья (в Москве) составляет около 15 тысяч рублей ежемесячно. Мы, население, сейчас платим около 2,5 тысячи за метр. Остальное — 12,5 тысячи за каждый метр — компенсирует государство. Оно дает эти деньги в виде дотации

ДЕЗам, газовой, "Водоканалу", мусороуборщикам и другим организациям, обслуживающим наше жилье.

Простой пример. Я с семьей живу в неплохой трехкомнатной квартире площадью около 90 "квадратов". Нас — трое. Значит, каждый из нас фактически получает от государства субсидии на содержание 30 квадратных метров. 30 метров умножить на 12,5 — каждому, выходит, бюджет доплачивает примерно по 360 тысяч ежемесячно.

А в такой же квартире в нашем подъезде живет одинокий человек. Стало быть, на него приходится дотаций — 90 раз по 12,5 тысячи ежемесячно. Итого — больше миллиона!

А кто-то существует в десятиметровой комнате в "коммуналке", и на него бюджет расходует тем самым чуть больше ста тысяч — в десять раз меньше!

В стране появились очень богатые люди. Они живут в квартирах по 150, 200, 300 квадратных метров... Плюс к тому — многие не по одной квартире имеют, а по две, три... И им, самым богатым, казна наша, выходит, доплачивает на содержание жилья больше, чем кому бы то ни было. Ежемесячно по пять, а то и по десять миллионов каждому!

РЕМЕН

Свыше ста триллионов рублей уходит сейчас из бюджета на содержание жилья. Это наши с вами деньги. Наши средства, которые мы все — и бедные, и богатые, и "средний класс" — платим в виде налогов. А достаются в виде жилищных субсидий они в основном богатым. За что?!

Во всем мире, кстати, остро стоит проблема того, чтобы субсидии и дотации, предназначенные бедным, попадали по адресу — малообеспеченным. Чтобы помощь эта доставалась тем, кому действительно нужна. — бедным. Так вот как показывают исследования, и в США, и в Германии, и во Франции до бедных доходит примерно 60 процентов предназначенных им льгот, оставшиеся 40 процентов "съедают" средний класс и богатые. (Я имею в виду здесь не только жилищные субсидии, но и льготы, действующие в медицине, образовании...)

У нас в этом смысле ситуация куда круче: только 20 процентов социальных льгот доходит до тех, кому они предназначены, — до малообеспеченных. Остальные 80 процентов достаются среднему классу и богатым.

Жилищная реформа прежде всего нужна для того, чтобы каждый платил за свои квадратные метры, по справед-

ливости. Тот, кто проживает во "дворце", — большие, "дворцовые", деньги; тот, кто в "хитине", — иные, значительно меньшие.

"У нас в городе жилищная реформа началась с января 1997 года. Сразу же выросла квартплата, и немало. Люди стали в два — два с половиной раза больше платить за жилье! А для того, чтобы пенсионерам или малообеспеченным получить субсидии, — вы бы видели, какие у нас очереди за справками стояли, сколько мест надо было обегать, чтобы эти самые справки получить!.. А потом еще денег надо было дожидаться!.. И похожая ситуация, я знаю, была в Санкт-Петербурге, который "реформировать" тоже начали в числе первых... Почему именно мы стали "подопытными кроликами"? Почему власти не могут проводить реформы так, чтобы людям не было "мучительно больно"?"

В. СИНЦОВА,
Самара

Сначала о том, почему именно Петербург и Самара стали "лидерами" жилищной реформы (или, как автор пишет, "подопытными кроликами"). Когда ее, реформу, решили проводить, канцо-

му региону дали достаточно большую самостоятельность с наной "скоростью" вести жилищные преобразования. В целом по стране определили только среднестатистические ориентиры: в 1997 году, например, добиться того, чтобы население оплачивало из своего кармана 35 процентов стоимости жилья; потом этот процент с каждым годом станет повышаться, и к 2003 году мы будем платить полную стоимость содержания своего жилища. (При этом с "заданной скоростью" мы не двинемся — в 1997 году "рублеж" в 35 процентов не достигнем и вряд ли выйдем на запланированный стопроцентный показатель к 2003 году.)

Регионы — Петербург, Самара, другие города — сами решили "бензнуть впереди паровоза". Хорошо это или плохо — не берусь судить. Но во многих местах допустили ошибки, которые измучили сотни тысяч людей и едва не привели к социальному взрыву. Там, где решили стать "лидерами жилищной реформы", сначала повысили цены на жилье, а уж только потом начали выдавать субсидии нуждающимся. Да еще сделали процесс получения компенсаций затянутым, мучительным, бюрократическим — с кучей справок и очередей... (В некоторых городах надо было собрать 15 подписей в разных присутственных местах, чтобы получить свою законную помощь!)

Все, конечно, надо было делать наоборот: сперва выплачивать людям "квартирную помощь", а уж только после этого увеличивать плату за жилье.

И зачем эта ужасная волокита, немислимый бюрократизм — очереди, собирание виз?... Неужели не ясно, что, например, любой пенсионер нуждается в государственной помощи? Что всякий учитель (если он не в частной школе преподает) и каждый врач (не имеющих частной практики) должен получать субсидии?

Организовать систему выдачи пособий просто: любой человек, претендующий на него, пишет заявление, где укачивает все доходы семьи. Если они малы и дают право на получение вспомоществования — его, это вспомоществование, безо всякой волокиты платят. (Но заявления надо выборочно проверять, подключив к этому налоговую полицию. И горе тому, кто доходы свои утаил: ему не только пособия не дадут, но и возьмут штраф в десятикратном размере от скрытого дохода.)

Было бы ужасно, если реформа сведется (как кое-где происходит) просто к повышению квартплаты. Ее смысл отнюдь не в этом.

Ее суть в том, чтобы богатые и среднеобеспеченные люди не "отбирали" квартирные дотации у бедных, чтобы появилась конкуренция в сфере обслуживания жилья, чтобы отыскались средства на ремонт инженерных сетей и на организацию экономии тепла, воды, газа...

"Мне 82 года, и так получилось, живу одна в большой, очень хорошей трехкомнатной квартире. Я посчитала, что если цены на жилье повысятся, моей пенсии не будет хватать даже на то, чтобы заплатить за квартиру. Мне говорят: меняйся на меньшую площадь; и платить станешь меньше, и заработаешь кругленькую сумму... А я не хочу — каново мне в мои-то годы заниматься переездом!.. Да я его просто не переживу!.. А останусь в моей большой квартире — умру с голода. Как же мне быть?"

И.Б.,
Москва

Вы, к сожалению, не написали, есть ли у вас наследники, и которым перейдет ваша квартира. Если есть — почему бы им уже сейчас не взять на себя оплату вашего жилья? По-моему, это было бы вполне справедливо...

Если же наследников у вас нет, а расставаться с квартирой вы не хотите, вы могли бы заключить договор с московской мэрией — она оплачивает ваши жилищные расходы плюс выделяет какую-то сумму вам "на пропитание" в обмен на то, что после вашей кончины (дай вам Бог долгих лет жизни!) квартира перейдет в фонд московского правительства. (Подчеркну, что эту помощь организуют не какие-нибудь шарманщики, а столичное правительство. Бояться обмана здесь не следует.)

Одна моя знакомая заключила такой договор с московским правительством (а всего таких клиентов в столице, как я знаю, около полутора тысяч). Оплачивают ей квартиру, дополнительные деньги платят порядочные... Только, говорит она, неприятно кажется, что кто-то ждет моей смерти... Но тут уж из нескольких зол приходится выбирать одно...

"Меня бесит то, что квартплата повышается, а "услуги" со стороны ЖЭНов ДЭСов (или как их там) к лучшему не меняются. У электриков вечно "нет лампочек", сантехник норовит содрать с тебя за ремонт если не десять тысяч, так пять... Нодовый замок на двери в подъезде вечно поломан... Окна разбиты, стены и лифт исписаны..."

Раз уж мы будем больше платить за жилье — вы на нашу возросшую квартплату наймите консьержа (желательно с дубинкой!), красьте стены, вставляйте стекла, меняйте лампочки... А то "реформа" называется: все в домах остается без изменений — а цены повышаются! Нет, если в обслуживании домов ничего не изменится, я повышенную квартплату платить отказываюсь!..."

М.БОРКИН,
Ростов-на-Дону

Во многом я с автором письма согласен. Если жилищная реформа оста-

вит на прежнем "пещерном" уровне обслуживания жилья — это будет не реформа, а профанация!

Сейчас, к сожалению, все организации, занятые эксплуатацией жилья, — ДЭСы, газовики, энергетики, "Водоканал"... — являются монополистами. А монополия, как писал Ленин (и здесь я с ним абсолютно согласен!), означает загнивание. Ни одной из тех организаций, что обслуживают наше жилье, не нужно улучшать качество своей работы, снижать ее стоимость. Они могут до бесконечности повышать цены на свои услуги, а дотации на это повышение "выбивать" из государства.

Характерный случай был в Санкт-Петербурге: местный губернатор объявил о том, что будет проведена аудиторская проверка городского "Водоканала". И "Водоканал" сразу же, не дожидаясь проверки, снизил цены на свои услуги на 15 процентов!

Не случайно одно из направлений жилищной реформы — создание конкуренции в сфере обслуживания жилья. В Москве и в Новгороде уже созданы организации, параллельные "официальным", которые заняты сантехническим и электрическим ремонтом, вывозом мусора... И эти "новые ЖЭКи" делают все быстрее, дешевле и качественнее, чем старые.

В Москве поставлена задача: в 1998 году в каждом округе образовать организацию, которая конкурировала бы со старыми структурами, обслуживающими жилье. В других городах они тоже уже создаются.

Важно еще, чтобы жильцы не оставались "один на один" с хамами и хапугами из ДЭСов, а квалифицированно отстаивали свои права, не были разобщены, могли бы выбрать наилучшие условия обслуживания своих домов. Во всем мире жильцы многоквартирных домов объединяются в кондоминиумы. Руководители кондоминиумов решают все на-

сущные вопросы, связанные с эксплуатацией дома. (В России ступенькой и кондоминиумам являются жилищно-строительный кооперативы — ЖСК.)

Сейчас вступил в силу Закон "О товариществах собственников жилья". Эти товарищества — кондоминиумы — не только могут (и должны!) требовать от организаций, обслуживающих дом, чтобы те умело и качественно выполняли свои обязанности. Они еще вправе зарабатывать (в интересах и на нужды жильцов). Ведь в собственность товариществ отходят нежилые помещения дома (чердани, подвалы...), земля вокруг него. Можно стало быть сдавать эти помещения внаем — под прачечные, тренажерные залы или дискотечи... А на вырученные деньги нанимать консьержек (с дубинками и без оных!), чинить кодовые замки в подъездах, делать мелкий ремонт... Так что "спасение утопающих" — наведение порядка вокруг собственных квартир — может (и должно!) стать "делом рук самих утопающих"...

“Недавно я прочитал, что мы в России тратим ежемесячно по 300 кубометров воды на человека, а за рубежом расходуют примерно по 150. Неужели мы такие чистюли, что купаемся, стираем и моем посуду в два раза чаще, чем французы или немцы? А, может, все дело в каком-то “лунавом” учете?.. Сейчас за эти 300 кубометров платит казна, а когда пройдет реформа — мы сами станем расплачиваться. За что? Уверен: мы такое количество воды вовсе не расходует...”

В. ЕЛИСЕЕВ,
Екатеринбург

Конечно, мы не тратим больше воды, чем на Западе! У них там принято, что каждый по утрам и вечерам душ принимает... У нас, правда, кое-кто под струей воды пиво охлаждает (или ку-

рицу размораживает), но даже, несмотря на это, меньше мы тратим воды, чем на Западе, намного меньше! Большинство из тех кубометров, что якобы использованы нами, приходится на потери, на всевозможные утечки и протечки. Отечественные инженерные сети изношены примерно на 60 процентов, и львиная доля воды вытекает не из кранов, а через разнообразные прорехи. Эти прорехи оплачиваются сейчас из бюджета, из кармана налогоплательщика. А будут оплачиваться, если не принять мер, — непосредственно из нашего с вами кармана.

Единственная возможность навести здесь порядок — организовать учет, установить счетчики воды, газа... Они, такие счетчики, уже изготавливаются отечественными заводами (и на этих заводах ждут — не дождутся, когда получат крупный заказ на них). Единственный пока неясный, но важный вопрос: кто будет за эти счетчики платить? Для каждого, отдельно взятого, жильца поставить в свою квартиру расходомер — удовольствие недешевое. Скорее всего, средства на них должно изыскивать государство и устанавливать расходомеры последовательно: сначала на весь дом, потом — на каждый подъезд, потом — на все квартиры... Счетчики эти, кстати, окупаются за шесть—девять месяцев эксплуатации.

Когда они появятся, мы, с одной стороны, не станем платить за чужие потери. А, с другой стороны, начнем относиться к воде и газу бережливее. Для примера: в одном из московских домов такие расходомеры установили. За месяц потребление воды уменьшилось на 15 процентов. А потом оказалось, что счетчики еще не были включены...

“Уже есть «социальные нормы»: уложишься в них — будешь оплачивать жилье в обычном размере (в Москве это 40 квадратных ме-

тров на одинокого человека). Если у вас есть излишек, за него придется платить по повышенному тарифу. Я живу один в квартире общей площадью 45 метров. Что мне теперь делать — эти лишние пять "квадратов" отрезать? Или меняться из-за злосчастных пяти метров?"

С.ЕГОРОВ,
Москва

Для каждого региона действительно установлены свои нормы площади, за которую можно платить по обычному тарифу (а за превышение — по повышенному). Для страны (в среднем!) они таковы:

— на семью из трех и более человек — 18 квадратных метров общей площади на каждого;

— на семью из двух человек — 42 "квадрата" на обоих;

— на одинокого — 33 квадратных метра.

Для Москвы нормы иные:

— на двух и более — 25 квадратных метров на человека;

— на одного — 40 "квадратов".

И для каждого региона — социальные нормы свои. И всякий регион сам определяет, сколько платить за излишки (В Москве, например, установлено, что в домах невысокого качества — "хрущобах" — за каждый метр дополнительной площади придется платить вдвойне; а в хороших домах — втрое.)

Однако не надо торопиться "отрезать" лишние метры от своего коридора! Сохраняются, во-первых, льготы (для инвалидов, например, или для членов творческих союзов). А во-вторых, установлен показатель — "амортизатор": количество дополнительных метров, за которые по повышенному тарифу платить не надо. Для каждого региона размер «амортизатора» свой, от 7 до 10 квадратных метров. Так что, если общая площадь вашей квартиры превы-

шает социальную норму всего-навсего на эти 7—10 "квадратов", плату за излишки с вас брать не будут.

Однако если человек, допустим, обзавелся второй квартирой (а среди богатых это не редкость) — за второе жилье ему придется платить "по полной программе": за каждый его метр — как за излишки, по повышенному тарифу! И это правильно. В этом тоже смысл реформы — чтобы богатые платили за жилье «полной горстью», а не пользовались льготами наравне с малообеспеченными.

ОТ РЕДАКЦИИ

Постоянный автор нашего журнала, доктор экономических наук, профессор Григорий Яковлевич Киперман готов ответить на все письма наших читателей, связанные с экономикой. Если вас интересует экономичка "большая", он готов разъяснить суть процессов, происходящих в стране; если "малая", "нитейская", относящаяся к повседневной жизни каждого из нас — проконсультирует вас по конкретным вопросам. Не сомневаемся, что сейчас такие вопросы возникают ежедневно: в какой валюте и в каком банке хранить свои сбережения? как уберечься от финансовых жуликов разных мастей? как можно добиться выплаты задержанной зарплаты?..

Пишите в "Смену" о том, что вас больше всего интересует, волнует. — профессор Киперман готов дать квалифицированный ответ каждому из вас. ■

В середине 1996 года в сообщении об аукционе, проводимом "Литературной газетой", проскользнули слова: "...самым необычным, наверное, в практике всех аукционов мира лотом будет... кирлич из Колизея, привезенный в начале 10-х годов из Италии сейчас уже мало кому известным писателем, завсегдаем богемных литературных салонов Юрием Слезкиным". Эта фраза характерна уже тем, что напечатана в писательской газете, где должны были знать, что 15 лет назад двумя изданиями общим тиражом 200 тысяч экземпляров вышел сборник романов и повестей Юрия Слезкина "Шахматный ход", год назад переиздан его лучший роман "Брусиллов", а несколько рассказов были опубликованы в сборнике "Новелла серебряного века". Но что касается известности, приходится признать: сегодня писатель Юрий Львович Слезкин (1885–1947) основательно забыт.

Сын царского генерала, участника русско-турецкой войны 1877–1878 годов, друга А. Брусилова, Юрий Слезкин рано приобщился к литературе. Литературные традиции передались ему от предков, среди которых был поэт Дм. Веневитинов.

В пятнадцать лет Юрий Слезкин опубликовал свой первый рассказ. Потом были годы учебы в Петербургском университете и активная литературная жизнь. Его рассказы и повести пользовались огромной популярностью. В 1928 году выходит собрание его сочинений в восьми томах. А затем — долгое молчание: по доносу "доброжелателей" из писательской среды его отлучили от издательства за дворянское происхождение и родственные связи с бывшей правящей верхушкой.

Лишь после письма Сталину, которое он написал по примеру М. Булгакова и Евг. Замятина, ему снова разрешили печататься. В 1935–1937 годах он публикует две первые книги эпопеи "Отречение". Во время войны работает над третьей частью эпопеи и преобразует ее, учитывая ситуацию, в самостоятельный роман "Брусиллов", несущий огромный заряд патриотизма и оптимизма.

О творчестве Юрия Слезкина тепло отзывались такие разные писатели, как Новиков-Прибой, Александр Грин, Михаил Булгаков. Они отмечали легкость его слога, прекрасный русский язык, занимательность сюжетов и полет фантазии.

Многие свои рассказы он посвятил любви, величию этого чувства и его странностям. Эта вечная тема воплощена и в том рассказе, который "Смена" впервые публикует после семидесятилетнего забвения.

ГЛУПОЕ

*Глуное сердце все бьется, бьется —
Счет ведет...
Кажется, вот-вот сейчас разобьется —
Нет — живет...*

Михаил Кузмин

Много лет тому назад знал я трех старых дев Васьевых, которых звали "три грациями" — должно быть, в насмешку. Между ними существовала большая разница в годах, но они были так привязаны друг к другу, так сжились и мыслями и привычками, что, казалось, будто они должны были исчезнуть в один день, один час — все трое, предварительно приведя в порядок свою квартирку, выбив мебель и вытряхнув платья, что делалось ими каждый день.

Я люблю и до сих пор вспоминать с грустным сожалением о том, как я изводил Гликерию Николаевну — самую некрасивую из сестер, самую застенчивую и нервную, самую тихую и добрую. Достаточно было на цыпочках подойти к ней сади и крикнуть ее имя, чтобы она в ужасе вскочила с места, подняв коротенькие свои пухлые руки. Это придавало ей такой смешной вид, что я невольно покатывался со смеху. Но Гликерия Николаевна не умела сердиться. Покачив головой, она говорила только: "Ах, этот сорванец..." — и тихо улыбалась, как улыбаюсь теперь я при воспоминании о ней.

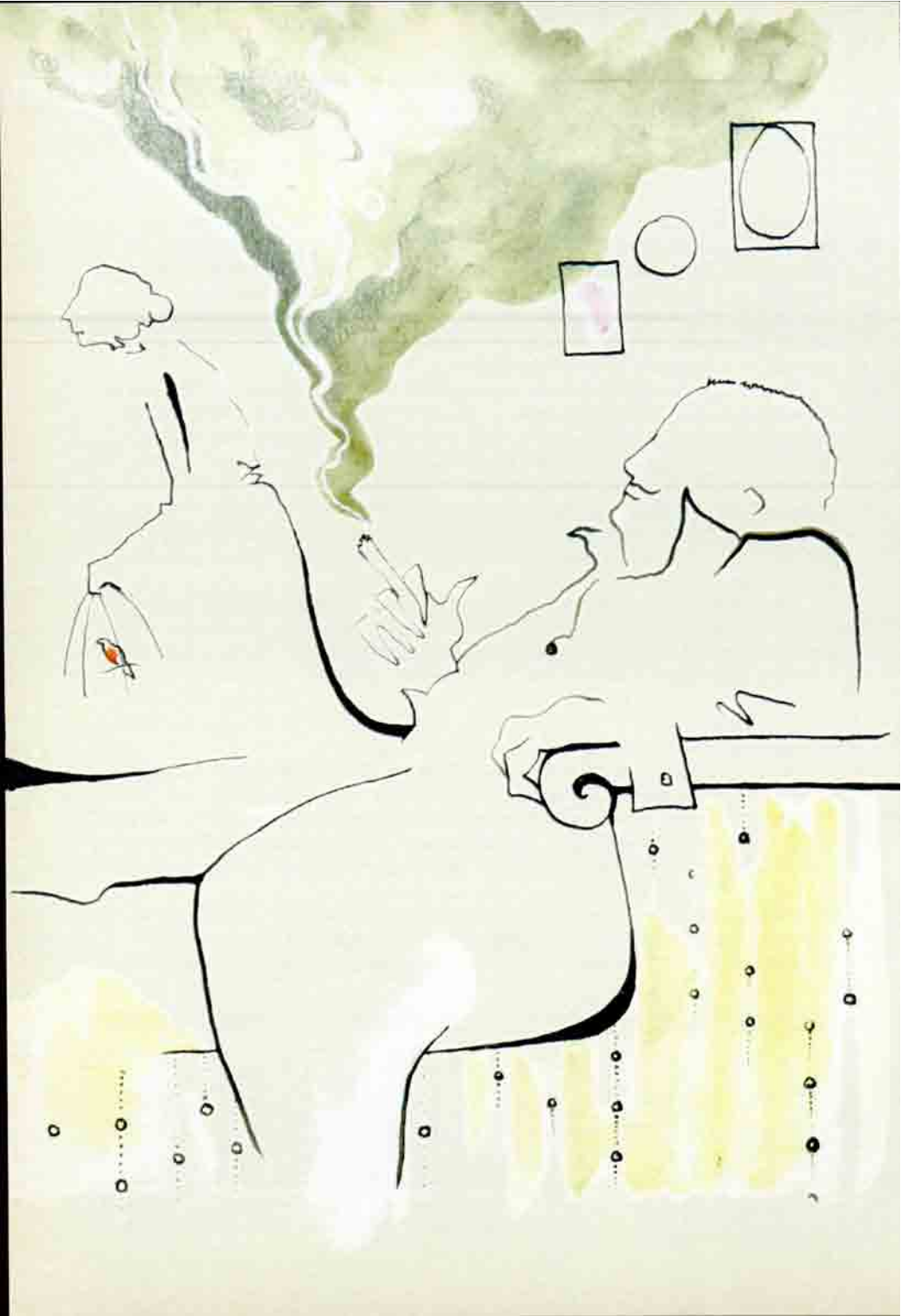
Тогда Анна Николаевна — самая старшая, — стараясь быть серьезной, пыталась отодрать меня за уши, а Зина — младшая — читала мне наставления. Я каялся умильным тоном, каким только мог, и быстро получал прощенье. Потом усаживался рядом с ними на маленькой скамейке для ног и с живым вниманием слушал наивные истории, которые они мне рассказывали, в то время как руки их были заняты вышивкой для аналая, вышивкой, казавшейся бесконечной.

Они, эти три девушки, жили на пенсию, получаемую ими по смерти отца их — полковника. Квартира им ничего не стоила, так как маленький одноэтажный дом, в котором помещалась эта единственная в пять крохотных комнат квартира, принадлежал им. Домишко их был так мал и ветх, что, казалось, от одного резкого, неосторожного движения он мог рассыпаться.

Приехав на похороны отца, старший и единственный брат Васьевых при виде оставшегося наследства махнул только рукой, назвав дом развалюшкой, и уехал обратно к себе в полк, милостиво разрешив сестрам

СЕРДЦЕ





пользоваться наследством по собственному усмотрению.

— Владейте, живите, размножайтесь, — простуженным баском крикнул он им. — Бог с вами. Не нужно мне, обойдусь как-нибудь, а вы сироты...

И даже уронил слезу.

Заплаканные, растерянные, перепуганные сестры целовали его в плечико (как бывало — отца), убежденные в том, что им оказывают необычайную милость, что брат их, которого они считали неизмеримо выше себя, совершил поистине великодушный поступок.

И они остались жить в этом домике, в этой "развалюшке" с крохотным палисадником, благодаря Бога, восторженно вспоминая брата. Они не знали жизни, боялись людей, казались маленькими заброшенными сиротами, хотя самой младшей из них шел третий десяток.

Все три — институтки, все три — некрасивые, болезненные, по природе робкие, они остались без матери еще в детстве и боялись отца, боялись кадета-брата, привыкнув беспрекословно повиноваться, слепо верить. Это были добрые, наивные и до смешного беспомощные существа, которых нужно было хорошо узнать, чтобы навсегда полюбить.

Отец их был нелюдим, ворчун, ипохондрик. Он сердился на весь свет и никого не хотел знать. Молодых людей девушки никогда у себя в доме не видали, их подруг полковник терпеть не мог. Если он разговаривал с дочерьми, то всегда их запугивал, живописуя им всякие ужасы. Брат относился к сестрам пренебрежительно, но они любили его болезненной, ничем не оправдываемой, нерассуждающей любовью. Он мог обращаться с ними, как хотел, они никогда ему не перечили.

Когда они увидели его впервые офицером, их умилению не было предела.

С тех пор брат уехал и не подавал о себе вести до самой смерти отца.

Говорили о нем, что он кутит, пьет, играет в карты. Сестры ничему не верили, если же слухи были слишком достоверными — всегда находили оправдание поступкам брата, даже благоговейно изумлялись им. Его щедрость покорила их навсегда. Несмотря на его подпухший нос, выпяченные губы, изрядное брюшко — они считали его красавцем. Можно было поссориться с ними, не разделяя их восхищения. Вскоре после смерти отца Васьев вышел в запас и занялся аферами. Иногда ему везло, но страсть его к женщинам каждый раз разоряла его. Он неизменно влюблялся в какую-нибудь "звезду". С гордостью называл себя любителем искусства. Все артистические уборные провинциальных театров и кафешантанов в тех городах, где он жил, были ему хорошо знакомы. Его красную, ухмыляющуюся, усатую физиономию, его плотную фигуру в длинном пальто сюртуке знали все антрепренеры и комиссионеры. Он никогда не отвечал на письма сестер, но они неукоснительно писали ему, давая полный отчет в каждом своем шаге, во всей своей жизни.

Их жизнь была тиха и однообразна. По утрам они прибирали свою маленькую квартирку в пять комнат, готовили себе обед, а на ночь запирались наглухо на ключ и задвижки.

Сидя в своей низенькой гостиной за постоянной работой, они гляде-

ли в окна сквозь кисейные занавески на белые стены кремля, на золотые маковки церквей, на лениво тянущиеся подводы с овощами, на уныло шагающего городского.

Зинаида Николаевна — самая молодая, деятельная и практичная, по общему признанию двух других сестер, признавалась хозяйкой дома. Она вела счета, делала закупки, писала от лица всех трех поздравительные письма немногочисленной родне и знакомым. Гликерия соглашалась со всем, всему верила; Анна на правах старшей давала советы. Она была сморщенной и худой и походила со своими серыми жесткими волосами на голодную крысу. Гликерия, напротив, вся расплылась, и черты лица ее нельзя было уловить.

Я никогда не замечал, чтобы они — все трое о чем-либо мечтали, сидя за своей работой, или чтобы у одной из них появилось бы какое-либо желание, не разделенное двумя остальными. Их жизнь походила на часы с тремя циферблатами, по которым стрелки идут, отмечая одинаковое время. Их головы так же, как их квартира, были наполнены старой, хрупкой мебелью, ненужной, но такой милой, такой знакомой. Мне всегда казалось, что они тянут свою мысль, как тянется нитка в их бесконечной вышивке. И вот однажды они получили от брата письмо, смутившее и обрадовавшее их, повернувшее всю их размеренную жизнь по-новому. Брат писал им, что он женится, что невеста его — молодая вдова, живущая летом у себя в имении недалеко от их города, что он решил приехать к сестрам и поселиться у них, чтобы иметь возможность чаще видаться со своей невестой. "Вы, конечно не откажете мне в этом, — писал он, — тем более, что свадьба не за горами, и я сумею вскоре отблагодарить вас".

Окончив чтение, Анна опустила на колени трепетавший в ее руках листок почтовой бумаги, Гликерия смахивала со своих потухших глаз скупые слезинки, а Зина, сияющая, улыбалась.

— Я думаю, что мы должны согласиться, — наконец произнесла старшая.

— О, без сомнения, — пробормотала средняя, а младшая всплеснула руками и воскликнула:

— Да ведь это такое счастье!

Тогда опять заговорила Анна.

— Да, конечно, его нужно принять, оказать ему возможное гостеприимство. Он у нас один, мы обязаны заменить ему наших родителей. Пусть он почувствует, что он среди самых близких, самых любящих людей. В такие серьезные для него дни — это необходимо. Нам остается только пожелать, чтобы невеста была достойна его...

Утирая слезы, Гликерия сказала убежденно:

— Разве мог Николаша ошибиться в выборе?

А Зина подхватила с жаром:

— О, она без сомнения очаровательна, и я, право, уже люблю ее!

Тогда они в перебивку стали припоминать всех окрестных помещиц, стараясь угадать, которая из них могла быть этой счастливицей, этой избранной. Попутно они рассказывали друг другу все, что знали о каждой пришедшей им на память даме, но все они не удовлетворяли требо-

вательное тщеславие этих любящих сестер, этих девушек, не знавших никогда личного счастья и потому таких ревностных в заботе о счастье брата.

— Нет, мы ее, должно быть, не знаем, — разочарованно воскликнула Зина, — все это не то, совсем не то... Я уверена, что она блондинка, нежная, маленькая блондинка с большими, большими синими глазами — таких нет среди наших знакомых.

— Может быть, блондинка, — сдержанно заметила Анна, — но вернее всего она экономная, рассудительная, вполне порядочная женщина...

— И очень добрая, — сладко жмурясь, добавила Гликерия.

Они находили все новые и новые совершенства в своей будущей золвке. Потом начали строить планы, — о том, как они все трое будут приезжать на лето гостить в имение брата — ненадолго, конечно, на неделю, на две... будут гулять по саду, рвать цветы, кормить кур, собирать грибы. Наконец-то они поживут вдаль от городской суеты, подышат деревенским воздухом!

Уже в постели продолжали они свой нескончаемый разговор, не могли заснуть. В их жизнь ворвалось новое, неожиданное, волнующее. В тайне от других каждая лелеяла свою маленькую эгоистическую мечту, которая могла теперь осуществиться. Анна давно уже хотела применить свои экономические способности на каком-нибудь большом хозяйстве. Она уверена была, что теперь ее способности пригодятся, что вдову обкрадывают, что ей нужен опытный руководитель. Гликерия не смыкала глаз, непрестанно наполняющихся слезами умиления. Она мысленно переделовала всех этих розовых карапузов, которые должны были появиться на свет в недалеком будущем, уже шила чепчики с голубыми и розовыми ленточками для мальчиков и девочек.

Гликерия видела их — целый цветник этих розовых пухлых крошек, улыбающихся ей, аукающих и протягивающих к ней ручки. Сначала она решила, что их будет двое, потом четверо, потом пятеро. Они расцветали в ее воображении, как райские цветы, с каждым мгновением вызывая все большую любовь. Она не могла остановиться ни на ком из них, никакое число не удовлетворяло ее. Ее высохшее, обездоленное, одинокое сердце старой девы снова начинало трепетно биться, наполняясь неудовлетворенной жадной материнства, этой пожирающей глубокой страстью, которая тлела где-то долгие годы. Наконец Гликерия разрыдалась, уткнувшись лицом в подушку, колыхаясь всем своим тучным неуклюжим телом, не отдавая себе отчета, почему плачет — от тоски или счастья.

Тогда к ней подбежала Зина и, нагнувшись над ней, прошептала взволнованно:

— Глишута, Глишенька, о чем ты?

Та ответила сквозь усилившиеся рыдания:

— Мне хорошо, мне так хорошо...

А Зина, глядя сестру по волосам, молвила мечтательно:

— Мне тоже очень хорошо... Я все время мечтаю... Я представляю себе, как они друг друга любят — это так сладко...

Она смотрела в темноту комнаты, слушая легонький храп Анны, но мысли ее были далеко. Она еще не перестала надеяться, еще могла мечтать: ей не было 30 лет. Может быть, только она одна из всех сестер знала, что такое любовь, любовь к мужчине, к этому сверхъестественному существу, неодолимо притягивающему ее к себе, несмотря на весь ужас, какой она испытывала перед ним, когда он принимал определенные формы, когда она искала его и находила среди людей ей знакомых.

Теперь она все свои мечты о любви — немного наивные, немного романтические, достаточно нелепые, потому что они были созданы не жизнью, а фантазией, — перенесла на брата. Ах, как очаровательна, как божественна должна быть любовь этого счастливого человека! Пройдет несколько дней, и эти стены услышат самые пылкие слова, самые горячие признания...

Наутро сестры встали несколько усталые, смущенные, выбитые из колеи. Но вскоре ими овладела лихорадочная поспешность. Они перевернули вверх дном всю свою маленькую квартирку, устраивая комнату для брата. Они готовы были снести в эту комнату все, что у них было. И каждый раз то одна из них, то другая находила, что чего-нибудь не хватает.

Наконец через четыре дня томительного ожидания брат приехал.

Он заключил каждую из сестер в объятия, нашел, что они великолепно выглядят, что они ничуть не постарели с последней их встречи, потом фыркал и полоскался у себя в комнате, довольным баском отвечая на тысячу вопросов, которые ему задавали сестры, волнующиеся за дверью.

Он ходил большими твердыми шагами по крашеному, начисто вымытому полу, и стук его шагов, громких мужских шагов, наполнял всю маленькую квартирку — беззастенчивый и торжествующий. Как давно здесь не было слышно мужского голоса. Потом Николай закурил, и сильный дымок поплыл из комнаты в комнату.

Зина вдыхала этот необычайный запах с непонятым беспокойством — сердце ее начинало сильнее биться. Она все больше обожала брата.

Когда он сел за стол, проголодавшийся и веселый, она не спускала с него восторженных глаз.

— У вас тесновато, но премило, — говорил он громко, громко стучал ножом и вилкой. — Нужно будет кое-что прикупить, кое-что переставить. По дороге с вокзала я видал хороший мебельный магазин. И потом цветов — необходимо цветов! А канарейку мы уберем в кухню — это дурной тон. Да, дорогие сестрицы! Вскоре ваш брат заживет по-настоящему, вовсю, что называется! И вы мне, конечно, поможете. Я никогда этого не забуду, вечно буду вам благодарен. Но теперь придется приложить все старания... Вы понимаете? Моя невеста очень требовательная, настоящая светская дама... Что это, грибки?... Что же, пожалуй, можно и грибков!.. Спасибо. Так я и говорю — выдержим марку — наша взяла, не выдержим — пиши пропало.

Он ел, пил, раскидывал вокруг себя хлебные крошки, сыпал пепел на белую "парадную" скатерть, обволакивал маленькую столовую волнами табачного дыма, принимая все заботы, всю предусмотрительность

сестер как нечто вполне заслуженное. Может быть, многое в нем пора- жало, коробило скромных девиц, отвыкших давно уже от всего этого беспорядка, но брат подавлял их своею самоуверенностью, тем муж- ским, что было в нем и перед чем они — отвергнутые — привыкли пре- клоняться как перед чем-то недостижимым.

Отведя в сторону старшую сестру Анну, он долго и убедительно гово- рил с нею.

Она озабоченно кивала головою, потом ушла к себе в комнату, доста- ла из чемодана чековую книжку и тайком от сестер передала ее брату. Он на лету поцеловал сестру в лоб и небрежно спрятал книжку в боко- вой карман.

— Ты увидишь, как я все тут переделаю — одно удовольствие! — вос- кликнул он, засвистав веселую песенку.

На следующий день брат побежал по магазинам и уже к вечеру во- зился с расстановкой мебели. Без пиджака, в помочах, он карабкался на лесенку, чертыхался и приколачивал портьеры.

Зина помогала ему. Она держала то молоток, то гвозди, то какую-ни- будь картину. Она исполняла с благоговением каждое его желание.

Анна, стоя у плиты над кастрюлями, говорила Гликерии, прибывав- шей канареечную клетку:

— Я не сказала бы, чтобы мне вся эта кутерьма особенно нравилась, но если она послужит ему на пользу, то я ничего не имею против.

Гликерия отвечала убежденно:

— Конечно, Аннушка, для него это необходимо. Все мужчины такие горячки — тут уж ничего не поделаешь. Я-то их хорошо знаю! Уж если чего захотят, то поставят на своем.

— Надеюсь, что и я кое-что понимаю в этих делах, — слегка обижен- но перебила ее Анна — худые щеки ее покрылись румянцем. — Но все- таки я была бы более экономной. Полюбите нас черненькими, а белень- кими всякий полюбит...

— Ах нет, Анюта, — спорила Гликерия, насыпая в кормушку зерен, — все-таки любовь это такое чувство, такое чувство... всегда хочется сделать что-нибудь приятное любимому человеку...

Через два дня Николай уехал в имение своей невесты. Ее, точно, ни одна из сестер никогда не видала. Ее звали Серафимой Сергеевной Лебе- дянцевой.

— Ждите меня с невестой! — крикнул Николай, усаживаясь в шарабан.

У него был весело-озабоченный вид.

Все три сестры провожали его, кивая ему из окна, желая ему счаст- ливого пути. Потом разбрелись по комнатам, впервые после стольких дней волнений оглядывая каждый угол и ничего не узнавая. Сестрам показалось, что они переселились на новую квартиру. Они почувство- вали себя стесненными, одинокими. Каждая вещь точно по-иному смотрела, по-иному пахла. Едкий табачный дым пропитал собою все. И несмотря на то, что прибавилось много новых вещей, комнаты ста- ли менее уютны.

Гликерия проговорила печально:

— Стыдно сказать, но раньше наша маленькая гостиная казалась

мне веселее. Это, конечно, оттого, что я уже давно перестала следить за модой. С годами все меняется, даже вкусы.

— Я мало думаю, красиво это или нет, — возразила Анна, — но на месте брата я не стала бы швырять деньги по пустякам. Мне всегда не нравилась в нем нерасчетливость.

Но Зина молвила примиряюще:

— Ах, стоит ли об этом говорить. Вы только подумайте, как он должен быть сейчас счастлив. Милый, дорогой Николай, я люблю его все больше.

В воскресенье, в полдень, к скромному домику, где жили сестры, подъехала коляска.

Зина первая увидела ее из-за забора своего садика. Сердце девушки замерло, когда она разглядела брата и рядом с ним нарядную даму.

— Ну вот, позволь тебя познакомить с моими сестрами. Они живут у меня на покое, тихонько, немного отвыкли от людей, но, право, славные бабочки.

Николай посмеивался, потирал руки, оглядываясь по сторонам, точно проверяя, все ли на своих местах.

Серафима Сергеевна улыбалась любезно, чуть снисходительно. Она была высока, смугла, полна, недурна собою. В ушах ее поблескивали крупные бриллианты.

Анна оглядела ее с ног до головы. Гликерия заключила ее в свои объятия; Зина смущенно опустила глаза и залилась румянцем.

Николай сказал довольным тоном:

— Идем же, я покажу тебе свою квартирку, свой домик — он мал, но достаточно уютен.

Анна удивленно вскинула на брата глаза. Почему их домик он называет своим? — но он продолжал, не смущаясь.

— Конечно, придется сделать еще некоторые поправки, маленький ремонт, но в конце концов на первое время этого достаточно.

И он пошел вперед с гордым, довольным видом рачительного хозяина, который хорошо знает себе цену. Он похлопывал ладонью по креслам, по тахте, испытывая плотность пружин, доброкачественность обивки. И когда все комнаты — все пять маленьких комнат были осмотрены, он воскликнул удовлетворенный:

— Не правда ли, мне нельзя отказать во вкусе? Что поделаешь, это не хоромы, но все-таки я нахожу квартирку очень милой.

Серафима Сергеевна ответила, улыбаясь:

— Конечно, мой друг, она прелестна.

Они прошли в садик, небольшой садик, крошечный клочок земли, огороженный деревянным забором. Здесь, в беседке, накрыт был стол, кипел самовар. Анна разлила чай, сидя с чопорным видом. Потом встала, отговариваясь делами по хозяйству. За нею поднялась Гликерия. Зина медлила, хотя она чувствовала себя как на иголках. Серафима Сергеевна говорила ей что-то о столицах, о театрах. Она слушала, не понимая, волнуемая неясными, сладкими мечтами, предчувствием любви.

Лицо этой женщины, этой вдовы с томными глазами, с яркими,

слишком яркими губами, говорило о поцелуях, которыми осыпал Николай свою невесту, и это кружило Зине голову, лишало ее способности соображать. Наконец ее позвала сестра, и она сорвалась с места и побежала, забыв извиниться, точно спасаясь от преследования..

— Зина, — звала ее Анна, — мы тут, в кухне! Скажи нам, как ты ее находишь?

Приложив ладони к пылающим щекам, Зина ответила нерешительно:

— Но я, право, не знаю. Мне кажется, она очень красива.

— Пожалуй, она недурна, — возразила Анна. — Но не первой молодости, и потом... и потом, почему она красится?

— Красится? Что ты говоришь? — испуганно пробормотала Гликерия.

— Конечно, красится. И глаза подводит... и камни в ушах ее слишком велики...

— Но ведь она богата — ничего не поделаешь, живет в столице, — возражала нерешительно Гликерия. — Нам трудно судить о ней.

— Приличный вид — всегда приличный вид, — не уступала Анна. — И потом мы сами, я думаю, не Бог весть кто и тоже бывали в хорошем обществе. Вот, Зина, понеси им это варенье. Матрешу совестно пускать туда — вечно испачканная.

Приняв из рук сестры вазочку с клубничным вареньем, Зина пошла обратно в сад.

Она шла быстро, почти забывшись. Подойдя к беседке, подняла глаза, чувствуя, что вся кровь бросилась ей в голову.

Николай обнимал свою невесту, целовал ее в шею. Серафима Сергеевна отталкивала его, смеясь.

— Ах, бешеный, право, бешеный, — шептала она.

Скрытая кустами, густо разросшейся сиренью, Зина стояла неподвижно, затаив дыхание, с сильно бьющимся сердцем, с пылающими щеками. Она не отрываясь смотрела перед собою, волнуемая сладкой, хмельною истомой, подхваченная еще никогда не испытанным восторгом, чувствуя, как по всему ее телу разливается слабость. Ей было стыдно и радостно. Перед нею точно раскрылась заманчивая тайна, ей хотелось бежать отсюда, но она не в силах была двинуться с места, не могла не смотреть.

Среди поцелуев Николай говорил:

— Ну, послушай, ну, милая... когда же это кончится?... Уверю тебя, все мною предусмотрено...

Серафима Сергеевна отвечала, поправляя прическу:

— Но все-таки мне неловко.

— Чепуха, право, чепуха — все уладится. Они нигде не бывают, никого не видят и поверят всему. Согласись, что это гораздо удобнее, чем жить в гостинице. Ты будешь полной хозяйкой — мой дом весь к твоим услугам. Они отлично поместятся в одной комнате. Твои вечерние отлучки всегда можно будет объяснить, а театра они боятся и ничего не заподозрят. Я приготовлю тебе великолепный уголок, моя дорогая невеста...

Он рассмеялся, припадая к ее рукам.

— Ты можешь сделать меня навсегда счастливым.

Серафима Сергеевна возразила, улыбаясь:

— Но ты должен будешь оставаться только женихом... ничем больше... Помни, что твои сестры еще девушки... наивные девушки... Мы можем их испортить...

Николай отвечал, смеясь от всей души, хлопая себя по ляжкам:

— Черт возьми, это хорошо сказано — наивные девушки!.. Не хотел бы я заняться их развитием... Но не беспокойся, они любят меня до глупости и, конечно, ничего не увидят... кроме того, они зависят от меня и живут в моем доме. Ты понимаешь? Да, наконец, они попросту старые дуры и, право, глупо обращать на них внимание...

Каждый раз, дойдя в своей истории до этого трагического финала, Зинаида Николаевна начинала всхлипать.

Я сидел у сестер Васьевых, в маленькой комнате на пятом этаже, где теперь они жили и, слушая их, пожимал плечами:

— И вы не выгнали его? Вы позволили ему до конца разорить вас?..

— Ах, Господи, — отвечала Анна, совсем уже высохшая и неподвижная: — Зина долго лежала тогда в обмороке — мы растерялись, пойми же... В конце концов, он же не так виноват: ведь большая часть дома принадлежала ему, а нам он обещал выплатить... со временем, когда поправятся дела... Мы все-таки не очень нуждаемся... у нас есть пенсия.

Гликерия шептала убежденно:

— Ты еще молод и не знаешь, что такое любовь. Он обманул нас только потому, что сильно любил и боялся, что мы не позволим привезти к нам эту несчастную... Но он очень добр, очень внимателен... Он даже плакал тогда и просил у нас прощения...

— И все же выселил вас?

Этот вопрос, всегда повторяемый мною, выводил Зину из упорной задумчивости, в какой неизменно она теперь находилась. Она вставала порывисто с места и, гордо подняв голову, говорила громким надтреснутым голосом:

— Никто не выселял и не мог нас выселить! Мы сами уехали. Если мы и старые дуры, то все же знаем, когда наше присутствие неудобно... Любовь требует тайны — только тогда она прекрасна. Мы не хотели мешать...

И внезапно замолкая, она поспешно выходила из комнаты в коридор.

Анна и Гликерия понуро молчали.

Я думал печально:

"Любовь требует тайны — она права. Но кто разгадает тайну смешного, маленького, слабого, всегда любящего человеческого сердца"...

Петроград
1915, Август.

К О Н К У Р С

"ТРЯХНЕМ СТАРИНОЙ"

В январе 1999 года "Смене" исполнится 75 лет. Конечно, вряд ли в чьем-то архиве сохранилась подшивка журнала 30—40-х годов — слишком бурной была жизнь страны, стало быть, и каждой семье — до журналов ли тут... И все же мы уверены, у кого-то из наших особенно бережливых читателей мог сохраниться хотя бы один журнал давних лет.

Мы объявляем конкурс, участвовать в котором может каждый, кто собирает и хранит "Смену" у себя дома. Условия конкурса простые:

тот, кто пришлет нам самый "старый" номер журнала, получит

телевизор.

Конечно, мы ждем, что вы расскажете о себе, о своей жизни и тех обстоятельствах, при которых вам удалось сохранить наш журнал. Соответственно с уменьшением возраста "Смены" конкурсанты будут награждены:

видеомагнитофоном,

музыкальным центром,

фотоаппаратом,

подпиской на "Смену".

Итак, пять призов ждут особенно бережливых и преданных "Смене" читателей.

Итоги конкурса "Тряхнем стариной" мы подведем в мае 1998 года, а присланные вами журналы обязательно вернем.

В поиск, друзья!

К О Н К У Р С

Тот, кто иглу
"сел" на иглу
до пятидесяти, увы,
в 14-18 лет,
не доживет...



„КОСЯ“

ЖИЗНЬ

Даже в толпе их легко вычислить

безошибочно: вялая, дергающаяся походка; бледные лица; размытые, смазанные улыбки; и глаза — они как бы живут отдельно...

У них свой язык, свои, особые жесты, своя градация достоинств... Это — другая жизнь, пересекающая нашу жуткими изломами человеческих судеб.

В жизни этой нет дня и ночи, зимы и лета, возраста и пола. Нет цветов и музыки — только страх, бесстыдство, боль и отчаяние; только "до" и "после". До "носяка", укола, дозы и — после. И так ежедневно, ежемесячно, ежегодно — лет до сорока, сорока пяти.

Мои собеседники — Толик, Саша и Дима — наркоманы. За несколько лет они прошли путь от эйфории до многократных и отчаянных попыток освободиться от власти вещества. Они искали спасения от одного наркотина в другом. Когда после многих физических и душевных страданий им удавалось на мгновение получить облегчение, они очень скоро понимали, что вновь в тупике.

Я намеренно не изменяла своеобразную стилистику речи, не поясняла канда неслышанное ими сленговое словечко. Думаю, горькие эти монологи не требуют комментариев. Но прочтя их, может быть, задумаются о близкой опасности и родители подростков, и сами молодые люди; что пока еще, к счастью, колеблются: принять ли очередное навязчивое предложение друзей "ширнуться и словить кайф" или все же поостеречься?

ТОЛИК

Винт

Сейчас мне 23 года. Отучился в школе до 8-го класса, потом 3 года в училище. Там все и началось с анаши и

с пива. Свой первый косяк анаши я выкурив в 14—15.

Потом устроился работать на Арбат, это тогда называлось "утюжить". Мы продавали иностранцам кроличьи шапки — "разбиты", часы, матрешки, нам платили долларами, а мы потом и доллары продавали — наваривали и с товара, и с валюты.

Рядом с нами все время были люди криминального плана — наша "крыша", — которым мы должны были платить. Естественно, после работы вместе отдыхали. Там я впервые укололся винтом.

Я колосился, потому что хотел прихода. Некоторое время было отлично — эйфория, все вокруг прекрасно. Но часов через 10—12 наступает дикая депрессия, полное опустошение. Люди, которых готов был расцеловать, в любви признавался, внезапно канутся резиновыми куклами и убожествами. Даже воздух и стены вокруг становятся серыми, зловещими и пустыми.

Я "присел" на винт с первого укола — на пять лет. Из этих пяти лет три года я торчал вообще плотно — не вмазывался, только когда спал и ел. Все остальное время сидел на игле. От винта нет физических ломок, но есть дикая, непреодолимая психологическая зависимость.

Через три года появились ЛСД, кокаин, героин — экзотика. Начал переменять: когда кислотой занимаешься, когда героином. Но главным моим наркотиком был винт — я за него все готов был отдать. Так оно и было — все и отдавал.

Криминал

Единственная проблема — стало не хватать денег. Одно время я даже похрадывал, "разводил" людей, обманывал на деньги. До сих пор не понимаю, каким чудом не угодил в тюрьму. Не всем моим знакомым так повезло... Сейчас самому не верится, каними

унасными способами я тогда зарабатывал деньги.

Например, те, кто торговал матрешками на Арбате, оставляли свои вещи, чтобы с собой не таскать, в съемных квартирах — платили какие-то деньги хозяевам. Мы такую квартиру вычислим и заходим — внешне все вроде друг на друга похожи, хозяин и не отличит — те, не те... Брели чужие сумки с вещами и уходили. Кто-нибудь при этом стоит, бубнит, хозяину зубы заговаривает — а под винтом это очень хорошо делается; можешь говорить без остановки на любые темы.

Или еще я мог понывать у человека деньги, сказать, через 15 минут принесу, взять деньги и уйти. Я прогонял какую-то телегу, мол, ты не волнуйся, а сейчас вот тут мигом — и просто отставал, исчезал с деньгами: у меня была тысяча ходов, заранее заготовленных. Сейчас я так не могу.

А еще я таскал из дома все, что мог, — телевизор, магнитофон, мамини вещи, золото. Или варил для кого-нибудь винт и за это брал себе часть. У меня были сотни знакомых, каждого я считал за лучшего друга и гордился, что вокруг меня такие отличные люди, хорошие, модные. На самом деле все это было понью и откровенным паскудством, но я тогда этого не видел. Постоянно в иллюзиях находишься — каждый человек для тебя друг, ты ему готов все отдать. А потом понимаешь, что тобой просто попользовались.

Больница

Все это стало невыносимо, к тому же денег не было, работать нигде я не мог. В общем, я лег в больницу — в наркологию: сам, добровольно пошел. Мы все обсудили с матерью и решили, что мне надо лечиться. На самом деле лечения там не было абсолютно никакого. Ни чистки крови, ни психологической помощи. Наоборот, все медсестры и

врачи относились к нам пренебрежительно. У меня была непреодолимая психологическая тяга к наркотике, мне нужно было с кем-то поговорить об этом, получить грамотный совет, а вместо этого мне давали таблетки — барбитураты, кололи галоперидол, аминазин, и я просто лежал как бревно — и все. Лежишь двое суток от этих уколов в ужасном состоянии: вроде бы спишь, но это не сон — это можно сравнить с тем, когда съешь таблеток 20 снотворного. Есть еще магнезия-сульфаттерапия, ее называют "горячий укол", это очень больно.

В основном там лежат опиушники. Перекумариваются, уходят и опять попадают. Для того только туда и попадают, чтобы переломаться, когда у них нет денег на метадон. Они идут и на халву там переламываются, потом выходят и снова торчат.

А еще я видел в больнице мальчинов. Ребенку 15—16 лет, он пару раз вколпослся — и его закрывают в больнице... Это все равно что малолетнего посадить в тюрьму, он всему там научится и станет действительно закоренелым. Так и здесь: если в больницу попадает молодой наркоман, который только начал — его напуганная мама туда уцепла, — он выйдет уже матерым. В больнице наркотик делают из всего, из любых таблеток можно все, что угодно, выбить и вмазать. Торчат там все. У мальчишка там и круг общения будет особый: знакомства, новые точки, где можно купить, барыги, обмен телефонами...

Отлежал я в больнице 28 дней. Мне поставили диагноз и взяли на учет. Потом я еще раз попал в ту больницу — уже в реанимацию с передозом. Вышел из больницы и начал употреблять героин, черную. Исключительно для того, чтобы не колоться амфетаминами — винтом в частности. Но я все равно до сих пор хочу винта. Не могу о нем не думать. Я продолжаю оставаться винто-

вым наркоманом — только что не употребляю винт на сегодняшний день.

Здоровье

Мне 23 года, а у меня практически не осталось своих зубов, вся челюсть вставная — нация мало в организме. Та же проблема почти у всех моих друзей. У меня гепатит В и С, не могу некоторые вещи есть — сразу начинает тошнить. В перспективе — цирроз или рак печени. В мои планы входит дожить хотя бы лет до 30—40, но я не знаю, удастся ли.

Я вначале не думал об опасности, я вообще ни о чем не думал, торчал, и все. Сейчас тоже много таких молодых, их лозунг: "Торчал, торчу и буду торчать!"

Им бы побольше информации о последствиях всего этого. О том, кем они станут через несколько лет. Когда я начинал, были другие времена. Тогда мы не слышали, что бывает такая болезнь, как гепатит, что можно заразиться через иглу. А теперь еще и СПИД.

Еще год назад СПИД — это был миф: где-то болеют, но далеко от нас. Считалось, что болеют только богатые — те, кто общался с иностранцами. Раньше и героин для нас был все равно что СПИД — заграничная экзотика. Теперь все спустилось вниз: героиню колются все, вплоть до бомжей, и заразиться может любой. Неважно, что ты употребляешь и сколько у тебя денег. Если мы будем сидеть вдвоем и нумарить, и у нас будет один шприц на двоих, я в первую очередь буду думать о том, как мне вмазаться. После того как уколюсь, я, возможно, подумаю, чем ты болеешь и что я занес себе с твоим шприцем: гепатит, сифилис или СПИД.

Говорят, что наркоманы не боятся умереть. Это до поры до времени. На начальной стадии действительно думают: пусть я проживу свою короткую, но яркую жизнь. А потом становится физи-

чески больно, потому что сгорела печень, и появляются вполне реальные мысли о смерти. Для многих это стимул бросить наркотики.

Торчишь, вроде бы кайф, а на самом деле кайфато из пяти-шести лет, которые торчишь, хватает на год, а все остальное время — депрессии, боль и угрызения совести за то, что ты делаешь с собой и с близкими.

Шрамы в голове

Но самое главное — я не мог предвидеть, какие последствия будут у меня с головой. Я чувствую, что винт оставил в моей психике такие глубокие шрамы, которые уже никогда не пройдут. У меня иногда бывают срывы, когда я беру, что под руку попадет, и швыряю. Бью посуду в доме. Могу в такой момент кому-то ни с того ни с сего позвонить, нагрубить. Когда принимаешь любой наркотик, особенно винт, в голове странные вещи творятся. Мы называем это "подсаживаться на измену" — когда чего-то боишься, а чего — непонятно.

Одно время мне назалось, что за мной постоянно следит милиция. Я мог сидеть по трое-четверо суток дома и не выходить на улицу, потому что боялся, что меня выследят, поймают. Или ехал куда-нибудь к друзьям в Выхино, в Чертаново и не в состоянии был оттуда уехать по неделе, по две. Помню даже, как мы по несколько дней сидели в подъезде. Брали винта, трескались — и по трое суток находились в одном подъезде, потому что не могли выйти на улицу.

Какие мы

Я могу на улице, среди толпы прохожих, отличить винтового человека от героинового. Как? По одежде, по манере поведения, по движениям.

Винтовые и вообще те, кто употребляет стимуляторы, — это резкие движения, быстрая, без остановок, речь. Они постоянно оглядываются назад, обгрыза-

ют до мяса ногти, у них мания преследования: у нас это называется заморочни. Винтовой может долго точить карандаш и опомниться только после того, как сточит весь карандаш до основания и примется за собственный палец. В руках у винтового — зажигалка, ручка, пачка сигарет — по пять-шесть предметов одновременно. Ходишь, не знаешь, что с ними делать, куда их деть. И лица особые: нос, глаза — и две ямы вместо щек.

Опийные люди, наоборот, чаще всего спокойные, слегка сонные. В фильме "Криминальное чтиво" есть такой момент: один из главных героев укололся героином и едет в машине. И при этом у него характерное лицо, как бывает под героином: глаза как бы опущены. Я часто встречаю людей на улицах в таком состоянии: человек словно спит чуть-чуть — я уверен, что во многих случаях это героин. У них постоянно прожженные штаны, потому что сидят, курят, прожигают одежду, диваны и ничего не замечают. На руках следы от ожогов. Опишники вообще-то народ спокойный, они бывают нервными только на отходняках, когда отпуснает. На отходняках у них чуть до драни не доходит. Причем абсолютно ни с чего — поводом может послужить любая мелочь.

Без иллюзий

Я уверен, каждый наркоман внутри себя хочет бросить, но не может. Он хочет остановиться, но утром просыпается и опять едет на Лубянку и мутит наркотики и говорит: я так устал, так хочу остановиться, но не может. Вся жизнь его уходит на это. Точнее, не жизнь. Иллюзия жизни.

Я хочу верить, что эта болезнь хотя и страшна, но излечима. Но на своем опыте убеждаюсь: стоит слезть с одного наркотика, как пересаживаешься на что-то другое.

Не могу вспомнить ни одного дня, когда бы я ничего не употреблял. Мини-

мум, что делаю, — беру бутылку водки и выпиваю ее целиком. Я просто уже не могу находиться в трезвом состоянии и смотреть трезвыми глазами на то, что происходит вокруг...

САША

Мечта детства

О наркотиках я услышал еще в школе. Это были дешевые познания, непонятные, расплывчатые. Все в то время было зашифровано. Восьмой класс, мне было 14 лет, и тогда я, конечно, еще ничего не принимал. Но мне жутко хотелось попробовать — и я этого в конце концов добился.

Я подросток, стал вести экстравагантный образ жизни: был панком, ходил с красными иронезамами, в черных галифе, с нацистской повязкой. Люди постарше плохо меня воспринимали, все пытались ударить клюшкой. В первый раз я попробовал наркотик в 1987 году — это была так называемая мульна. Мне не понравилось, я вообще не стимуляторам отношусь плохо. Потом я начал курить травку, это было весело: прилив чувств, энергии, казалось, что-то новое открывается. Мы как раз тогда начали заниматься музыкой с другом — он сейчас сидит за наркотики.

А потом я поехал в Прибалтику — там есть одно знаменитое место, о котором я узнал от хиппи: они как раз всей компанией туда собирались, и я напросился с ними. Первое, что сделал, когда приехал, — пошел на дербан за маком и укололся в первый раз. Я сам сделал себе укол и почувствовал себя настолько круто... Мы лежали втроем в палатке, разговаривали, и было ощущение, что, когда замолкаешь и уходишь в свои грезы, общение все равно продолжается — без слов, на подсознательном уровне, — и все это чувствовали. Опийм заворожил меня, и с того момента я стал употреб-

лгать его — сначала время от времени, потом все чаще и чаще.

Сейчас молодежь 14—16 лет начинает колоться лишь из-за того, что это модно: смотрите, я вмазываюсь, я крутой... Мы начинали совершенно по-другому. Это было что-то возвышенное... Я пытался писать стихи, мы делали свою музыку, у нас был стимул употреблять наркотики — от них мы чувствовали себя по-другому. Правда, со временем все перешло в совершенно иную стадию. Это была полная зависимость, система, и уже было ни до чего. Не надо ни стихов, ни музыки... Да и некогда было заниматься творчеством: все мысли только о том, где бы достать наркотин и унотлться.

Любовь

В начале 90-х я познакомился с девушкой, которую сильно полюбил. Она пыталась вытащить меня из наркотиков. Но вдруг появилась такая вещь, как ЛСД, и я сам не заметил, как провёл на нем полтора года. Первые полгода я принимал его орально, на шишку, а потом вводил уже внутривенно, причем в бешеных количествах. С девушкой мы расстались: она отчаялась и ушла. У нее должен был быть от меня ребенок, но она сделала аборт. Меня это сильно задело за душу. Когда мы с ней разошлись, я словно потерял якорь и начал колоться очень плотно — пять лет провёл в системе, то есть каждый день.

Я все это время жил один, никакой личной жизни не было. Недаром есть такое выражение "опиум заменяет жену". Когда я начал повышать дозу и колплся все чаще, мне уже не надо было секса. Можно сказать, я сам себя трахал иглой. Мне было все безразлично. Только доза и игла.

В системе

Сначала физической зависимости, помок не было, но были кумары — пси-

хологическое хотение наркотика. Но чем дальше это заходило, тем сильнее психологическая зависимость переходила в физическую. При постоянном употреблении героина быстро происходит привыкание, и дозу приходится все время повышать. Моя доза за пять лет подскочила с одного нубика до 10 нубов. Под конец я делал себе за один раз целый стакан соломы, а если бы было десять стаканов, я бы сделал все десять.

Как ни удивительно, но какое-то время мне еще удавалось работать на хорошей работе и неплохо зарабатывать. Конечно, приходилось все время шифровать — то есть скрывать, что я наркоман. Но, разумеется, так не могло продолжаться долго. В конце концов я дошел до того, что потерял сначала работу, а потом все, что у меня было ценного. По венам пошла вся радиоаппаратура, вся хорошая одежда, две машины...

Когда все было продано, пришлось искать пути заработать на дозу. Я хорошо умею варить черную, и меня часто приглашали это делать. Для меня это стало все равно что ходить на службу: встать с утра, обзвонить людей. Если у кого-то есть деньги и нужен наркотик, достать им, приготовить и взять свою часть.

С каждым днем приходилось заирать себе дозы, все больше, все круче. А кайфа как такового уже не было — была уже такая стадия, когда наркотин нужен лишь для того, чтобы почувствовать себя нормальным человеком. Организм перестроился, делаешь себе дозу и сразу встаешь, идешь есть, умываешься, устраиваешь какие-то дела. А если нет наркотина, ты просто лежишь и не в силах даже дотянуться до телефона, чтобы позвонить, найти наркотик. Грызешь табуретки, плачешь, мысли исключительно суицидальные. Это очень страшно. Не пожелаю испытать и злейшему врагу.

У меня было много суицидальных попыток. Пытался застрелиться, но первый патрон оказался холостым — что-то меня уберегло. Однажды съел восемьдесят таблеток транквилизаторов — это намного выше смертельной дозы. Но мой организм, видимо, настолько привык ко всему этому, что я выжил. Самое главное — я чувствую приближение очередного срыва где-то за неделю. Я знаю, что мне снова захочется себя убить. Я пытаюсь загасить это чувство наркотиками, но мне не помогает, а только усугубляет мучения. Можно сказать, что суицидом для меня стал образ жизни.

Закон

Меня два раза обвиняли по 224-й статье Уголовного кодекса, которая сейчас стала 228-й, — приобретение, хранение и употребление наркотиков. По ней попагались принудительное лечение. Я приезжал в милицию, а мне говорили: зачем ты приехал? Я им, вы же вызывали... Езжай, говорят, привези свою мать. Мама все понимала, брала какие-то деньги, ехала, отдавала им, и меня на время оставляли в покое.

Милиция меня задерживала много раз. Если ничего с собой нет, посидишь в отделении — и отпустят. А если найдут наркотик, — тогда все. Но бывают случаи, когда тебе подбрасывают героин в карман, сдавай барыгу, а то тебя посадим. Если у тебя есть какие-то деньги на кармане, ты из милиции абсолютно пустой уходишь.

Попытки бегства

Я понял, что опустился в жуткое болото и теряю все, что было мне дорого. За те пять лет, что я сидел на наркотиках, я пытался переламываться три раза. Первый раз я уехал из города и выдержал без наркотиков все лето. Во второй — пытался переломаться с помощью винта. Шесть дней подряд колесил винтом, чтобы не было помех от

героина, после чего у меня с головой стало совсем плохо. Продержался без героина всего недели две, не больше.

В третий раз я понял, что теряю свою семью — они полностью меня отделили. И еще мне было ясно, что, если буду продолжать колотиться, вгоняя себе по 50—70 кубов в день, мне останется жить от силы год. Это меня напугало. Лег в психиатрическую больницу, лежал два с половиной месяца, а потом уехал в деревню и прожил там с мая по ноябрь. Все это время я не принимал наркотики, только два раза пил водку, хотя ее не люблю, и два раза — таблетки, барбитуру.

Больница мне помогла — наверное, потому что врач попалась хорошая. Она меня сильно интриговала: вроде бы проявляет внимание, а вроде и нет. А мне безумно хотелось общения, мне хотелось все, что во мне наболело, кому-то выразить. Иногда она это позволяла. Меня закормили нейролептиками — они полностью отбивают желание что-либо делать, под ними можно только спать. Но это даже хорошо. Это помогло переломаться.

Потом меня отыскала одна моя знакомая, которая в последнее время очень серьезно обратилась к религии. Мы поехали с ней в Переславль-Залесский, она водила меня по монастырям, по скитам. Мне предлагали остаться в скиту, меня поразило, что там ко мне прониклись, поняли мою проблему — что я наркоман, что мне тяжело, что хочется со всем этим закончить. В какой-то момент мне действительно захотелось остаться там, в скиту, но я почему-то не остался. Вернувшись домой, в тот же день уехал на дачу и был удивлен — меня не помало вообще. Видимо, от поездки я получил очень сильный духовный заряд. Но когда через неделю надо было ехать в Москву, сразу почувствовал всю эту грязную энергетику города. Тут же начал хвататься за телефон, чтобы найти нар-

нотик, сделал три звонка — и счастьем, в тот раз никого из знакомых не оказалась дома.

Труднее всего выйти из тусовки, из самого процесса. Все мои друзья колются, и, если я перестаю колоться, я должен поменять всех друзей. Неделию-полторы после того, последнего, случая я держался, а потом опять произошел срыв. У друга уехала мама, они собрались, а варить хорошо не умели. Я им сварил и себе поставил такую дозу, что чуть из ботинок не вылетел...

ДИМА

Героин

Мне 21 год. Впервые я попробовал героин два года назад. Мы сидели на лавочке около подъезда — группа друзей, мы работали, отдыхали вместе. Вдруг подбегает человек и говорит: у меня есть героин. Стали уговаривать — давай, давай, а мне страшно. Спрашиваю: а с него помает? Отвечают: чуть-чуть ноги поболят, неделю перетерпишь, ничего страшного. Попробуй — только один раз. Ну, заняли дорожку. Понравилось — погружаешься как бы в вату, хорошо так... На следующий день — еще одну дорожку, потом три, четыре. А потом произошел момент — я его до сих пор ярко помню: ехал я в лифте с ребятами, и вдруг у меня начинают болеть ноги — это один из первых признаков зависимости от героина. Меня это так напугало, что я буквально закричал: ребята, я наркоман! Для меня это был сильный удар. Я не хотел быть наркоманом. Я знал нескольких наркоманов, это были люди-зомби, я не хотел быть, как они. С тех пор я и начал с этим бороться. Пытался не нюхать один день. Но чем я мог себя поддержать, снять эту боль? Анальгин, баралгин не помогали. Лечь в больницу я еще не был готов.

Я продолжал нюхать героин месяца три. А потом у меня произошел конфликт с теми ребятами, и я с ними расстался. К тому времени у меня рассыпалось большинство зубов. Были сильные боли, я не спал ночами, сидел на снотворных. За месяц боли вроде бы прошли. Я встретил хороших людей, нашел интересную работу, появились свободные деньги. Я изо всех сил держался, мне было стыдно перед друзьями, перед любимой девушкой, что я опять начну. И все равно — теперь я знаю — это всю жизнь идет за тобой. А я все-то употреблял три месяца, причем не колол еще, а только нюхал. Дальше было хуже.

...Итак, у меня появились деньги, которые я сумел скрыть. Дело в том, что мои друзья контролировали меня, следили, куда я хожу, кому звоню — ради меня же, чтобы я опять не начал. Но как-то раз я встретил человека, у которого героин был с собой, и устоять оказалось невозможно. Я снова стал нюхать, скрывая это от всех. Но близкие замечали мои маленькие зрачки, которые на ломках становились огромными, мою нервозность. Денег на героин уходила масса — от 100 до 150 долларов в день. Я нюхал и курил, и кайфа уже не было, а было лишь утолнение боли, причем грамма героина в день мне уже не стало хватать. Тогда я купил себе шприц, растворил в воде небольшую часть моей дневной дозы и укололся — и почувствовал прежний кайф. С тех пор я стал колоться: доза поднималась и поднималась. Ломка, соответственно, стала тоже намного сильнее: те боли, которые были раньше, когда я только нюхал, теперь казались мне ерундой. Ломка наступала каждые три часа, и надо было снова колоться. Какая работа, какая любовь? Невозможно совмещать обычную жизнь нормального человека с жизнью наркомана.

Есть такое понятие — "золотая доза," т.е. та, которая тебе нужна, которую ты можешь выдержать. Чуть больше — будет передозировка, и умрешь. У меня была своя золотая доза, я делил все это количество на несколько горюк и делал себе уколы по шесть раз в день, через определенное время, чтобы не было ломки.

На работе у меня были друзья; которые увидели, как я изменился за год употребления героина. Все мысли, все деньги уходили на наркотик: пальцы мне были нужны, чтобы звонить барыге, ноги — чтобы за этим бежать, деньги — чтобы за это отним. Друзья понимали проблему наркомании, потому что многие из них сами нюхали кокаин — и по сей день нюхают, не считая себя наркоманами. Предложили мне лечиться, и я согласился. Вызвали доктора по объявлению, чтобы сделать детоксикацию — очистить организм от наркотика. Один такой вызов стоил 150 долларов. Буквально за час до его приезда я укололся очередной дозой. Доктор узнал, какая у меня доза, поставил капельницу, и я куда-то провалился. Очнулся и чувствую, что схожу с ума. Спросил, сколько дней я лежал, мне говорят — 14. Меня уже не ломало, не болели кости, но оставалось желание: мне все казалось, что в последний раз я укололся не 14 дней, а лишь пару часов назад.

Физическая ломка по героину очень сильная: потеешь, поднимается температура, болят все кости, сводит суставы. При этом одно желание — устранить боль. Эта боль такая сильная, что некоторые люди совершают самоубийство. В тюрьмах, насколько я знаю, немало случаев, когда наркозависимые опимной группы вешались во время ломки. Но когда врач снял мне эту боль, осталась психическая ломка. Я не знаю, что сильнее. Я решил все же лечь в наркологическую больницу,

опять мне ставили капельницу, чистили кровь. Психологической помощи, правда, не было: врач-наркологи, дяди лет по 40—50, которым до нас дела нет, бегло спрашивали: "Ну, как ты сегодня?" А как я сегодня? Мне кучу таблеток дали, капельницу прокапали, укололи, я лежу и как бы сплю все время. Выписался из больницы, мне стало гораздо лучше. Я радовался, был счастлив, что у меня ничего не болит, мне можно не колоться. Но воспоминания не ушли: снились шприцы, доза... Просыпался в холодном поту. Правда, колоться во сне никогда не получалось: подвою иглу к вене и сразу просыпаюсь.

Прошло три месяца. Как-то случайно встретил на улице знакомого, спрашиваю его: "Ну что, колешься?" — "Колюсь", — "А я не колюсь". Я чувствовал гордость, что я не колюсь, что у меня больше нет этой зависимости. И вдруг почему-то спрашиваю его: "У тебя есть с собой?" Он говорит: "Есть", — "А дашь?" И я опять укололся.

Не верьте!

Я снова колелся, опять стали приходить ломки. И тут мне встретился старый приятель, который колется винтом. С тех пор я пересел на винт. Многие люди, пытаясь хоть как-то себе помочь, пересаниваются с одного наркотина на другой: кто с винта на героин, кто, как я, с героина на винт. У меня прошла героиновая зависимость, но присутствует винтовая.

У нас еще называют винт первитиновой кислотой. На самом деле никто точно не знает, какая это кислота, она не указана ни в одном известном мне справочнике. Тем не менее винт варят многие, хотя мало кто умеет его варить по-настоящему. Если с героином известна доза, то здесь никогда заранее не знаешь, как будет. Почему это называется "винт", что означает, как

расшифровывается — тоже не знает никто.

Это психостимулятор. Первое время чувствуешь себя просто суперчеловеком. Рэмбо. Можешь не есть сутками. У меня был ренорд — я не ел четырнадцать дней.

Ходят легенды, что винт колют диверсантам, террористам, которым нужно пойти и сделать свое дело, не чувствуя страха, усталости, голода. Среди бандитов и воров существует категория людей, которые всю свою деятельность строят на употреблении винта, так как под винтом на некоторое время обостряется чувствительность, зрение, появляется способность заговорить кого угодно...

Я видел, как рядом со мной люди сходили с ума. Им казалось, что все вокруг предатели, враги, все тебя ненавидят, ты всех ненавидишь. С таким состоянием не многие справляются — готовые кандидаты на психиатрическую койку. Мне повезло, меня научили с этим справляться: бороться с галлюцинациями, например. Эти галлюцинации бывают очень сильные: например, будто ко мне в окно лезут бандиты. Я сижу на кухне и реально вижу, как они лезут, сейчас ограбят, убьют меня. Я должен с ними как-то бороться. Я вроде знаю, что это галлюцинация... а вдруг нет? Стараюсь контролировать себя, отвлекаться, и они появляются не так часто.

Шприцы

Были случаи, когда на пять-шесть человек одна ложна, в которой растворяется героин, и одна на всех игла. А что делать? Время — ночь. Да и не всегда остаются деньги — даже 300—500 рублей на шприц. Потом, допустим, у тебя шприц есть, но только один, а у других вообще нет. А человека рядом с тобой ломает, ему плохо. Приходится давать ему свой или после него брать. Ты

знаешь, что впереди ночь, что надо будет колоться сейчас, а потом еще рано утром, что твоим шприцем уже пользовались десять человек, но у тебя нет выбора. Не всегда есть вода промыть шприц от остатков чужой крови. Промываем слюной. У большинства пересохло во рту, а кто-то один, у кого еще осталась слюна, сидит и "промывает". Раз-раз, "пропопоснал", крови вроде не видно, другому передает. Потом опять на языке промывает. Спрашиваем: "Все нормально, никто не болеет?" Никто не болеет, давай, колись.

А про винт многие думают, что он убивает ВИЧ-инфекцию и гепатит, хотя это неправда. Считается, что винт убьет все. Это очень сильная кислота: если винт чуть-чуть не так приготовить, вена буквально сгорает и лопается. Когда винт попадает под кожу, образуется нарыв. Поэтому винтовые наркоманы о заражении вообще не думают, запускают шприц в одну общую тару, никогда не пипяют. Я сам только недавно узнал, что ни СПИД, ни гепатит винта не боятся.

Когда ломает, тебе безразлично, чем ты колешься, — лишь бы уколоться. Бывали даже такие случаи: иголка одна, забилась засохшей кровью так, что не промывается ни слюной, ни водой, а ждут десять человек. Что делать? Отламывают забившийся кончик, затачивают оставшуюся часть иглы об лестницу и колются. Процентом восемьдесят моих знакомых не думают об инфекции, процентов двадцать — думают. Но лишь единицы пытаются предохраняться.

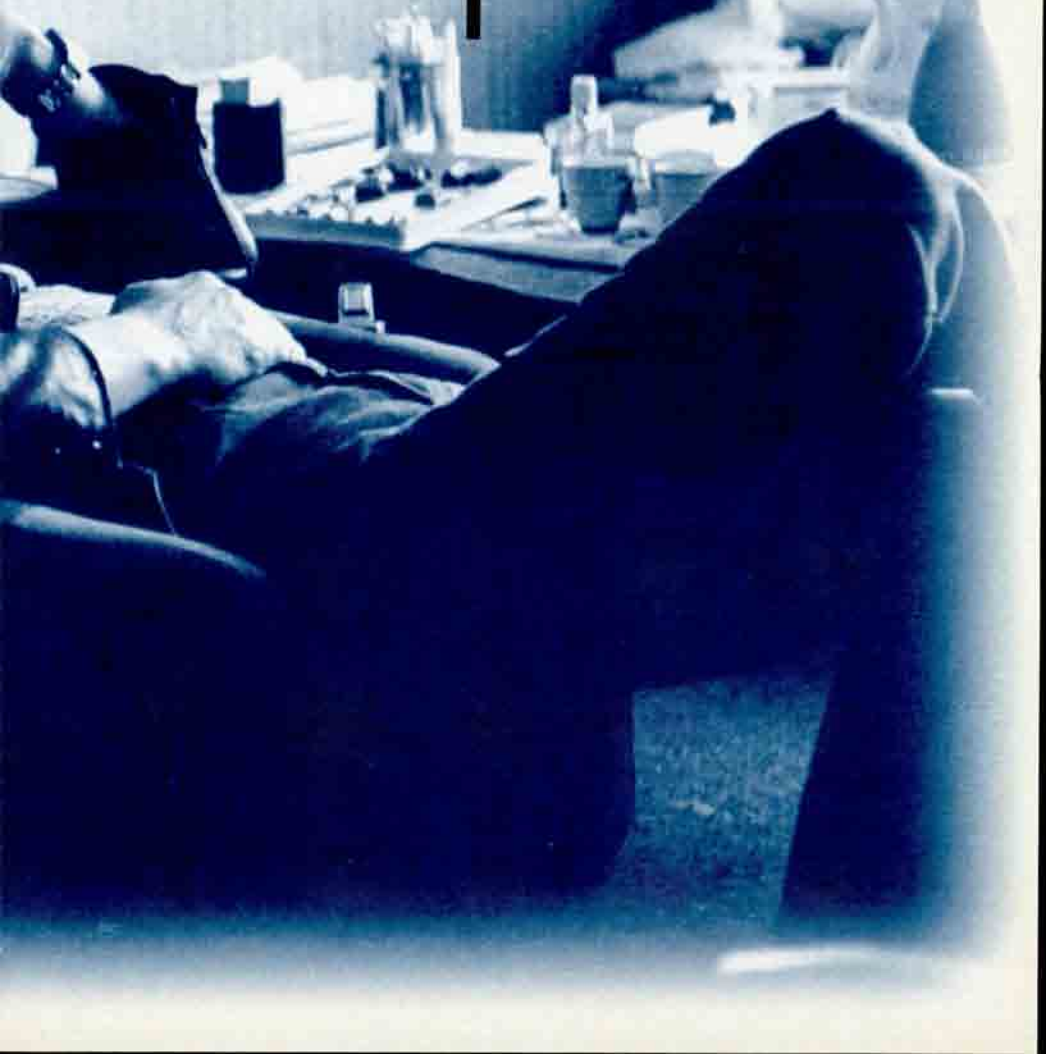
Бросить? Да, хочу. Я уже месяц держусь, не употребляю, и мне хорошо. Но я не знаю, что будет со мной завтра. Наркомания — это такая магия, которая будет преследовать тебя всю жизнь. Говорят — кто пять лет колется, тот потом десять лет отходить будет. ■

BRINH



А

ЖЕРТВА



*Лишь виновные сыны,
а не обиженные рабы, свободны.*

Николай БЕРДЯЕВ

Наша первая встреча с Андреем Тарковским была не замечена им, но хорошо запомнилась мне. Шел, кажется, 1965 год. Я жил тогда во Владимире, Тарковский там же снимал "Андрея Рублева". Об этом много говорили в городе. Ходили слухи о том, что киношники поджигают коров, предварительно облив их бензином. И что это нужно им для того, чтобы нагляднее показать татарские зверства.

Горящих коров я не видел, зато видел горящий Успенский собор, подожженный во время съемок.

Владимир стоит на вершине холма, с которого открывается панорама делающей изгиб Клязьмы, приречных лугов и начинающейся за ним Мещеры. На холме красуются белокаменный кремль и два древних собора: Дмитровский — XI века и Успенский — XII. Стены и иконостас Успенского собора расписаны Андреем Рублевым и Даниилом Черным. И именно их фрески и иконы, воспетые в фильме Тарковского, могли сгореть в огне. Я уже не говорю о самом храме, порчу которого не смог оправдать никакой кинематографический шедевр.

Я встретил Тарковского на асфальтовой дорожке, ведущей от соборов к гостинице. Он шел быстро, спеша, судя по всему, покинуть место своего позора. На нем была кепка и куртка, а на плече он нес кинокамеру. Его невидящий взгляд, устремленный куда-то вперед, пролетел мимо меня.

Когда я оказался на соборной площади, пожарные уже заканчивали свое дело. Но дым все еще струился, и стоящий внизу народ клял кино и киношников.

Не знаю, вспоминал ли Тарковский об этой истории, когда снимал "Жертвоприношение", но пожар во Владимире и пожар в его последней картине имеют связь. То связь проступка (конечно, невольного) и искупления (вполне сознательного). Герой "Жертвоприношения" поджигает свой дом, а с ним и прошлую жизнь, чтобы спасти если не себя, то хотя бы сына.

Его сын нем от рождения, и отец считает, что в том повинны его, отцовские грехи. Неправедная жизнь наказывается немотой сына, значит, ее нужно принести в жертву, а жертва за грех, как говорится в книге "Левит", есть всесожжение.

Поэтому огню предается дом — самое дорогое, что есть у человека. Надо знать отношение Тарковского к дому, чтоб понять, что для него это слишком личное жертвование, к тому же он к этому времени покинул свой дом, то есть Россию, сжегши за собой все мосты.

Там оставался его сын, мальчик, которому не разрешили воссоединиться с отцом, и это тоже была жертва, вынужденное, а оттого еще более ранящее, жертвоприношение.

Я помню письмо Тарковского к отцу, которое было опубликовано в газетах. В нем он объяснял неизбежность своего отъезда. По-видимому, отец был не согласен с этим поступком сына. И читать письмо нельзя было без чувства сострадания к ним обоим.

Дом для Тарковского — это отец, а отец — это дом. Без отца нет дома — мотив этот пронзительней всего звучит в "Зеркале". Все полно здесь присутствием отца, дышит его дыханием. Кажется, по стенам бревенчатого дома скользит его тень, а его стихи читает не вымышленный отец, а Арсений Александрович Тарковский. Они озвучивают рай детства — счастливого согласия с миром и с собой, в которое, впрочем, вторгся разлад.

Мир у Тарковского целен, но он раскалывается, когда уходит любовь. В своей лекции об Апокалипсисе, прочитанной им в Лондоне, он говорит: "Любовь — это жертва". А понятие и слово "жертва" стоит в его лекции рядом со словом "грех".

Метафора "дом—отец" присутствует и в "Солярисе". В обесцвеченной и обеззвученной атмосфере космической станции нет жизни. Ее воздух стерилен, как воздух мертвецкой. Дом не здесь, дом там, на Земле. Дом там, где у порога стоит отец и ждет блудного сына.

Отец и сын — как трагична эта тема даже в Евангелии, где Отец посылает Сына на казнь и где земной Сын просит небесного Отца: пронеси, если можешь, мимо меня чашу сию!

В "Гамлете", поставленном Тарковским на сцене Ленкома, он прочитал этот сюжет так, как до него не прочитал никто. Чтоб не реконструировать спектакль по памяти, приведу отрывок из моего письма Тарковскому, написанного сразу после премьеры: "Но главное, за что я благодарен тебе, — это воскрешение, которого нет у Шекспира. Я уже начинал бояться, что все кончится прохождением Фортинбраса и идеей торжества справедливости в лице явления нового (и честного) правителя. И у меня сердце сжалось, когда я увидел, как воскресший Гамлет воскрешает сначала врагов своих, а потом мать. И эта рука матери, так долго ждущая его руки, меня потрясла.

Жаль лишь, что ты потом перевел все это в выход актеров к зрителям: тут ты идею снизил до уровня приема. Я же увидел тут не прием, а нечто поболее — прямое продолжение финала "Зеркала" — идеи врат, круга, смыкающегося на трех лицах — отец, мать, сын. Поэтому, если бы мать на какое-то время одна осталась на сцене (или они трое), а все прочие исчезли бы, этого было бы достаточно.

Что же получается? У Шекспира земной Фортинбрас венчает борьбу духа и действия, земно завершает ее, у тебя дух торжествует над тленным (тленен и Фортинбрас). Идея прощения витает над твоим "Гамлетом". Этим он мне и близок. Все парадоксы, вся игра ума истрачены, проиграны, выхлоплены, и слабое перед лицом их логики чувство оказывается выше их, сильнее их".

Я до сих пор не могу забыть этой сцены. Она стоит у меня в глазах как живая скульптура или кадр из фильма. И в театре Тарковский остался Тарковским — он вывел судьбу Гамлета на скрещение со своей судьбой.

Это была судьба многих мальчиков его поколения, у которых рок — или революционная власть — ломал и отнимал отцов. Эти дворовые гамлеты, как и Гамлет Шекспира, должны были решать, быть им или не быть, что на их языке означало "мстить или не мстить". Сын Андрея Платонова хотел застрелить Сталина на демонстрации 1 Мая, но его схватили и отправили в Норильск. Заработав там туберкулез, он вернулся и скончался на руках у отца. А вскоре умер и отец, заразившись чахоткой от сына.

Отец Тарковского пришел с войны без ноги, но остался жив. Стихи его, однако, не печатали, печатали только переводы. Плита молчания лежала на его имени до 60-х годов. Убежден, что прорыв Андрея Тарковского в кино был и мстью за отца. Это была месья бескровная — то есть выход из гамлетовской драмы, который предопределил финал спектакля в театре Ленкома.

Странно, что это было поставлено в театре абсолютно советском, вполне оправдывающем свое название. Даже впоследствии, когда началась перестройка и Ленком сменил свой репертуар на антисоветский, его советская природа не изменилась. Один из первых спектаклей новой эры назывался "Диктатура совести". Представьте Христа, перепоюсанного пулеметной лентой, — таков зрительный эквивалент этого названия.

Выбор прощения как единственного арбитра, который может рас судить отцов и детей, — был несоветский выбор. Это был выбор сознания, на много лет опередившего сознание так называемой прогрессивной интеллигенции. Для этой интеллигенции историческая вина всегда была виною их, но только не ее самой. Когда сегодня заходит речь о вине и раскаянии, то каждый уважающий себя интеллект уал показывает пальцем на соседа и от него ждет подвига самопожертвования.

В одном из своих интервью Тарковский говорит: "Мне кажется, человек, к сожалению, пришел к тому, что он, прежде всего... хочет выражать претензии к кому-то. В то время, когда меня интересует человек, который, в первую очередь, спрашивает с себя. Только с этого момента, с этого пункта любое движение человечество может назвать оптимистичным".

Гамлет Тарковского принимал вину на себя. Это была и вина его собственная, и грехи отца, в которых, кстати сказать, отец честно признается сыну. Требуя мести и негодуя против Клавдия, он негодует и на себя. Он говорит Гамлету, что погиб "в цвете грешных лет". Он не может простить брату, что тот убил его, не дав предстать перед Страшным судом "со всеми преступленьями на шее".

Кажется, не будь этого признания, Гамлет не смог бы протянуть руку убийце отца и своему убийце. Тень отца делает только одно исключение в списке мести. "Не посягай на мать", — напоминает он Гамлету.

Но Гамлет Тарковского прощает и мать, и Лаэрта, и Клавдия, и Полония, и предавших его Розенкранца, Гильденстерна и Офелию. И сам просит прощения у них.

Карать может только Бог — вот мысль Тарковского. А ближний должен простить ближнего, хотя высшее прощение исходит, конечно, с небес. Такая трактовка в 1977 году была, конечно, невероятной. Как невероятна она и сейчас, когда все заражено жадной сведения счетов.

Христианский канон понимает жертву, как "одно из внешних проявлений внутренней связи с Богом". Речь в данном случае идет о жертве внешней, но принесенной "от чистого сердца". Что же говорить о жертве внутренней, когда человек должен чуть ли не поменять свою природу и в полном смысле слова преобразиться?

Преображается Андрей Рублев. Он выходит из обета молчания и возносится на высоту "Троицы". Открывает уста немой мальчик в "Жертвоприношении", а неясная заикающаяся речь ребенка в прологе "Зеркала" разрешается свободой изъяснения. Молчание у Тарковского — это счастливые часы накопления, тайного брожения и оформления замысла. Это подводное течение творчества, та немота, в которой нарастает давление света.

Вспомним финальные кадры "Рублева". Экран застывает в беззвучной тишине. Не слышно ни движения ветра, ни голоса. И гремит согласный мощный хор красок. Поют краски, линии, перспектива — работает только глаз, и мы как бы слышим музыку цвета.

Для Тарковского изображение — все, а текст всего лишь соавтор. Он на вторых ролях и на втором плане, как актер миманса. Попробуйте вспомнить какие-либо монологи или реплики из фильмов Тарковского. Вряд ли вам что-то придет на память. Зато перед глазами, при упоминании его имени, тут же предстанут крупные планы, пейзажи, законченные, как бы одетые в рамки, этюды, а также мелочи, частности, выхваченные камерой из материального мира. Отдельные кадры, действительно, можно вставлять в рамку и демонстрировать как самостоятельные живописные работы.

Жертва Рублева искупается в творчестве, жертва героя "Соляриса", осознавшего свою вину перед отцом, — возвращением в отцовский дом, жертва странных персонажей не менее странного "Сталкера" — выходом из "зоны" к храму, жертва в "Жертвоприношении" — вторым рождением сына и цветением сухого дерева.

В "Андрее Рублеве" Тарковский еще сводит счеты с властями (с князем и его стражей, терзающей скомороха), но мотив личного спасения — через Бога и через искусство — в конце концов берет верх над всем.

В других фильмах мир и страсти мира отодвигаются на обочину, хотя зловещее молчание "зоны" в "Сталкере" говорит само за себя. Куда прорываются люди через это пространство смерти? Может быть, они ищут свой потерянный дом и своих исчезнувших навсегда отцов?

Говоря как-то о живописи XX века, Тарковский сказал о Пикассо: "Это же чистая социология!" Он точно уловил связь живописи великого испанца с материализмом. Сам Тарковский признавал мир, где тяга к согласию сильнее тяги к раздробленности. "Его знамя — раздробленность", — добавлял он о Пикассо.

Вот почему живописные пристрастия Тарковского традиционны. Вот почему в его фильмах собственный кинематографический язык срastaется с живописным языком Андрея Рублева, Брейгеля, Леонардо да Винчи и Рембрандта.

Тарковский не боится больших пауз. Это паузы, отведенные на размышление, на молчаливое созерцание. Есть такая пауза и в "Солярисе". И она целиком отдана картине Брейгеля "Охотники на снегу". Музыкально, интонационно появление этой картины подготавливается хаотическим движением предметов в выкачанном воздухе станции. Плавают в невесомости книги, бумага, какие-то вещи, и вдруг это движение прерывается останковкой камеры, которая замирает перед пейзажем зимней Голландии. И сразу оживают осязание и вкус, и от холода тянет запахом мокрого снега, оттаявших черных стволов деревьев, запахом костра, разожженного на переднем плане.

Картина Брейгеля построена так, что взгляд сначала упирается в передний план, где все крупно и прописано до пустяков, а затем, скользя, как на лыжах, плавно спускается вниз и бежит, бежит мимо превратившихся в точки людей, подвод на дороге, уменьшившихся, ставших игрушечными, домов и кирх, и уносится к горизонту, где земля, кажется, закругляясь, превращается в шар.

"Охотники на снегу" — это привет с земли, это форточка, открытая в окне земного дома, создающая тягу, противостоять которой не в состоянии никакое внесемное притяжение. После этого естествен переход к картине Рембрандта, являющейся парафразом евангельской притчи о блудном сыне. Тарковский вставляет кадр с этой картиной в центр мирового океана, который уносит ее с собой в глубины Вселенной. Сначала океан не хочет вступать в диалог с героями фильма, он посылает им видения их жертв, принесенных на алтарь науки. И лишь когда раскаявшийся сын припадает к коленям отца и отец кладет ему на голову свою прощающую руку, океан приходит в успокоение. Между ним и человеком воцаряется мир.

У природы нет самоанализа и подполья, природа безгрешна, как безгрешна река в "Андрее Рублеве", кони, пасущиеся на лугу, безгрешен дождь и снег, яблоки, рассыпающиеся по траве, и сама трава. И потому она с болью отзывается на зло, привнесенное человеком. Над нею и над ним властен один нравственный закон.

Может, поэтому Тарковскому так дорог образ ребенка — того существа, которое ближе, чем кто-либо, стоит к природе. Это Иван в "Ивановом детстве", мальчик в "Жертвоприношении" и дети в "Зеркале", девочка в "Сталкере", мальчик в "Андрее Рублеве". Да и сюжет "Троицы", венчающий "Андрея Рублева", посвящен предстоящему рождению ребенка в доме Авраама. Именно по этому случаю посещают его дом три ангела.

Эта поэтическая связь, цепь обязательна для Тарковского. Белое молоко, которое разбрызгивает девочка в "Рублеве", и белый, ослепительно белый цвет палат, где это происходит, стоят рядом, как гены в цепи ДНК. Белые палаты, белое молоко, белые лебеди, падающие с небес на поле битвы, белые соборы, белые стены кремля, белая краска,

не растворяющаяся в потоке ручья, — таков ряд "белого" в "Андрее Рублеве". Белый цвет — цвет невинности, чистоты, цвет радости (смех ребенка), умиротворения. А брызги крови на белых стенах — оскорбление белого цвета. И образ греха.

В "Жертвоприношении" есть эпизод, который относит нас к тому же прочтению белого цвета. Дом, где обитает герой фильма, начинает ходить ходуном, как при землетрясении. Качаются люстры на потолке, тревожно мигает огонек в радиоприемнике, со стуком открываются створки буфета, и с полки падает и разбивается стеклянный кувшин с молоком. Струя молока, образовав дугу (замедленная съемка), выливается из кувшина и, ударившись об пол, растекается по нему.

Предчувствие беды, предчувствие катастрофы читается в этой метафоре.

Потом мы увидим белый занавес, колеблющийся в окне, белое платье хозяйки дома, белые стулья и белую скатерть на балконе и темно-красную, как капля крови, вишню на блюде на этой скатерти.

Тарковский мастер таких метафор. Одна из них — тоже из "Жертвоприношения" — поразила меня. Герой, вдруг превратившись в великана, видит свой дом как спичечный коробок, лежащий у его ног. Он смотрит на этот клочок уюта, как творец на грешную землю, как Авраам на Исаака, над горлом которого он занес жертвенный нож.

И жертва свершается. Ярко полыхает пламя, горит, занявшись, сухое дерево (дом деревянный), и вот-вот загорятся сосны, окружающие его. Говорят, первая декорация дома, которую Тарковский выстроил на острове, где снималась картина, сгорела сама собой. И тогда пришлось строить новый дом и поджигать его во второй раз.

Пылает дом лжи и несчастья, и, как отзвук этого очищающего огня, раздается на экране только что родившийся голос ребенка, ради которого и была принесена жертва. И мы слышим произносимую им строку из "Евангелия от Иоанна": "В начале было Слово".

Сгорает дом, начинает говорить мальчик, и под аккомпанемент его голоса, переходящего в баховские "Страсти по Матфею", оживает на иконе засохшее дерево, которое, как упрек, стояло перед глазами зрителя на протяжении всего фильма.

Тщетно его поливали сын и отец — оно не распускалось. Тщетно искал отец заступничества в любви к Марии: в конце фильма сын, отец и Мария расходятся в разные стороны. Отца увозят в психиатрическую больницу, Мария уезжает в глубь острова на велосипеде, а мальчик ложится у подножия сухого дерева и, подложив под голову руки, смотрит в небо.

Тарковский посвятил "Жертвоприношение" сыну Андрею. Он как бы предчувствовал вечную разлуку с ним. Уставший и ослабевший (он был уже болен), Тарковский, может быть, сознавал, что Бог карает и его — и потому так мучительна в этом фильме нота ухода и полного расчета с прошлым. Недаром он так часто спрашивал: "Вообще творчество, не греховно ли оно?" Вопрос этот Тарковский относил не только к себе, но и к "культурному кризису последнего столетия".

Тарковского упрекали в том, что его кинематограф эгоцентричен, он соглашался с этим, завидуя восточным мастерам, как и русским живописцам, даже не подписывавшим своих работ. Он говорил, что творит в духе западной традиции, для которой авторское "я" есть центр познания. Но разве не прав был Казанова, сказавший, что для того, чтобы познать человечество, достаточно познать самого себя?

Кинематограф Тарковского, безусловно, относится к сфере самопознания. И пусть он поэтически иносказателен (а оттого родствен тайне), прочесть в нем жизнь автора не составляет труда. И дело не в совпадении фактов биографии режиссера и сюжетов его картин, дело в линии судьбы, которая, как траектория падающей звезды, прочерчивает небосвод.

Может, сравнение с падающей звездой неточно и слишком красиво, но именно так я вижу сгоревшую на моих глазах жизнь Тарковского.

После той встречи во Владимире я еще несколько раз виделся с ним. Однажды это было на просмотре "Андрея Рублева", когда его "принимали" во владимирском обкоме партии. Как во всех учредениях такого рода, там имелся просмотровый зал, где иногда крутили полузапрещенные фильмы. "Андрей Рублев" и стал таким фильмом. Его долго таскали по кабинетам и по таким вот зальчикам, где записные знатоки искусства должны были наложить на него тавро: "позволено".

Познакомились мы позже, на дне рождения одного начальника от культуры, который имел в вопросах выпуска в свет книг и фильмов свой голос. В ту пору партноменклатурщики любили оказывать знаки внимания опальным творцам, "защищая" их творения от еще более высоких чинов. Это была игра, условия которой принимали и понимали и та, и другая сторона. Творцы были вхожи в дом, присутствовали на днях рождения и юбилеях, произносили тосты в честь хозяев, а те платили им небескорыстным шефством.

Так случилось, что мы с Тарковским бывали в одном таком доме не раз. И всякий раз разговоры с ним оставляли впечатление восхождения на высоту, для взятия которой надо было положить если не все силы, то, по крайней мере, значительную их часть. Проходившие в бытовой обстановке, они менее всего касались быта. Даже тосты Тарковского заставляли присутствовавших резко поднимать уровень и потом долго находиться на этом уровне, как ни непосильно было требовавшееся для этого напряжение. Реже всего речь шла о кино, скорее о других искусствах, музыке, живописи, поэзии, которые так любил Тарковский и которые он, в отличие от многих гостей, прекрасно знал, выделяя в них только высокое, высшее.

Я помню его жестким, грубым (таким он, наверное, бывал и на съемочной площадке) и помню понимающе-внимательным, даже нежным. Как-то мы сидели у Георгия Владимова. В нашей компании был человек, который потом сделал желанную для него карьеру — стал министром. Выпивали, шутили. И вдруг Тарковский направил на бу-

дущего министра сверлящий взгляд. "А что тут делает имярек? — спросил он. — И кто такой этот имярек?" Бедный имярек покрылся красными пятнами и вскоре вынужден был ретироваться.

Зато как он откликнулся на нашу беду! Однажды мы заговорили с ним о нашей маленькой дочери, о ее болезни. Врачи предлагали немедленно делать операцию. Андрей был знаком с директором Института сердечно-сосудистой хирургии В. Бураковским. Он позвонил Бураковскому и вместе с нами поехал на Ленинский проспект. Два долгих часа провели мы в институте, сначала ожидая приема, потом заключения хирургов. Андрей все это время был с нами.

Через несколько месяцев понадобилась еще одна аудиенция у Бураковского. И снова нас провел к нему Андрей. Мы опоздали, он ждал нас на остановке троллейбуса. И опять все повторилось, как в прошлый раз. Дочке сделали исследование, и операция не понадобилась.

Возвращаясь из института на такси, мы высадили Тарковского возле дома Арсения Александровича. Все время, пока мы ехали, он повторял вслух: "Надо заехать к отцу... Надо заехать к отцу". Видимо, в этот день и в эти минуты Андрею особенно важно было увидеть отца.

Совершенно недавно по телевидению показали документальные кадры, которые напомнили мне тот эпизод в такси. Кадры эти сняты в парижской больнице незадолго до смерти Тарковского. Андрей в отдельной палате лежит в постели, и к нему приходит сын. Тот самый, которого власти не пускали к нему. Андрей вскидывается на подушках, и слышу его нежный-нежный голос: "Маленький мой! Дорогой мой! Как же ты вырос!"

И он обнимает сына, насколько хватает сил.

Вот финал темы Гамлета! Вот прощание и прощение, вина и жертва!

Жизнь замыкается в круге, образует круг. Кажется, нет другого графического обозначения полноты, самодостаточности и законченности житейского цикла. Круг образуют три ангела, склонившиеся над чашей в "Троице". Да и для музыки Баха, которая так часто звучит у Тарковского, нет иных границ, кроме границы круга.

Круг — совершенная форма всякого совершенного существования в обитаемом и необитаемом мире. Круг образуют орбиты Солнца и Земли, орбиты планет и сами планеты. Круг видится мне и в пути человечества, которое, отмучившись, вернется "на круги своя". "Может, правда не впереди, а позади нас?" — спрашивал И. А. Гончаров в "Обрыве".

Ответ Гончарова был ясен: позади.

Я думаю, Андрей Тарковский точно так же ответил бы на этот вопрос. ■

ЧТО НАС В НАД



фото Григория Терзибашьянца

Спорт

84



Если кто-то из ваших знакомых вознамерился взять отпуск в самую студеную пору — скорее всего, он предвнушает без помех приникнуть к телевизору, чтобы как можно полнее насладиться зрелищем зимних Олимпийских игр, открывающихся 7 февраля в японском городе Нагано. (А иные счастливичики уже и авиабилеты заказали.)

Что же нас ожидает? Об этом мы попросили рассказать Виктора Федоровича МАМАТОВА — знаменитого в прошлом биатлониста, а ныне руководителя рабочей группы Олимпийского комитета России "Нагано-98".

— Российские спортсмены всегда были сильны на лыжне, в вашем любимом биатлоне. И конечно, ханней, фигурное катание... А сейчас — если брать в целом зимние виды спорта — на каких находимся позициях?

— Шансы хорошо выступить в Нагано имеют практически четыре страны — Россия, Германия, Норвегия и Италия. Рядом смогут оказаться и японцы, и наядцы, и даже американцы. Слоннее австрийцам, у них, кроме альпийских дисциплин, все остальные виды слабоваты.

— А конкретнее, Виктор Федорович, в каких видах может рассчитывать на медали российская сборная? В чем мы безусловно сильны?

— Нам всегда, лыжи И биатлон, хотя в прошлом году была только одна золотая медаль, но перед этим, вы помните, — четыре золотых. Еще фигурное катание и коньки. Вот четыре основных вида спорта, где мы можем рассчитывать на победы... Затем горные лыжи, фристайл, может быть, одна "двойка" в санном спорте. Надеяться, что и в шорттреке что-то сумеем, но первый же выезд российских спортсменов в Соединенные Штаты показал: китайцы, японцы и особенно южнокорейцы далеко ушли вперед. Тут с ними тягаться сложно — у нас исполнителей пока что таких ярких нет.

Другие же виды спорта — прыжки, двоеборье, бобслей, сноуборд, керлинг, — во-первых, сложны технически, а во-вторых, у нас в России баз нет — все они остались в ближнем зарубежье... Тренировать спортсменов приходится, по сути, за границей. И ждать, чтобы мы могли в этих видах спорта быстро достичь высоких результатов, не приходится...

Мы сейчас по пальцам считаем таких спортсменов, которые смогли бы бороться за медали. Их у нас 40—45. Ну и еще 30—35 человек — молодежь; в Нагано их "обкатаем", чтобы уже на следующей Олимпиаде они были в числе фаворитов.

— Сколько же всего участников Олимпийских игр насчитывает команда России?

— Примерно 128—130 человек, хотя по Олимпийской хартии мы могли бы заявить 235. Но у нас такого количества высококлассных спортсменов сегодня нет. И взять их покмест неоткуда. Я уже говорил: нет баз, инвентаря... Например, сейчас нет ни одной искусственной дорожки для конькобежцев. Не говоря уже о ледовом конькобежном стадионе... Правда, был СКН (спортивно-концертный комплекс. — А.Е.) в Петербурге, но там все проржавело, и хозяева не собираются его ремонтировать; пусть, дескать, этот комплекс из спортивно-концертного побыстрее превратится просто в концертный... Чтобы начественно отбирать спортсменов и чтобы они были в равных условиях, мы проводим чемпионат России по конькам в Берлине, на искусственном натне. А чемпионат по бобслею и санному спорту — в Сигулде, в Латвии: У нас и для прыжков, и для двоеборья нет современных трамплинов — все наши спортсмены тренируются в основном за рубежом. Иного выхода нет.

Вот и получается, что остался весьма узкий круг претендентов и видов спорта, где мы можем рассчитывать на успех. А если дело так пойдет и в будущем, то не подрастет смена, и резервов не будет, и детские спортивные школы развалятся совсем. Да они уже и так потихоньку разваливаются: если раньше в детской спортшколе было 500 или даже 600 человек, то нынче — 20 или 40 человек.

Словом, если не будет государственной поддержки, то мы как спортивная держава потеряем свои позиции. А тогда и международное олимпийское движение тоже может прийти в упадок — ведь народ идет смотреть на сильнейших. И ТВ платит за первых 15—20 спортсменов — они интересны им, они

"рекламоносители". Остальные — это "гарнир"

— В общем, как ни тривиально, но все упирается в деньги?

— Да. А ведь наша методика подготовки спортсменов всегда была лучшей. Но, увы, сегодня многие тренеры, врачи сборных команд уехали работать за рубеж. И теперь готовят наших соперников... У нас есть спонсоры для обеспечения команды спортивно-боевой формой, а вот с деньгами всегда напряженно. Раньше мы за счет "Спортлото", за счет взносов собирали приличные суммы. Нам хватало на подготовку, на развитие материальной базы, на строительство заводов. У нас уже было 10 заводов и 10 мы строили — и считали, что полностью обеспечим себя инвентарем, одеждой, обувью и всем остальным; необходимым для массового спорта. Но — началась приватизация (я всегда говорю: "приватизация"), и в итоге все эти заводы стали выпускать ту продукцию, которую можно дорого продать, а значит, и быстро зарабатывать. А детский спорттовар — не такой ходовой: он в принципе нужный, но на нем много не заработаешь. И сегодня даже в Госкомитете по физической культуре и спорту нет расходной статьи на строительство баз, заводов, фабрик по производству спортивно-технических изделий, инвентаря, оборудования. И в первую очередь для детских спортшкол.

— Ну, а на зимнюю Олимпиаду-98 сколько примерно денег выделило государство?

— Думаю, все же большую нагрузку несут регионы. Они постоянно командуют своих спортсменов; дают все необходимое за счет местных бюджетов... В прошлом году у нас не было средств даже на медико-биологическое обеспечение... И нынче мы сократили команды, которые финансируем.

— Вы не упомянули о хоннее...

— И хонней мы сейчас не финансируем, потому что у нас денег нет. И, воз-

можно, на Олимпиаде будут одни НХЛовцы. И, может быть, кое-кто из Европы. Скорее всего, так...

У хоннейной федерации деньги (хотя и небольшие) есть, и они должны готовить резервы. В том числе и хоннейные клубы. А наша задача — спорт высшего мастерства, высших достижений. Мы доводим, так сказать, до кондиции тех спортсменов, которые будут отстаивать честь России на Олимпийских играх. Отсюда и естественный вывод: мы не финансируем хонней. Но хоннеисты придут, и мы обязаны обеспечить их спортивной формой, питанием, жильем — ведь они часть олимпийской сборной России.

— У вас существует какой-то план по "сбору олимпийских медалей"?

— Сейчас если какая-то федерация приходит защищать свой "план", мы говорим: "А сколько вы можете завоевать медалей?" Они: столько-то. Мы смотрим — реально ли это, слушаем мнения экспертов, специалистов и заключаем договор Олимпийского комитета с федерацией. Вот под эти "планы" их и финансируем... По нынешним прикидкам у нас на Олимпиаде в Нагано должно быть 11 золотых, а в общей сложности около 24 медалей. В принципе это реально. Но если не будет в достаточной мере средств на подготовку, то...

— А кто у нас самые "золотые" спортсмены?

— В первую очередь, конечно, это лыжница-гонщица Елена Вяльбе — встали она в 1997 году пять золотых медалей взяла из пяти возможных. В позапрошлом почти такой же показатель имела Лариса Лазутина, четыре золотых из пяти. В прошлом году и Пронуроров, вы помните, имел золотую, серебряную и бронзовую медали. Надеемся, что биатлонисты — Тарасов, Драчев и их коллеги — неплохо выступят. У женщин Таланова, Куклева, Волкова — девочки неплохие. Сейчас много тренируется Анфиса Резцова. Она во второй раз стала ма-

мой и, возможно, тоже будет претендовать на поездку в Нагано. Правда, со стрельбой у нее всегда проблемы были. Но ведь на летнем чемпионате в Белоруссии, где выступали и наши спортсменки, Анфиса всех обыграла.

Далее — фигуристы: танцевальные пары Грищук — Платов, Крылова — Овсянников, Урманов и Ягудин — в мужском одиночном катании. В женском — Ступцкая в первую очередь. Спортивные пары: Дмитриев и Казакова, Шишнова и Наумов и, наверное, все-таки, Беренная — Сихарулидзе (они на летнем "пронате" в Сокольниках показали очень приличное катание и, если покажут такое же в Нагано, будут одними из претендентов на победу).

Коньки: Светлана Журова и Сергей Клевченя в спринте. Возможно, Светлана Бананова — у нее была травма ноги, но сейчас вроде все нормально. В горных лыжах — Варвара Зеленская. Вернулась в строй Елизавета Кожевникова, дванды призерна Олимпийских игр по фристайлу. Еще — двойня санная, есть какие-то подвижки в двоеборье. Вот, собственно, и все.

— Касательно спонсоров: они у вас все зарубежные, кажется. А своих, российских, трудно найти?

— Пока трудно. Некоторые бы и спонсировали, но ведь с них сдерут налоги и на ту сумму, которую они отдали нам.

— А ведь было бы разумнее, напротив, списывать эти деньги с налога...

— Но законодательной базы нет. И еще есть другая опасность: как только какая-то фирма нас профинансирует и об этом узнают рэнкетеры — ее тут же облагают "налогом", куда больше официального. Такая вот ситуация.

— А зарубежные спонсоры — это фирмы по изготовлению инвентаря, одежды?

— В первую очередь. К примеру, норвежская рекламная фирма "Спон-

сор-сервис" спонсирует женскую сборную по лыжным гонкам. Фирма эта в качестве посредника находит спонсора, а проценты берет себе. А если не находит — сама финансирует команду. Это парадокс: — но норвежцы нам больше помогают, чем наши спонсоры...

— Вы, Виктор Федорович, уже упоминали прежние спортлотереи как надежный источник финансовых поступлений. Почему бы сейчас такую лотерею не запустить?

— Председатель нашего Олимпийского комитета Виталий Георгиевич Смирнов вместе с греческим бизнесменом создали лотерею — "Лотто-миллион" — вы помните? Она первые полгода нормально работала — потом инфляция все съела, стало невыгодно. И теперь Виталий Георгиевич "добывает" где может, и мы выживаем.

— У наших спортсменов уже возникли проблемы с допингом — пресловутый бромтантан. Не боитесь, что это повторится?

— Как раз этого мы больше всего боимся. Виталий Георгиевич на последнем исполнине сказал: нам не нужны медали, которые будут попахивать вот такими вещами. Лучше лускай мы проиграем, но чтобы все было честно и достойно. И мы сейчас, конечно, ужесточили допинговый контроль. На Олимпиаду поедут все "чистые".

— Какие предусмотрены премии для спортсменов?

— Как и в Атланта: за первое место — 50 тысяч долларов, за второе — 20, за третье — 10.

— То есть в этом смысле никакой дискриминации по сравнению с летними видами... Нынешнее поколение спортсменов по сравнению с вашим, Виктор Федорович, наверняка изменилось.

— Изменилась мотивация. Прежде боролись за победу, за звание чемпиона мира. Олимпийских игр. И не очень-то думали о деньгах. Сегодня многие спортсмены хотят в первую очередь

именно заработать. Обеспечить себя, свою семью

— Это естественный ход вещей. Он вас удручает?

— Не всегда. Там, где совмещается чувство патриотизма, ответственности и возможность заработать, — это все оправдано. Но иногда вот что получается: на коммерческих соревнованиях зачастую можно заработать куда больше, чем на официальных. И классные спортсмены рвутся туда, там и зарабатывают. А потом приезжают на чемпионат мира — и уже не могут бороться в полную силу. Да и не хотят. И те надежды, что на них возлагали тренеры, друзья, страна, наконец, — в прах...

— У нынешних чемпионов, призеров такой уровень жизни...

— Конечно. В наши годы премии были очень маленькие. Ну, скажем, за чемпионат мира можно было полторы тысячи рублей заработать. А сегодня — 50 тысяч долларов за Олимпиаду! Огромная разница! Вот мы недавно рассматривали список бывших олимпийских чемпионов, тех, кто буквально всю жизнь отдал спорту. Так ведь многие просто нищенское существование влечат. И больные они все в основном. А страна никак не может им создать хоть минимальные условия, что позволили бы сводить концы с концами

— А все эти звания — мастер спорта, заслуженный мастер спорта, выодит, теперь потеряли значение?

— Теперь — да

— А их вообще-то еще присваивают?

— Присваивают. Но отношение к этому совершенно другое. Раньше-то это были почетные звания!.. Я жил под Новосибирском, учился в городе, в железнодорожном институте — минут двадцать на элентричке. Захожу в тамбур — стоит мужчина, а на лацкане у него значок: "Мастер спорта СССР". И вот я впился глазами в этот значок и, пона мы ехали,

не мог оторвать взгляда и думал: вот бы мне такой заработать! Ну, потом заработал. У меня их много было, по разным видам.

— Вы занимались не только биатлоном?

— Лыжи, легкая атлетика, плавание. По спортивной ходьбе был чемпионом Сибири. В стрельбе — многократный чемпион Сибирского военного округа.

— Но в биатлоне вам удалось добиться куда большего...

— Дважды был олимпийским чемпионом и четырежды — чемпионом мира, чемпионом Советского Союза; победителем многих международных соревнований. Шесть лет капитанствовал в сборной, а позднее пять лет проработал ее старшим тренером.

— В какие годы вы выступали за сборную Союза?

— В 66-м меня в сборную взяли, и в 73-м я закончил выступления.

— Хорошо футбольным или хоккейным ветеранам — для них соревнования устраивают...

— А уже провели первый чемпионат мира и среди ветеранов-лыжников, биатлонистов. В Финляндии прошедшей зимой выступало много спортсменов и больше половины — российских. У некоторых получается сегодня даже лучше, чем когда-то.

— А вы "сыты" победами?

— Уже хватит. Потому что нервная система, вся "физика" в большом спорте изнашиваются быстро. Медали, призы — они ведь столько здоровья забирают. — Им стоит заниматься, чтобы когда-нибудь услышать, как в твою честь играется гимн страны. Увидеть, как поднимается флаг! Это непередаваемое ощущение: мурашки по спине бегут.

Дай Бог многим нашим ребятам почувствовать такое в Нагано!

Беседовал **Алексей Ерохин.** ■

Сальвадор Дали



Михаил Лебединский, доктор искусствоведения

Мы стоим на пороге начала третьего тысячелетия. Подвиги и страдания на протяжении XX века, мыслительные события и герои, произошедшие нам и поразившие нас.

Среди крупнейших художников XX века выделяется знаменитый испанский мастер Сальвадор Дали (1904–1989).

Его личность обросла легендами и безмерным количеством разнородных эпитетов: гениальный, милоющий, загадочный, фантастический, публичнейший, параноидальный, философский, скандальный, свогешивающийся, мистический... И для любого из этих эпитетов он дал повод своей жизнью и творчеством.

О нем сотни и о его искусстве написаны и издаются сотни книг, альбомов, симпатично репродуцированы. Ни одна история современного искусства не обходится без того, чтобы не упомянуть его имя и его произведения.

Сальвадор Дали стал признанным главенствующим искусством XX столетия.

А все начиналось, как всегда бывает в подобных случаях, с близости и с маниакального стремления художника стать самым лучшим и самым знаменитым. Родился Сальвадор Дали в маленьком испанском городке Фигересе, что в пятидесяти километрах от Барселоны. Отец — нотариус, и семья никак не была связана с изобразительным искусством. Но мир, его краски и линии заворожили Дали, и он рано начал рисовать.

Страсть самовыражения подтолкнула все силы юного Сальвадора. Отец с неохотой поддерживал увлечение сына, но в конце концов уступил его страстному желанию стать художником.

Дали поведал, что друзья семьи заметили его способности к рисованию, подарили ему краски и все необходимое для эпитетов и рекомендовали его родителям развивать увлечение сына. Дали рисовал и писал то, что



видел: пейзажи, портреты членов семьи, натюрморты. Его ранние пейзажи написаны под влиянием импрессионистов.

Дали учился в академии Сан Фернандо в Мадриде. Не закончив ее, был со скандалом изгнан, но не жалел об этом. Он рано осознал себя гениальным художником, значительно превосходящим своих учителей. Пробирав себе дорогу на выставки, был замечен зрителями и прессой и в конце концов оказался в Париже — всемирном городе всех художников. Там вошел в круг молодых глашатаев сюрреализма, познакомился с поэтом Полем Элюаром и его женой Гала, пригласил сюрреалистов на лето к себе в Испанию, и, когда они приехали к нему, Гала осталась с ним, и, как оказалось, уже навсегда, разделив и его трудности, и лишения, и его огромную славу, и материальный достаток. Она стала для него безбрежным и бездонным миром, которому он не изменил до конца своих дней. Гала была старше Дали на десять лет.

Когда отечественные писатели или искусствоведы называют имя Гала, то, как правило, тут же сообщают о ее русском происхождении, невольно или сознательно подчеркивая, что у знаменитого на весь мир художника единственной женой была русская женщина. И тут же, рассказывая о действительно глубоком влиянии Гала на весь духовный мир Дали и его творчество, они часто заводят разговор о таинственной, почти мистической сущности русской женской души, описанной великими русскими писателями в бессмертных произведениях, начиная с Татьяны Лариной, Анны Карениной и Сони Мармеладовой. Действительно, место Гала в творческой жизни Сальвадора Дали огромно. Он многократно писал и рисовал ее в различных обликах и видах, вплоть до сакрального образа Богородицы.

Многие искали объяснение такому явлению, тем более странному, что Дали был человеком необычайных амбиций, ума и таланта и иначе как гением себя не называл. На протяжении долгих десятилетий всей их совместной, как сказали бы, "до гробовой доски", жизни Дали испытывал любовь и безграничную веру в эту удивительную женщину. Объяснить это без мистики, без ирреального, без "загадочной русской души" почти невозможно.

Однако патриотизма, чувства любви к России Гала никогда не испытывала. От своего отца она получила фамилию, а от своего отчима получила отчество, и здесь тоже кроется какая-то неразгаданная семейная тайна. В России она была Еленой Дмитриевной Дьяконовой, и еще до революции родители отправили ее лечить болезнь легких в Швейцарию. Там она познакомилась с юношей Полем Элюаром. Они полюбили друг друга и в период первой мировой войны стали мужем и женой. Гала жила в Париже, любила мужа, который был призван в армию, служил и вынашивал свой выдающийся поэтический дар.

Гала имела в своем обиходе какие-то предметы из России, несколько икон, которые хранила на протяжении жизни, но никогда ничем особенным не проявляла своей привязанности к родине. В двадцатые годы она буквально на несколько дней приезжала к своим родственникам, а более ничем не отмечена ее связь с "родными пенатами". Она хорошо чувствовала себя в Европе, в комфорте и уюте налаженного быта, в строгой, со вкусом подобранной одежде, в кругу образованных и талантливых людей. Уй-



да от Элюара к Дали, она испытала житейские трудности, но перенесла их спокойно, сдержанно, достойно, как и многое, что делала. Затем, когда вместе со славой к Дали пришло и богатство, чему способствовала Галя, ведь без суеты, но надежно и крепко многие его дела, она с удовольствием приняла роскошь и благоденствие. К концу жизни Дали купил, перестроил и подарил ей замок Пуболь в своих родных местах, она жила царственно и величаво, не отказывая себе ни в чем. Через несколько дней после ее смерти король Испании пожаловал Дали титул маркиза Пуболь.

Испания — страна высочайших культурных традиций, где любят и почитают художников. Во многих городах, не говоря уже о Мадриде, вы

можете встретить памятники Веласкесу, Мурильо, Сурбарану, Рибере, Эль Греко, Гойе. Испанские соборы хранят бесчисленные сокровища живописи, скульптуры, ювелирного искусства и сами являются выдающимися архитектурными памятниками.

Дали обладал не только изобразительным, но и незаурядным литературным даром. "Дневник одного гения", "Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим", "История пука", сценарии фильмов, статьи, манифест "Декларация независимости воображения и прав человека на его собственное безумие" читаются с интересом, полны остроумных и философских рассуждений, парадоксов и неожиданных поворотов нити повествования, каламбуров и мыслей, заставляющих читателя думать и быть готовым ко всяким неожиданностям. Его литературные произведения читаешь и как плутовской роман, и как философскую книгу.

Многие авторы, пишущие о Дали, отмечали его внешнее сходство с Дон Кихотом. Как и герой знаменитого романа, Дали был высок, худощав, подвижен, легко возбудим и переменчив в своих настроениях — от гнева до неожиданных припадков истерического хохота. Его торчащие кверху, как иглы, кончики усов — предмет его особых забот и гордости — ассоциировались с усами на исхудавшем лице рыцаря Печального образа.

Но Дали не только внешне напоминал Дон Кихота. Еще интереснее, что его внутренний мир, его исключительность, одержимость, целеустремленность, воплощение совершенно фантастических, ни на кого не похожих художественных образов — все это было сродни безумству и убежденности Дон Кихота, который верил, что его воображаемый мир и есть подлинная реальность окружающего мироздания.

Дали часто считали сумасшедшим, видя некоторые его картины и зная о некоторых его поступках. Да он и сам не скрывал своего сумасшествия, правда, разумно считая, что "разница между мной и сумасшедшим та, что я не сумасшедший". Гала — это имя дал ей Поль Элюар — принимала все, что бы ни делал или ни придумывал Сальвадор Дали. Выходил ли он на площадь с двенадцатиметровым французским батоном, разбивал ли витрину магазина, где поменяли без его ведома исполненную им рекламу, писал ли ученый трактат об истории пука, начинал ли истерически хохотать в самом неподходящем для этого месте и времени, — все было достойно, необходимо и талантливо, если это делал ее муж, Сальвадор Дали.

Дали был так же неистово одержим искусством, как Дон Кихот правилами странствующего рыцарства. Во всем Дон Кихот видел действия волшебников, добрых и злых магов, великанов и чародеев. Постоялый двор или гостиница были для него таинственными замками, простая крестьянка с подругами — околдованной прекрасной принцессой Дульсиной Тобосской с фрейлинами.

Ретроспективный бюст женщины. 1933.

Окраина параноино-критического города: послеполуденный час на обочинах европейской истории. 1936.

Мед слаще крови. 1941.

Живопись XX века









А Дали во всем видел образы искусства. Каждый предмет он мог превратить в волшебный источник фантазии, выдумки, неожиданного образа. Даже простые колесные шины он складывал в скульптурные пирамиды, украшая ими площадь перед муниципальным театром в Фигеросе, ставшим его музеем.

Не только Фрейд, раскрывший мир подсознательного и объяснивший природу сновидений, серьезно повлиял на жизнь и творчество Дали. Религиозная культура Испании с ее обращением к таинственным силам веры и духовного экстаза также оказала сильное влияние не только на творчество, но и на весь облик Сальвадора Дали.

Он стал признанным в мире лидером сюрреализма — международного течения в мировом изобразительном искусстве XX века. При



этом он всегда, по духу и складу своего характера и мышления, оставался испанским художником.

Пишущие о Дали поражаются его универсализму, способности плодотворно работать в самых различных областях изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, ювелирное и декоративно-прикладное искусство. И везде он проявлял неповторимую оригинальность своего дарования. Но в XX веке так выступали многие известные мастера. Пабло Пикассо с его знаменитым выражением "я не ищю, я нахожу" был и живописцем, и графиком, и театральным художником, оформлявшим балеты для антрепризы Сергея Дягилева, и керамистом, с радостью создававшим декоративные вазы, блюда, самые различные произведения из обожженной глины. Кстати, в 1925 году Пикассо участвовал в выставке сюрреалистического искусства.

Дали в искусстве был так же неутомим, как и Пикассо. Может быть, здесь сказывался южный испанский темперамент. Как и Пикассо, оставшийся до глубокой старости непредсказуемым и молодым в своих творческих действиях и поступках, Дали был неждан и свеж в своих начинаниях и свершениях. Он так же, как Пикассо, "не искал, а находил". По существу, многие самостоятельные течения современного искусства можно найти в творениях Дали: и хепенинг, и поп-арт, и тореализм, и гиперреализм, и соц-арт, и визионизм, и необыкновенные "перформанс", и боди-арт, и многое другое, что составило известность некоторым мастерам, а у Дали сосуществовало в неразрывном единстве.

Художественные пристрастия Дали всегда ставили в недоумение не только зрителей и критиков, но и художников. Вряд ли кто-нибудь из его современников осмелился бы признать французского художника второй половины XIX века Эрнеста Месонье, прославившегося жанровыми и историческими картинками и боровшегося с импрессионистами, своим кумиром. Дали сделал это. Есть фотография, где Дали, уже в преклонном возрасте, сфотографировался на фоне величественного скульптурного портрета Месонье. Эта фотография достаточно известна и говорит о стойкой увлеченности Дали творчеством этого художника. Можно только заметить, что тщательность отделки каждой мельчайшей детали на картинах Месонье была свойственна и Сальвадору Дали, кропотливо отделявавшему каждый предмет на своих живописных полотнах. Однако бюст Месонье на площади перед своим музеем Дали установил на колесных шинах.

Джорджо Де Кирико показал Дали, что пластический мир картины — а Де Кирико прославился своими "метафизическими" полотнами — создается самим художником, а не срисовывается с природы. Реальный мир предоставляет художнику как бы детали для возведения зданий и фигур, рожденных фантазией мастера. Мир, написанный художником на своей картине, мир воображаемый, о котором нельзя сказать, что он лучше или хуже действительности, — этот мир совершенно иной, зритель может принимать его или не принимать, как ему заблагорассудится. И не дело художника об этом думать, ему надо создавать свой пластический мир в соответствии со своим убеждением и фантазией. Джорджо Де Кирико создал такой мир, и Дали почувствовал и понял всю силу независимости художественного мышления итальянского художника.

Несмотря на свою суперсовременность, Сальвадор Дали превозносил классиков и классическое искусство и совершенно не переносил абстракционизм. Рафаэль, Леонардо да Винчи, Вермер Делфтский, Жан Франсуа Милле — вот художники, к творчеству которых постоянно обращался Дали. На протяжении всей жизни можно встретить его работы, навеянные образами Мадонн Рафаэля, "Кружевницы" Вермера и "Анжелюса" Милле.

Дали и в живописи, и в рисунке часто обращался к композиции "Анжелюса". Иногда это обращение связывают с воспоминаниями из детских лет Дали, когда он представлял классную комнату в школе, где он учился, а на стене висел календарь с репродукцией этой картины Милле. Возможно, это воспоминание было ярким и сохранилось на протяжении его жизни, но нужно было еще что-то, чтобы этот образ оказался представленным на целом ряде картин и рисунков Дали. Вероятно, не сюжет вечерней молитвы двух крестьян — мужчины и женщины, прямо в поле, под куполом неба, очаровал Дали, а само ощущение простой композиции двух фигур в огромном пространстве, сосредоточенных в едином духовном порыве, обращенном из глубины внутреннего мира человека в небо, в космос, во Вселенную. Это могло быть стимулом творческой фантазии Дали.

Задумчивая тишина, гармония, уравновешенность свойственны картинам Вермера Делфтского. Простые действия персонажей, будь то чтение письма, игра на музыкальном инструменте или плетение кружев, передают зрителям ощущение порядка и спокойствия. Все эти качества прямо противоположны тем чувствам, которые можно испытать перед многими картинами Дали, разве что за исключением его полотен на религиозные сюжеты. И тем не менее Вермер Делфтский был одним из его любимых художников, а композиция его "Кружевницы" в том или ином варианте встречается на картинах Дали.

И Диего Веласкес был его обожаемым кумиром. Можно заметить некоторое внешнее сходство Дали с тем обликом, который запечатлен на автопортретах Веласкеса (впрочем, есть внешнее сходство между Дали и Месонье), но не это, хотя, может быть, здесь был какой-то побудительный импульс, сближает двух испанских художников. Отношение к искусству как к выдающемуся проявлению человеческого существования, а также глубокое и филигранное владение тайнами и секретами профессии были свойственны обоим мастерам. Дали сам был выдающимся профессионалом живописи и превозносил всех, кто в совершенстве владел секретами живописной техники. Веласкес, по его мнению, был одним из самых великих живописцев мира.

Образы Мадонн Рафаэля можно встретить в композициях Дали. Уравновешенность всех деталей картины, композиционное мастерство, свойственное творчеству Рафаэля, нашли чуткого восприимчивника в лице Дали.

Поэзия Америки. 1943.

Лебеди, отражающиеся в воде слонов. 1937.

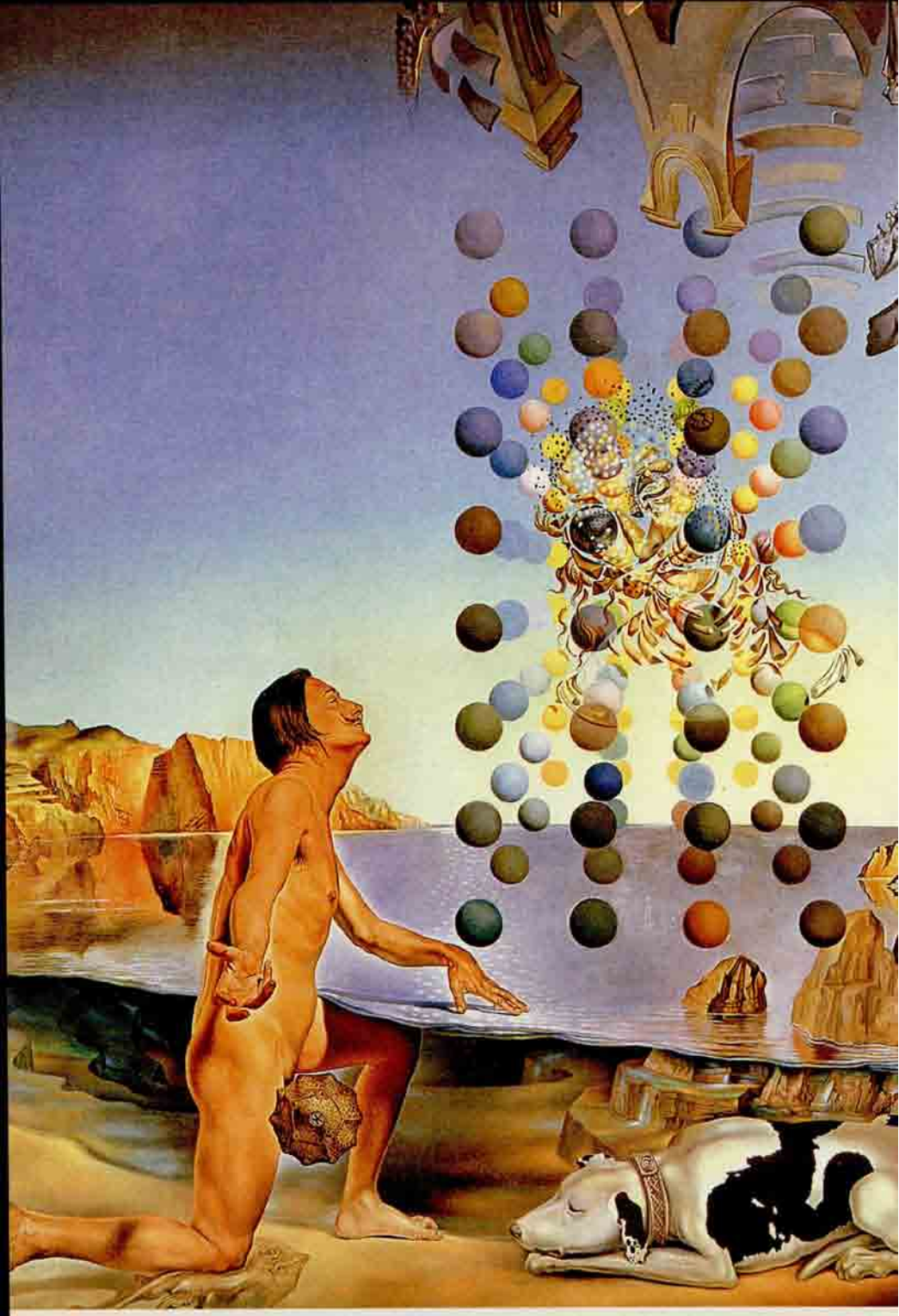
Обнаженный Дали, созерцающий пять упорядоченных тел, превращающихся в карлускулы, из которых неожиданно сотворятся Леда Леонардо, оплодотворенная лицом Гала. 1954.

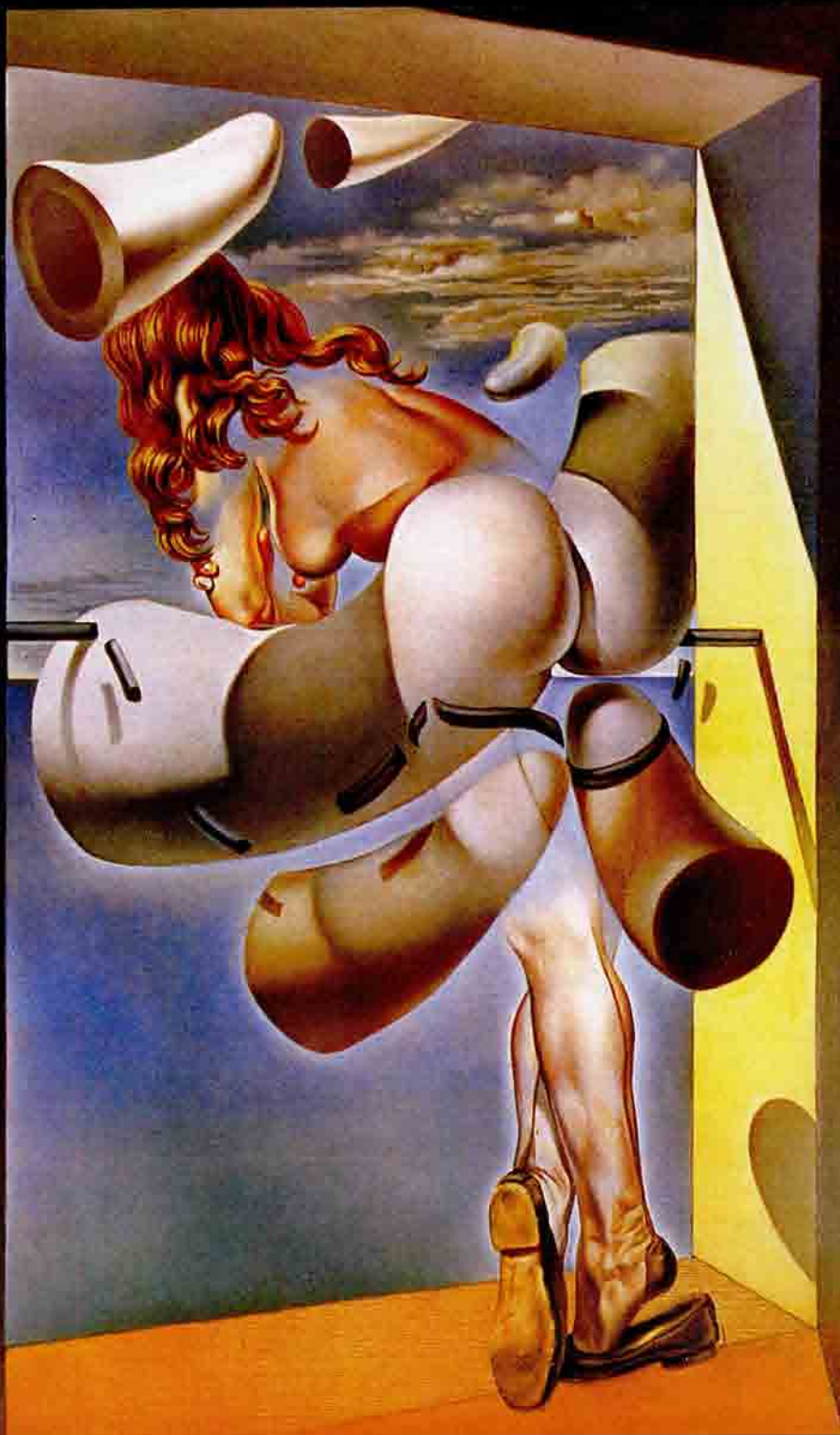
Содомское самоудовлетворение невинной девы. 1954.











Правда, он все претворял по-своему, но образы великого итальянского художника глубоко затронули творческую натуру Дали, который был выдающимся рисовальщиком и виртуозом композиционных построений.

Правда, Дали меньше удавались чисто живописные эффекты, он больше все-таки как бы расписывал красками свои рисовальные композиции. Недаром увлечение импрессионистами в ранние годы быстро прошло, и он не двинулся в овладении всеми секретами и световоздушными достижениями импрессионистической живописи дальше, чем в ранних своих работах.

Если коротко подытожить все, что сказано о художественных влияниях на Дали, то можно сказать следующее: Пикассо показал ему, что не надо считаться с видимой действительностью, ее можно представлять на картинах как угодно, согласно воле художника. Де Кирико своими "метафизическими" полотнами заставил Дали задуматься над тем, что изображение на картинах должно подчиняться каким-то системам, и даже когда Джорджо Де Кирико писал не людей, а манекены, это была продуманная и придуманная им система. "Анжелюс" Жана Милле представил Дали окружающий мир, пронизанный духовными, скрытыми от глаз устремлениями, из которых главная устремленность человека — его устремленность к Богу. Месонье научил Дали тщательно отделять самые мельчайшие детали картины и показал ему превосходство профессионального мастерства художника над дилетантами и пачкунами. Веласкес, Вермер Делфтский и Рафаэль стали для Дали подлинными камертонами живописного и композиционного мастерства.

Все остальное в своем искусстве Дали добыл сам. Он учился, выставлялся и работал как одержимый на протяжении всей жизни, совершенствуя свою живописную технику и признавая, что истинный художник должен писать так же, как великие мастера прошлого. Не занимаясь политической, он невольно говорил о ней своими картинами. Будучи художником и рассчитывая сложную композицию своих произведений, он с увлечением занимался математикой и оптикой, дружил с учеными и создал много самых оригинальных, рассчитанных на определенное оптическое восприятие картин. Энергия атомного ядра, в ее художественном восприятии, отразилась и на работах Дали, и потрясающие воображение композиционные эффекты были достигнуты под влиянием атомной эры.

Когда Дали думал о том, что писать, он понимал, что традиционный реализм, фиксирующий на картинах то, что непосредственно видишь и воспринимаешь, уже умер. Современный художник, вооруженный данными различных наук, видит глубже и вскрывает саму сердцевину различных явлений и событий. Художник, обращаясь к духовному миру человека и адресуя ему свое искусство, рассказывает о еще не виданном и не познанном большинством сограждан. А непознанное часто предстает человеку в его сновидениях. Зигмунд Фрейд открыл и объяснил характер сна и сновидений. Дали стал страстным последователем его теорий.

Дали хотел сделать видимой реальностью то, что содержится в глубинах нашей психики, то, что недоступно глазу. Причем собственная фантазия и неистощимое воображение, свойственное Дали, играли в создании его картин главную роль. Сюрреализм — в переводе с французского озна-

чает буквально — сверхреализм — как нельзя кстати пришелся творческому духу Дали. С группой сюрреалистов он сближается в Париже и впоследствии считает себя единственным и непогрешимым сюрреалистом всех времен.

Еще в юности, студентом, Дали начинает выставлять свои картины на выставках, обретая свой собственный голос и своего зрителя сначала в Испании, в первую очередь в Барселоне и Мадриде, а затем в Париже. Познакомившись с Андре Бретоном и его друзьями, он всех приглашает провести лето в его родных местах в Испании, в небольшом городке Кадакес, очень похожем на окрестности близкого русской интеллигенции местечка Коктебель. Пустынные пляжи, нагромождение скал и удивительных своими формами каменных глыб, сравнительно редкая и скудная растительность, жаркое солнце, чудесное море, малолюдь и отдаленность от больших и малых городов создавали неповторимый облик окрестностям Кадакеса, которые станут излюбленным пейзажем на его картинах.

Если взглянуть на ранние работы Дали, то перед нами предстанут все его юношеские увлечения и метания: пейзажи Кадакеса, "Автопортрет" и "Автопортрет с шеей Рафаэля" начала 20-х годов, сделанные под влиянием импрессионизма; "Обнаженная в пейзаже", "Большой ребенок. (Автопортрет в Кадакесе)", написанные под влиянием фовистов и пуантилистов; "Портрет двоюродной сестры", "Семейная сцена", "Портрет Анны Марии", созданные под впечатлениями ранних работ Пикассо, а затем, в 1925 году, две картины на тему "Венера и моряк", где соединилось влияние Пикассо с собственной трактовкой общей композиции и различных деталей. "Кубистский автопортрет" говорит сам за себя. "Портрет Луиса Бюнуэля", "Девушка, вид сзади", "Фигура у окна" написаны в реалистической манере, с точной обрисовкой человеческой фигуры, но в пейзажах этих работ чувствуется какая-то отстраненность от моделей, и они уже начинают играть вполне самостоятельную роль в общем решении всей картины, как это будет свойственно зрелым работам Дали. Небольшой этюд к картине "Мед слаще крови" (1926) и "Аппарат и рука" (1927) дают представление уже о том Дали, которого мы узнаем среди многих других живописцев.

Когда Дали приехал в Париж в первый раз, друг Лорки, художник из Гранады Мануэль Ортис познакомил Дали с Пикассо. Войдя в мастерскую, Дали сказал, что приехал повидать его прежде, чем посетит Лувр. "Вы совершенно правы", — ответил Пикассо. "Мед слаще крови" дает представление, что в Лувре Дали мало что приобрел бы для своего искусства. Эта небольшая работа полна образов, случайно написанных и как бы совершенно не связанных между собой. Поверхность деревянной доски разделена по диагонали ровной линией, отделяющей землю от неба. Сама линия делит пополам голову с закрытыми глазами и длинными ресницами, похожими на мягкие тонкие лапки гусеницы или муравья. Одна часть головы принадлежит земле, а другая высветлена на фоне неба. По всему полю коричневой земли видны странные предметы и фигуры: труп осла со вспоротым животом и роем мух, лежащая фигура женщины без головы, ступней и кистей рук, четыре желтых кустика, отрубленная мятая рука, манекен с черной тенью, воткнутые в землю иглы с крупными ушками и

длинными черными тенями. А в небе, а может быть, и в море движется стая красных рыбок, белый шар с глазом и еще что-то неопределенное, похуже на гантелю белого цвета.

Глядя на эскиз картины "Мед слаще крови", о содержании ее образов и символов можно только догадываться. Во всяком случае, все необычно и представлено как отражение образов, живущих в душе ненормального человека, или живописное воплощение кошмаров, которые посещают нашу душу и скрыты в ее недрах. Иногда эти образы всплывают во время сна, после дневных сумбурных впечатлений. Все это Дали сделал предметом своей картины, где только манекен отдаленно напоминает манекены на картинах Джорджо Де Кирико.

Давайте обратим внимание и на название этюда: "Мед слаще крови". Искать прямых связей с сюжетом здесь не стоит. Все ассоциативно, звучит загадочно, кратко, как пословица, и неожиданно кровавадно. Ведь надо почувствовать вкус крови, а это связано с представлениями о корриде, ранах, насилии, убийствах, войне, и сравнить этот вкус с мирным и сладчайшим вкусом меда. Название загадочно, как и само содержание картины. На протяжении всей своей творческой жизни Дали будет удивлять зрителей не только сюжетами своих работ, но и их названиями, например: "Я в возрасте шести лет, когда я думал, что я девочка, осторожно приподнимаю поверхность моря, чтобы посмотреть на собаку, спящую в тени воды" (1950).

Увлеченный психоанализом и теорией подсознательного Зигмунда Фрейда, Дали назовет свой метод работы "параноидо-критическим". Но суть творческой работы Дали неизменна — он независим и постоянно придумывает все новые и новые формы своим образам. Подчас они продиктованы или его навязчивыми идеями, которые он преодолевает, изображая их на своих картинах, или это понятные ему, навеянные впечатлениями его жизни создания, будь то мухи, кузнечики, слоны на журавлиных ногах, носороги, лангусты, мертвый испанский осел, образ Венеры Милосской, костыли и многое другое, что мы видим на его работах.

Дали был очень ироничен не только по отношению к своим зрителям, но и по отношению к самому себе. Когда после войны он опубликовал свой "Дневник одного гения", то там можно прочесть такие строки о его творческом методе: "Во всем мире, и особенно в Америке, люди сгорают от желания узнать, в чем же тайна метода, с помощью которого мне удалось достигнуть подобных успехов. А метод этот действительно существует. И называется он "параноидо-критическим методом". Вот уже больше тридцати лет, как я изобрел его и применяю с неизменным успехом, хотя и по сей день так и не смог понять, в чем же этот метод заключается. В общем и целом его можно было бы определить как строжайшую логическую систематизацию самых что ни на есть бредовых и безумных явлений и материй с целью придать осязаемо творческий характер самым моим опасным и навязчивым идеям".

Дали писал, что для него "отдыхать" значит работать по двенадцать часов в сутки. При такой неустанной работоспособности на протяжении долгой жизни Дали создал огромное количество произведений. Для русского зрителя впечатление от работ Дали существенно менялось в зави-

симости от условий нашей общественной жизни. Когда нам, лет сорок назад, воспитанным на шедеврах Третьяковской галереи, говорили, что картины Дали "последняя степень деградации буржуазной культуры" и показывали при этом плохие репродукции "Мягких часов" или "Осеннего каннибализма", то убедительность такого суждения не вызывала никаких сомнений.

Сейчас мы многое увидели и очень многое узнали о современном искусстве, и такое поверхностное соединение идеологического постулата, что на Западе все "гниет" и это подтверждается картинами Дали, — нас уже не убеждает. Произведения Дали, которые в последнее время показывали в России и которые можно увидеть в переведенных на русский язык обширных монографиях, например Робера и Никола Дешарн или Марко ди Капуа, когда их видишь в сопоставлении с работами и других сюрреалистов или дадаистов, уже не вызывают сводящего с ума удивления. Теперь мы более спокойно, разумно и эмоционально воспринимаем работы Сальвадора Дали.

1929 год — особенный в жизни и творчестве Дали. Ему двадцать пять лет. Он встречается с Гала и чувствует, что эта женщина не только его глубочайшая любовь, но и значительно большее для него — почти божественное создание, сумевшее обуздать страхи и истерические припадки его иступленной души и сохранить его буйную энергию, направляя ее только в творчество — самую желанную душевную пристань Сальвадора Дали.

Его картины этого года — сюрреалистические шедевры всего творчества — наиболее полно и ярко выражают силу, молодость и смятенность его молодой души: "Загадка желания: Моя мать, Моя мать, Моя мать", "Мрачная игра", "Великий мастурбатор", "Портрет Поля Элюара", "Царственный памятник девочке — женщине Гала (утопическая фантазия)".

Дали писал портреты своего отца и никогда не писал портретов своей матери. Думается, что не только ее ранняя смерть была тому причиной. Родители для Дали были дорогими и близкими ему людьми. Он их почитал и возвеличивал. Женской ласки, внимания, нежности ему не хватало после смерти матери. Отец восполнить эту потерю не мог. Поэтому у Дали рождается картина "Загадка желания: Моя мать, Моя мать, Моя мать".

В безжизненной пустыне лежит голова Дали с закрытыми глазами, которую мучают кишасщие вокруг фурункула муравьи, и продолжением ее шеи становится огромная желтая масса, похожая на песчаную скалу, продутую ветром. Он свистит в двух огромных сквозных проемах безудержной тоской и высветляет надписи в каменных щербинках, которые содержат один текст, постоянно повторяющийся: Моя мать, моя мать, моя мать, моя мать... Раздражающий желтый цвет скалы, возносящейся в небо, тоскливый однообразный пейзаж, на котором разместились одинокий камень, две скалы и небольшая символическая композиция с часто повторяющимися в это время у Дали образами: голова льва с оскаленной пастью, кузнечик, лысый череп и рука с ножом. Все это вместе выражает глубокое стенание Дали к душе его матери, так рано оставившей его одного в этом пустынном и жестоком мире.

А его мучают кошмары и страсти. Дали говорит об этом с вызывающей искренностью и откровенностью на своих картинах. "Мрачная игра" и

"Великий мастурбатор" именно такие произведения. Когда в Кадакес к Дали на лето приедут его друзья, то даже они, новаторы-сюрреалисты, будут шокированы обнаженной сексуальностью образов художника, а его автопортрет в правом углу картины "Мрачная игра" с испачканными собственными экскрементами штанами даже им, любителям скандализировать общественное мнение, покажется верхом непристойности. И Галя сдержанно скажет об этом уже обожествившему ее молодому художнику.

Вот как сам Дали в книге "Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим" описывает свою картину "Великий мастурбатор". После отъезда Галя из Кадакеса, где состоялась их грандиозная любовь, художник пишет: "Я заперся у себя в мастерской в Фигеросе и не выходил целый месяц. Продолжалась привычная мне монашеская жизнь. Я быстро закончил живописный портрет Поля Элюара, начатый летом, и два большие полотна; одному из них предстояло стать знаменитым.

На нем изображена огромная желтая, словно воск, голова: мясистая щека, длинные ресницы, нос касается земли. Рта на лице нет — вместо него прилепился громадный дохлый кузнечик. Брюшко его разлагается со страшной силой — кишит муравьями. Муравьи лезут и туда, где полагается быть губам, расползаются по лицу. Оно печально. Архитектурные детали начала века довершают картину. Называется она "Великий рукоблуд".

"Портрет Поля Элюара" и "Царственный памятник девочке — женщине Галя (утопическая фантазия)" свидетельствуют о поразившем Дали любовном чувстве, мгновенно переросшем в великую и единственную в его жизни любовь. Поэтому анализ своих чувств к своему другу, поэту-сюрреалисту Полю Элюару, законному мужу Галя, сменяется картиной — "Памятником" Галя, как он сам назовет это произведение. Даже размеры этих картин: портрет Элюара — 35 x 25, а "Памятник" Галя — 142 x 81 сантиметр, говорят о преодолении сомнений Дали в отношении своего друга и всепоглощающем и самоутверждающем чувстве любви к Галя, превратившемся в грандиозный памятник его любви, созданный им на картине больших размеров и очень сложной композиции.

Мы назвали только пять картин Дали, созданных в 1929 году, но в этом году он написал гораздо больше. Вот продолжение списка его работ этого плодотворного года: "Приспособляемость желаний", "Два балкона", "Просвещенные удовольствия", "Незримый человек (Человек-невидимка)", "Осквернение гостии (Профанация гостии)", "Фантасмагора". Каждая из этих картин интересна не только сама по себе, но и имеет зримое продолжение в дальнейшем творчестве Дали.

"Приспособляемость желаний" изображена в виде оскаленной львиной морды, которая своими частями — гривой, раскрытой пастью, контуром — нарисована на различных камнях, громоздящихся на земле. Затем страшная львиная голова будет повторяться во многих картинах Дали. "Два балкона" напоминают о влиянии Рене Магритта на творчество художника, а самые разнообразные архитектурные мотивы будут постоянными спутниками живописных фантазий Дали. "Просвещенные удовольствия" как бы сотканы из различных впечатлений, и отдельные части картины затем будут преображены в самостоятельные произведения, например движущиеся велосипедисты. "Человек-невидимка" написан так, что

из различных элементов композиции может возникнуть самостоятельный образ, не связанный с образами составляющих его предметов, и это свойство будет постоянно встречаться на произведениях Дали, создавая самые невероятные эффекты оптических обманов.

Маленькая композиция на картине "Человек-невидимка" то ли лошади, то ли лежащей женщины затем развернется в самостоятельную картину "Незримые лев, конь и спящая женщина" (1930). "Осквернение гостии", написанная как анекдот, когда акт причастия юношей и девушек подозрительно сопутствует самым греховным фантазиям, в будущем будет очищен от анекдотики и религиозные мотивы развернутся во всю мощь на знаменитых картинах Дали, таких, например, как "Христос святого Хуана де ла Крус" (1951) и "Тайная вечеря" (1955).

30-е годы были чрезвычайно плодотворными в творчестве Дали. Целый ряд подлинных шедевров, обессмертивших его имя, был создан в эти годы. Причем это были самые различные по своим темам и по своим композиционным приемам картины. Некоторые из них рождались как отклики глубинных переживаний и наблюдений Дали, а некоторые были чудом его визуальных способностей поражать зрителей подлинностью изображений людей и предметов, в формах и сочетаниях, совершенно несвойственных их реальному содержанию.

Когда отец Дали в начале 1930 года изгнал его из своего дома за связь с Гала, художника стал преследовать образ Вильгельма Телля, который когда-то должен был поразить стрелой яблоко, лежащее на голове его сына. Дали написал в 30-е годы целый ряд работ с образом этого швейцарского героя, в том числе огромную картину "Загадка Вильгельма Телля" (1933), где лицо героя почему-то списано с портрета В.И.Ленина.

Одна из самых знаменитых картин Дали была написана в 1931 году, и, несмотря на то что она очень маленьких размеров — 24 x 33 см, ее метафоричность стала чуть ли не визитной карточкой всего творчества художника. Она бесконечно репродуцируется в книгах и альбомах не только о самом Дали, но и о сюрреализме и искусстве всего XX столетия. Наиболее распространенное ее название "Мягкие часы", а также "Постоянство памяти", "Стойкость памяти" и т.д.

В своем совершенном виде Дали написал ее спонтанно, находясь в свойственном ему постоянном творческом возбуждении. Он писал морской пейзаж с видом скал. Безжизненное пространство земли и жесткие грани огромных прямоугольных плит контрастировали с причудливыми изломами очертаний скалистого берега. Дали видел обнаженные стволы оливок с обломанными ветками, и одну из них он написал на своем пейзаже, а также маленький белый камень да лежащий на первом плане картины, уже традиционный для его творчества, спящий профиль его головы с огромными ресницами. Но в атмосфере этого пейзажа не было чего-то главного.

Случайно и внезапно Дали ощутил решение этой картины. Оно сразу озарило его внутренний мир, и, захваченный образом, он написал свисающий на ветке, как повешенная мокрая простыня, циферблат часов, одна сторона которых висела, как высунутый язык. То, что мы привыкли видеть на плоскости и невозможно представить как-то иначе, растеклось, как тесто, по углу прямоугольной плиты, на округлой части шеи и повис-

ло на ветке. Часы, само время, в атмосфере сумеречного пейзажа, вдруг стало объемным, тягучим, бесформенным, как ртуть. Оно потекло по своим законам, и вся картина приобрела какую-то странную, емкую и гравидозную метафоричность, которая до этого никогда не встречалась в живописи, да и вообще в искусстве. Текучие архитектурные формы любимого Дали знаменитого испанского архитектора Антонио Гауди приобрели зримую живописную форму. Это была победа, и Дали всем сердцем почувствовал, какой емкой и литературно необъяснимой может быть сотворенная художником изобразительная форма.

В своей "Тайной жизни" Дали вспоминал: "Гала ушла. Я остался один и решил, что лягу пораньше. Проводил ее, я вернулся к столу (ужин мы завершили отменным камамбером) и погрузился в раздумья о растекающейся мякоти. Перед моим мысленным взором возник сыр. Я встал и, как обычно, направился в мастерскую — взглянуть перед сном на картину, которую писал. То был пейзаж Порт-Льигата в прозрачно-печальном закатном свете. На первом плане — голый остов оливы с обломанной веткой. Я ощущал, что в этой картине мне удалось создать атмосферу, созвучную какому-то важному образу — но какому? Не имею ни малейшего понятия. Я уже протянул было руку к выключателю, как вдруг увидел решение! Я увидел растекающиеся часы: самым жалким образом они свисали с ветки. Превозмогая головную боль, которая сделалась почти невыносимой, я кинулся к палитре и взялся за дело. Через два часа, к возвращению Гала, самая знаменитая из моих картин была закончена".

"Мягкие часы" стали определенным символом сюрреализма. Но у Дали есть еще немало произведений, которые также многократно репродуцируются и воспринимаются символически, причем образность таких символов определяется невозможностью их расшифровки, и каждый трактует их по-своему. Дали нравилась такая многозначительность, и он сам никогда конкретно не расшифровывал значение того, что он создавал. Пусть каждый воспринимает его творения как хочет, и в этом тоже особенность и сюрреализма, и творчества Дали.

Попробуем хотя бы назвать некоторые из картин Дали 30-х годов, всемирно известных, образность которых буквально ошеломляет нас, и мы надолго запоминаем их, хотя подчас и не понимаем, что же хотел сказать художник своей работой: "Частичная галлюцинация. Шесть явлений Ленина на рояле" (1931), "Призрак Вермера Делфтского, который можно использовать как стол" (1934), "Призрак сексапила" (1934), "Лицо Мей Уэст, которое можно использовать как квартиру" (1934—1935), "Параноико-критическое одиночество" (1935), "Женщина с головой из роз" (1935), "Мягкая конструкция с вареными бобами. Предчувствие гражданской войны" (1936), "Антропоморфный секретер" (1936), "Большой параноик" (1936), "Супруги с головами, полными облаков" (1936), "Жираф в огне" (1936—1937), "Сон" (1937), "Метаморфоза Нарцисса" (1936—1937), "Испания" (1938), "Лицо войны" (1940), "Рынок рабов с явлением невидимого бюста Вольтера" (1940).

К этим картинам необходимо добавить и удивительные выдумки Дали, реализованные в бытовых предметах, которые определили появление новых течений в современном искусстве, например: "Телефон-омар", диван

"Губы Мэй Уэст", гипсовая статуя, форму для отливки которой сделал Марсель Дюшан, "Венера Милосская с ящиками". Вообще Дали гордился своими изобретениями и вспоминал при этом универсальный гений Леонардо да Винчи, убежденный в том, что настоящие художники намного выходят за пределы своего профессионального ремесла. В "Тайной жизни" Дали сам себе задает вопрос и отвечает на него: "Что же я выдумал? Накладные ногти — в каждом уменьшительное зеркальце, чтобы смотреться. Прозрачный манекен — внутрь льют воду и запускают рыбок, чтобы дать наглядное представление о кровообращении. Пластиковое кресло, застывающее в точном соответствии с фигурой хозяина. Фотомаски для репортеров. Спектральные очки-калейдоскоп, преобразующие действительность, — специально для автотуристов в случае, когда пейзаж наводит скуку. Хитроумный грим, истребляющий тени. Туфли на рессорах, чтобы наслаждаться ходьбой. (...) Также я изобретал вещицы, которые не знаешь, куда деть — куда ни ткни, везде они не на месте. Нужны же они именно затем, чтобы доставить неудобство и причинять беспокойство. (...) Еще я выдумал платья с разнообразными анатомическими накладками, сконструированными по точным расчетам в полном соответствии с идеалом женской красоты, рожденным мужским эротическим воображением. Упомяну лишь о добавочных грудях, что прицепляют к спине. (...) В конце концов все мною изобретенное, одно раньше, другое позже, воплотилось в жизнь — но не мною и столь бездарно, что и сказать нельзя. Понятно, что это отбило у меня всякую охоту самому заново разрабатывать идею. Когда появились искусственные ногти и манекены-аквариумы, раздались голоса: "Это в духе Дали!". И на том спасибо!"

Дали был оригинален и эксцентричен, но его оригинальность, как это ни покажется странным, основывалась на здравом смысле и на прекрасно развитом, вполне в духе Сервантеса или Рабле, чувстве юмора. Он был веселым, жизнерадостным человеком и тонко подмечал, особенно в области искусства, различные несуразности и нелепости. Вот пример его оценки колеблющихся, на проволоке или веревке, конструкций американского скульптора-абстракциониста Александра Кольдера (в книге "Дневник одного гения" переводчик называет его Кальдером): "Свой памфлет я назвал "Рогоносцы старого современного искусства", но я не успел там сказать, что наименее достойные рогоносцы из всех — это рогоносцы-дадаисты. (...) И все-таки есть порода рогоносцев, ведущих себя еще более недостойно, чем эти маразматические старцы, — я говорю о рогоносцах, присудивших Кальдеру премию за лучшую скульптуру. Этот последний, вопреки широко распространенному мнению даже не является дадаистом, и никто так и не удосужился ему разъяснить, что самое минимальное, скромное требование, которое правомерно предъявлять скульптуре, — это чтобы она уж по крайней мере не шевелилась!"

1940—1948 годы, проведенные Дали и Галя в Америке, были для них и возможностью спастись от ужасов второй мировой войны, и условием активной творческой работы, которая как никогда была связана с заказами, деньгами и безудержной, на американский лад, рекламой. Дали писал, мастерил, устраивал балы, шоу и различные мистификации, а Галя вела всю посредническую и финансовую работу. Для этого нужна была рекла-

ма, и Дали занимался ею, не только понимая ее необходимость, но и просто по складу своего характера — острого, ироничного, взрывного, склонного к театральным эффектам и представлениям. Его часто упрекали за это и критики, и друзья, и враги.

Вот как он сам ответил на эти упреки в "Дневнике одного гения": "Трудно удерживать на себе напряженное внимание мира больше чем полчаса подряд. Я же ухитрялся проделывать это целых двадцать лет, и притом каждодневно. Мой девиз гласил: "Главное, чтобы о Дали непрестанно говорили, пусть даже и хорошо". Двадцать долгих лет удавалось мне добиваться, чтобы газеты регулярно передавали по телетайпам и печатали самые что ни на есть невероятные известия.

Париж. — Дали выступает в Сорбонне с лекцией о "Кружевнице" Вермера и Носороге. Он прибывает туда на белом "роллс-ройсе", набитом тысячами белоснежных кочанов цветной капусты.

Рим. — В освещенном горящими факелами парке княгини Палавичини Дали воскресает, неожиданно появляясь из кубического яйца, испещренного магическими текстами Раймондо Лулли, и произносит по-латыни зажигательную речь.

Герона, Испания. — В Обители Пресвятой девы с Ангелами Дали только что вступил в тайный литургический брак с Галой. "Теперь оба мы существа архангельские!" — заявил он.

Венеция. — Гала и Дали, наряженные великанами девятиметрового роста, спускаются по ступенькам Дворца Бейстеги и вместе с шумной приветствующей их толпой танцуют на главной площади города.

Париж. — На Монмартре, прямо напротив мельницы "Ла Галетт", Дали, стреляя из аркебузы по гравировальному камню, создает свои иллюстрации к "Дон Кихоту". "Обычно, — заявляет он, — мельницы делают муку — я же собираюсь из муки делать мельницы". Заполнив мукою и смоченным типографской краской хлебным мякишем два носорожьих рога, он с силой выстреливает всем этим и выполняет свое обещание.

Мадрид. — Дали произносит речь, где приглашает Пикассо вернуться в Испанию. Начинает он со следующего заявления: "Пикассо испанец — и я тоже испанец! Пикассо гений — и я тоже гений! Пикассо коммунист — и я тоже нет!" Так относится Дали ко всем своим экстравагантным выходкам и поступкам.

Самым грандиозным событием в его жизни стало открытие собственно-го музея 23 сентября 1974 года в его родном городе Фигеросе. Дали всю жизнь занимался не только рекламой собственного творчества, но и самого себя рассматривал как объект рекламы. Его фотографии, сделанные выдающимися мастерами, обошли многие крупнейшие издания мира, а когда в американском журнале "Time" в 1933 году на обложке появился портрет, сделанный Мэном Реем, стало понятно, что его образ покорила не только Америка. В каких обликах и видах он только не снимался, включая и собственный автопортрет с закрученными усами в образе Моны Лизы. Его творчество и его облик получили завершенное представление для публики в созданном под его наблюдением музее, в городе, где он родился.

Здание муниципального театра, разоренное и заброшенное со времен гражданской войны в Испании, превратилось в здание театра одного акте-

ра и одного художника — Сальвадора Дали. Здесь все, начиная от сквера перед входом и кончая внутренней площадью, раньше занимаемой партером, играет пьесу, написанную, отрежиссированную и поставленную Сальвадором Дали. Обходные галереи вокруг лож, которых нет, а вместо них стоят в нишах скульптуры, превратились в выставочные экспозиции, заполненные преимущественно графикой Дали. Все комнаты и подсобные помещения превращены в выставочные залы, наполненные бесконечным количеством различных предметов, каждый из которых имеет свой фокус, свою загадку, свое неожиданное для зрителей решение.

Здесь вы увидите и выставленный "Возбуждающий пиджак", обвешанный рюмками с ликером; и "Ретроспективный бюст женщины" с французским батоном на голове, с муравьями на лице и со свешивающимися по плечам початками кукурузы вместо женских кос; и "Венеру Милосскую" с выдвигаемыми ящиками; и антикварное кресло со спинкой, куда вмонтирован в форме круга эффектный пейзаж; большое количество предметов декоративно-прикладного и ювелирного искусства; комнату Мэй Уэст, куда вы входите, поднимаетесь по лестнице и видите объемный, с реальными предметами, будто оживший в "волшебном фонаре", интерьер знаменитого графического листа Дали: "Лицо Мэй Уэст, которое можно использовать как квартиру".

Центральная часть музея, где раньше был партер, превращена в зимний сад под куполом, а в центре стоит старый "кадиллак", одна из машин, на которой ездили Галя и Дали по Испании и в Европу, и, если вы опустите монетку в специальный механизм, то внутри "кадиллака" прольется дождь — такой своеобразный "фонтан в центре зала" придумал Сальвадор Дали. Музей всегда полон посетителей, постоянно расширяется и пополняется работами Дали.

Помимо портрета Галя с обнаженной грудью, называемого "Галарина", и других изображений, относящихся к образу Галя, на том месте, где находилась раньше сцена, экспонируется задрапированный тяжелыми, массивными шторами из темно-красного бархата портрет Галя — "Леда с лебедем" (Атомная Леда)". А площадь перед зданием театра по настоянию Дали будет переименована, и теперь ее название: "Плща Галя и Сальвадора Дали".

Галя являлась для Дали и Дульсинеей Тобосской, и Санчо Панса одновременно. Дали стал единственным художником в мире, кто свои работы подписывал: Галя Сальвадор Дали, соединив в знак величайшей любви и уважения свое имя с именем своей жены. Вот как он сам описывает свое впечатление от Галя в 1929 году, когда они встретились: "Я подошел к окну. Она стояла на берегу. Вы спросите: "Кто?" А я скажу: "Не перебивайте!" Она стояла на берегу — и этого было достаточно. Галя, жена Элюара. Это Она! Галюшка возрожденная! Я узнал ее по обнаженной спине. Это ее кожа, нежная и гладкая, как у ребенка. Эти выступающие ключицы сильные, как у молодого атлета, спинные мышцы — и женственно плавная, изящная линия бедра. Контраст между ними подчеркивала тонкая, может быть, слишком тонкая талия — мастерский, завершающий штрих! (...) И она сказала: "Дитя мое! Мы никогда не расстанемся!" Ей было предназначено стать моей Гравседой,

той, что идет впереди, моей победой, моей женой. Но прежде она должна была вылечить меня — и вылечила”.

Гала стала женским образом огромного количества картин Дали, от первой их встречи до ее смерти. Первый ее портрет Дали написал на почтовой открытке в 1931 году. Затем, в разных обличиях, начиная со своего прямого портретного изображения и до картины “Три знаменитые загадки Гала” (1982), законченной за несколько недель до ее смерти, Дали писал ее многократно. Но все его увлечения различными художниками, например Леонардо да Винчи, Рафаэлем, Веласкесом, Милле, нашли отражение в таких знаменитых работах, как: “Гала и “Вечерняя молитва” Милле перед неминуемым пришествием конических анаморфозов” (1933), где, неясно почему, написан портрет Максима Горького с омаром на голове, “Вечерняя молитва Гала” (1935), “Галарина” (1944—1945), где ее имя связано с именем Форнарины — легендарной возлюбленной Рафаэля, “Моя обнаженная жена, наблюдающая, как ее тело превращается в ступеньки, колонны, небо и архитектурное сооружение” (1945), “Три лица Гала на скалах” (1945), “Атомная Леда” (1949), “Мадонна Порт-Лигата” (1949), “Галатея со сферами” (1954), “Портрет Гала с “носорожескими” признаками” (1954), “Дали со спины, пишущий Гала со спины” (1972—1973), “Гала, глядящая на Средиземное море, превращается на расстоянии двадцати метров в портрет Авраама Линкольна” (1976), “Дали, приподнимающий поверхность Средиземного моря, чтобы показать Гала рождение Венеры” (1977).

Здесь названа только часть картин Дали, запечатлевших Гала, но и названного достаточно, чтобы заметить, как велико было ее влияние на жизнь и творчество художника. Сами названия этих картин отражают разные этапы творчества Дали, его увлечения и бесконечные эксперименты с красками, сюжетами, композиционными приемами и оптическими эффектами. Гала неизменно поддерживала все его безумства, и часто вместе с ней он находил им чеканную художественную форму. Ее вкус соответствовал вкусам мадам Коко Шанель, с которой она и Дали дружили. Поэтому все экстравагантности этой пары, как бы они ни были вызывающи, никогда не были вульгарны. Правда, Гала, ведя сложное семейное хозяйство и обеспечивая Дали всем, необходимым ему для жизни, творчества и вдохновения, допустила, вольно или невольно, серьезную оплошность, когда разрешила художнику подписать своим именем большое количество чистых листов, на которых потом другими людьми были сделаны работы “под него”, которые затем продавали как подлинные. Это вызвало судебные процессы и омрачило их жизнь последних лет. После того как Гала умерла в 1982 году, Дали тихо, затворнически шел к своему закату. Он перестал писать и что-либо делать в 1983 году, а 23 января 1989 года умер.

Его произведения живут своей особой жизнью, и совершенно ясно, что каждый из нас, будь то неискушенный зритель или самый вьедливый искусствовед, будет по-своему воспринимать и объяснять творения великого испанца. И в этом нет ничего удивительного. Как раз этого и хотел сам художник, и это тоже своеобразный “далианский” эффект, подготовленный для нас Сальвадором Дали.

Он хотел показать нам, что то, что мы видим, на самом деле имеет свою скрытую внутреннюю тайну, а то, что скрыто, может быть более существ-



Агонизирующий Веласкес слева за окном,
в точке, из которой исходит плавание. 1982.

венным для человека и, подчас, кошмарным и отвратительным. Поэтому сюрреализм Сальвадора Дали, обнаживший в зримых образах то, что на самом деле невидимо, но существенно, — учит нас не верить тому, что видишь в реальности. Сюрреализм Дали говорит нам о том, что все это ложь, фальшивая красочная оболочка для прикрытия действительно реального, которое может быть омерзительным, суровым и безжалостным, когда обращается к судьбе отдельного человека, а может быть и прекрасным, когда обращается к Всевышнему.

Он любил чай и сам ходил по воду с брезентовым ведром. Однажды, возвращаясь, он лез через бруствер, и осколок попал ему в грудь. Уже мертвый, он так медленно сползал на дно траншеи, что мы успели принять ведро, не пролив ни одной капли. Могилу мы вырыли шагах в тридцати от дороги, чуть ближе к Неве, на пологом склоне холма. Воткнули кол, чернильным карандашом написали имя, отчество и фамилию, и еще слово "Батя" — так звали его в батарее. Он был старше нас, даже старше капитана Белоусова, и мы считали его стариком. А сегодня я и сам понимаю, что сорок пять лет еще не возраст. Потом мы вскипятили воду, выпили его чай и снялись с места. В тот день нас бросили в прорыв.

Это было осенью сорок третьего года. Когда через двадцать лет я вернулся на это место, тоже была осень.

Мне казалось, что если меня привезут сюда ночью, с завязанными глазами, я спрошу только, где юг и где запад, а потом пойду по земле, на

ОБЕЖ

память перешагивая окопы. Я повернулся в сторону Восьмой ГЭС, и мои завязанные глаза опять налиются ненавистью и страхом, потому что эту проклятую ГЭС мы никак не могли взять, а оттуда они видели и деревню Марьино, и Белявские болота, и Шлиссельбург, и даже Ладогу, а с другой стороны, в сильные бинокли, — Колпино. Восьмая ГЭС была их глазами и нашей смертью.

От Володарского моста я доехал до нее речным трамваем, битком набитым туристами, высадился на левом берегу и пешком пошел назад, к лесопарку. И конечно, ничего не узнал. Только карты бывают вечными. Часа три я бродил по незнакомой земле, пока нашел старую дорогу, а пройдя по ней, — остатки нашей траншеи и что-то похожее на землянку Белоусова.

А потом я увидел серый обелиск. Он был без имени и без фамилии. Могила Неизвестного солдата. На сером постаменте лежали цветы, одна астра была в стеклянной банке, до половины наполненной водой. И мне стало как-то не по себе. Я еще раз отмерил тридцать шагов от старой дороги, убедился, что стою на том самом холме, и понял, что здесь лежит Батя.

Говорят, у нас много безымянных могил, но я стоял у этой одной. Мне хватило ее по горло.

Мы звали его Батей, и этого достаточно, чтобы понять, кем он был. Он попал на батарею не сразу, месяцев через пять после начала войны, и пробыл с нами полтора блокадных года. Кто был тогда в Ленинграде, тот знает, много это или мало. Мы привезли его с капитаном Белоусовым прямо из госпиталя, из батальона выздоравливающих. Его и Черняка. К тому времени от батареи осталась половина, и мы нуждались в пополнении.

За Черняка попросил Батя. Черняк был ранен в бедро и, кроме того, у него еще не гнулся указательный палец. Он сидел в красном уголке, играл на пианино и держал палец, как орудийный ствол. “Артиллерист?” — спросил Белоусов. Черняк ему что-то ответил, и голос его оказался неожиданно сильным. До войны он работал актером в театре, хотя я не понимаю, как его взяли в театр, потому что он картавил. У нас его сделали воздушным разведчиком, и он кричал на всю батарею: “Воздушная тгевога!”

У Черняка были длинные вьющиеся волосы. В первый день войны он пришел в военкомат с зонтиком. Его направили в ополчение, и там он познакомился с Батей. Вместе они были на формировке и вместе ходили в атаку под Лугой. Черняк жался к Бате и орал, как орали все, а потом потерял сознание. Все это рассказывал он сам, смешно представляя

и себя, и то, как он жался к Бате, и как волочил тяжелую винтовку. Рассказы Черняка были для нас эстрадными представлениями, и Васька Зинченко в благодарность дарил ему из своих подозрительных запасов немецкие сигареты. И каждый раз Черняк серьезно говорил Ваське: “Вы вгнули мне стакан квови!” Васька был блатным парнем, его приводили в восторг слова Черняка. “Усохнешь!” — говорил Васька.

И еще я помню, как к Черняку приезжала из Ленинграда маленькая грустная женщина, его жена, и он встречал ее словами “Ты жива еще, моя стагушка? Жив и я, пгивет тебе, пгивет!”, а капитан Белоусов уступал им свою землянку. Женщина была на каблучках, и на этих же каблучках она стояла у гроба, когда в сорок втором, зимой, мы хоронили Черняка, а Батя ей говорил: “Замерзнешь ведь, дура, замерзнешь”.

Вообще-то Батя был удивительно молчалив. То, что он проделал после той атаки под Лугой, нам рассказал Черняк. Эта история ходила потом как легенда, и я до сих пор не знаю, верить в нее или не верить, тем более что сам Батя относился к ней так, словно речь шла о другом человеке. Но история была очень на него похожая.

Ополченцы, захватив окопы, нашли немецкий миномет и несколько ящичков с минами. Не помню точно, то ли гранаты у наших кончились, а немцы готовили контратаку, то ли еще что, но пришла пора приняться за трофейное оружие. Стрелять из миномета не велика премудрость, но беда была в том, что из ствола торчала застрявшая мина. Стоило ударить по взрывателю рукой, и “похоронная” обеспечена. И вот тогда Батя подошел к миномету. Он постоял рядом с ним, посопел и вдруг лег на землю, задрал гимнастерку и оголил живот. Живот у Бати, надо прямо сказать, был толстый. Все вокруг залегли, а кто-то из самых отчаянных ребят, вроде нашего Васьки Зинченко, перевернул миномет, нацелил взрывателем в батин живот и стал осторожно постукивать сверху, пока мина, скользя, не тюкнулась по касательной в пузо. Тюкнулась — и ничего. И все встали. И Батя встал. Оправил гимнастерку и пошел на свое место, словно только что забил гвоздь, который не забивался, или вытащил занозу, которая не вытаскивалась.

Это случилось тогда, когда Батя еще не был нашим Батей, потому что мы находились километрах в пятидесяти от него, под Невской Дубровкой, занимая самую неудачную позицию из всех возможных боевых позиций. Вспоминая сейчас время, прожитое батареей до Бати, я просто не понимаю, как уцелела от нас половина, как всех нас не перебили на той поляне.

Мы были кадровой частью. Шестьдесят солдат, четыре офицера и четыре пушки. Батарея зенитного полка. Еще до войны мы стояли лагерем на берегу Ладожского озера, а в первых числах сентября когда немцы замкнули кольцо, наш полк бросили на передовую. Тогда и началась для нас настоящая война. Мы били и по самолетам, по танкам, и по пехоте.

В первый бой мы ехали как на парад. В трехтонках. У каждого каска на голове, винтовка между колен, противогаз, ранец за плечами и лопатка на боку. И за нами — пушки. В точном соответствии с Бузой, как называли мы Боевой устав зенитной артиллерии. Наш командир, капи-

тан Баукин, был крест-накрест перепоян ремнями, а через плечо у него висел фонарь с аккумулятором. Мы казались сами себе очень сильными и мужественными, мы пели песни, и настроение было отличным. Наконец-то, мол, пришел и наш черед. Наконец-то мы им покажем. Мы боялись опоздать на фронт.

Нам было в среднем по девятнадцать лет, а молодость защищена от предчувствий. Помню, один только Федя Ковырин заплакал, когда объявили войну. Мы были убеждены, что его вызовут в особую часть, но его почему-то не вызвали. Он заплакал, а потом сел и написал домой с десятком писем, свернул их треугольничками и раздал нам. Он всегда регулярно писал домой письма, длинные и обстоятельные. А эти были без дат. Даты мы должны были ставить сами. "В случае чего", — сказал Федя. Ему было тридцать лет, он успел повоевать на Халхин-Голе, и у него было трое детей. Он явно понимал что-то лучше нас, а мы еще не знали, как часто умирают на войне солдаты.

Не помню точно из-за чего, но сорок километров мы ехали ровно сутки. К вечеру нам попались первые раненые. Они шли оттуда, человек двадцать, с сестрой впереди, одетой в телогрейку и вооруженной автоматом. По совести говоря, она одна имела более боевой вид, чем вся наша батарея. Ко мне подошел солдат с перевязанными руками и попросил закурить. "Сверни, — сказал он. — Послунявь. Едете? Ну-ну..." Сквозь его повязки сочилась кровь, но у солдата был странно спокойный вид. Потом мы увидели первые трупы. Я помню четырех ребят, они лежали у дороги, лицом вниз, в одних гимнастерках и без сапог. У них были желтые пятки. Как раз в это время нам запретили курить, а петь мы перестали сами.

Выехали на опушку леса. Наступила ночь. Ни немцев, ни наших. Капитан Баукин при свете фонаря что-то сверил по карте, мы проехали еще с километр, а потом он скомандовал по уставу: "Ор-рудия к бою!" Позже мы выбирали позиции уже не по карте, а по возможностям укрыться и уцелеть.

Баукина мы не любили. Когда он говорил, у него, как у куклы, двигалась только нижняя челюсть. Отвалится — и на место. Отвалится — и на место. До нас он числился в штабе противовоздушной армии на какой-то канцелярской должности, а за год перед войной его прислали к нам командиром. Прежнего перевели с повышением в дивизион, кого-то из дивизиона в полк, а кого-то из полка в армию. Такой получился круговорот. Баукин пришел выбритый, выглаженный и строгий. Это было под вечер, мы сидели в "ленинской комнате". Он принял рапорт дежурного, потом взял домру. Побренчал на ней и спросил, кто умеет играть на гитаре. "Куликов", — сказали ребята, и Вадка Куликов встал. "Давайте сыграем дуэтом "Светит месяц", — предложил Баукин. Куликов помялся, а потом сказал, что весь день работал на кухне и хочет спать. Кто работал на кухне, имел право спать и даже получал освобождение от стрельбы: работа была адова. "Но "Светит месяц" вы играть умеете?" — спросил Баукин. Куликов, чтобы отвязаться, сказал, что не умеет. И пошел из "ленинской комнаты". У Баукина отвалилась челюсть, и несколько секунд он не возвращал ее обратно. Потом встал по

стойке смирно, побледнел и сказал: "Рядовой Куликов! Вернитесь! Возьмите гитару и играйте со мной дуэтом "Светит месяц!" Мы сидели притихшие, поворачивали головы от одного к другому, а потом слушали, как они играют дуэтом "Светит месяц": Куликов на гитаре, а наш новый комбат на домре.

После этого случая Баукину уже ничто не могло помочь. Он проходил вместе с нами по сорок километров в день, лежал в грязи, таскал пушки и давал нам увольнительные в город, но "Светит месяц" оказался сильнее. Теперь я понимаю, что мы были не очень справедливы к нему, но так уж мы были тогда устроены.

Кроме домры, у Баукина была еще одна страсть. Он любил высшую школу верховой езды. У нас была единственная лошадь, старая белая кляча, которая едва таскала ноги. Старшина Борзых возил на ней воду. Борзых был зайкой, но есть два типа зайк, одни в себя, другие из себя, и Борзых был как раз из себя, и поэтому "Н-н-но!" получалось у него замечательно. Правда, к нему он почему-то добавлял: "Вперед и без оглядки!" Еще Борзых играл на баяне и пел песни. У него был бас, но пел он высоким тенором, чаще всего "Хаз-Булат удалой", особенно налегая голосом на то место, где "в ту ночь она мне отдалась". На белой лошади Баукин и занимался вольтижировкой. Под музыку. На полигоне. А мы ходили смотреть. Когда он садился на клячу, она вся преображалась, выгибала шею, поджимала живот и начинала гарцевать. Наверное, она служила когда-то в кавалерии, и ей приятно было вспомнить молодость. А музыкой обеспечивал тот же Борзых. Баукин брал его на полигон, и Борзых на казенном баяне играл им "Амурские волны".

Я плохо говорю о Баукине, но он сам в этом виноват, а мы были слишком молоды, чтобы нам хватало доброты. Ведь Баукин тоже остался лежать там, куда нас привел.

Слева была дорога. Далеко позади лес. А мы оказались в чистом поле. Поставили орудия, отгоризонтовали их, понатыкали молодых деревьев вокруг пушек, вроде бы создали рощу. И, конечно, не окопались. На рассвете впереди замаячила кромка леса. Потом выяснилось, что лес был за немцами, они ближе. Представляю себе их удивление: проснулись, сыграли на губной гармошке и вдруг увидели прямо перед собой рощу молодняка. Вечером ее не было, утром появилась.

И мы услышали: "Треск! Треск!" — сначала перед нами, а потом за спиной. Мы ничего не поняли, хотя сами были артиллеристами. Только Федя Ковырин сказал: "По нам бьют. Из минометов". И пошел к Баукину. Баукин в это время стоял на пригорке с биноклем у глаз. Рядом с ним, как на учениях, за синей фольгичной тумбочкой — даже тумбочку взял с собой — сидела телефонистка Рая Сулимова. Я видел, как Федя почти подошел к Баукину, и в этот момент раздался особенно сильный сухой треск, и на том месте, где был Федя, возник огненный факел и тут же погас. А Федя просто не стало, он исчез навсегда, и в политотделе потом спорили, посылать ли жене "похоронную" или "пропал без вести". Куда в это время делся Баукин, мы не заметили. А у Раи Сулимовой вдруг стали вытягиваться губы, и на наших глазах она побелела. К ней подбежала Валька Козина и как-то очень буднично, по-домашнему за-

трясла за плечи: "Рая! Райка! Раечка!" Противно запахло порохом, но мне трудно объяснить, как именно, и это правду говорят, что кто не нюхал пороха, тот не поймет.

И буквально через минуту появились "юнкеры", мы даже не успели ничего сообразить. Их было штук шестьдесят, они шли колонной и по очереди срывались в пике. Перед этим каждый самолет делал в воздухе горку, и это место на небе словно было для них обозначено. Мы все попадали, кто куда, командиров не было видно, а замполит стоял на коленях с наганом в руке и водил головой, следя за самолетами, как будто за галками. Потом пропал и он. Мы лежали кучей, человек семь, нога к ноге. Справа от меня кто-то сильно дрожал, как только "юнкеры" начинали пикировать. Я чувствовал эту дрожь ногами, и сам начинал дрожать, и от меня, как электричество, дрожь шла по ногам к остальным. Мой разум продолжал работать, мне было стыдно и за себя, и за товарищью, но я ничего не мог поделать, и мы всей кучей сильно дрожали. И вот тогда поднялся сержант Лукшин, наш тихоня Колька Лукшин, командир второго расчета, и, как в кино, сказал: "Батарея, слушай мою команду!" Сколько я помню Лукшина, он никогда не повышал голос, даже сейчас. И его просто никто не услышал. Кроме меня. Мы глупо стояли одни под бомбежкой, в полный рост, и не знали, что делать дальше. Потом Коля все же сообразил, бросился к пушке и стал ее сам заряжать. Тогда все ребята повскакали на ноги, и мы открыли такой бешеный огонь, что в тридцать минут расстреляли запас снарядов и даже то, что полагалось на самооборону. И один "юнкер", горя, рухнул в Белявские болота.

Но тут без передышки налетел второй эшелон, и это было по-настоящему страшно. Когда лежишь на земле и ничего не делаешь, не носишь снаряды, не кричишь "Цель поймана!", не работаешь и не стреляешь, а только ждешь, и смотришь в небо, и видишь жуткие черные свастики, берет злоба и такой страх, ну такой звериный страх, что хочется выть по-собачьи. Я всеми силами вжимался в землю. А рядом со мной в небольшой ячейке, как покойник в гробу, лежал на спине Никита Шлягин, и вдруг он спросил: "Как ты думаешь, здесь грибов много?" Я не сходил с ума, это я точно знаю, но я ответил, пожав плечами: "Одни опята, а белых нет..." Потом я увидел, как на том месте, где находится третий расчет, вдруг образовалась большая воронка и из нее высунулся согнутый ствол пушки. Мы называли этот расчет "птичьим", или "шесть с половиной", потому что в нем, как по заказу, собрались три Воробьевых, два Синициных и полтора Куликовых, наш гитарист Вадька Куликов и командир орудия Сережа Кулик. Он единственный и остался в живых и, выскочив из воронки, закрыв руками голову, бросился через все поле назад, к лесу, и больше не вернулся, и мы решили о нем не вспоминать.

В разгар бомбежки к нам приполз офицер из соседнего полка. Он ползал между нами и кричал: "Где командир? Где командир?" Ему никто не отвечал, и он психанул, вытащил "ТТ" и стал орать: "Почему не стреляете?! Что значит "нет снарядов"?! Штыки есть?! Штыками надо!" Потом осекся, увидев наши орудия, а мы смотрели на него, как на кар-

тонного. Когда “юнкерсы” улетели, на артобстрел уже никто не обращал внимания. Мы поднялись, отряхнулись, увидели, кто живой, а кто раненый, и стали искать командиров. Замполита узнали по планшетке, а Баукина нашли метрах в двадцати от пригорка, в кустах. Он был совершенно целый, но без кровиночки в лице и с единственной крохотной дыркой над правым глазом.

В полдень пришел Белоусов. Никто не видел, как и откуда. Просто появился и ходил среди нас незнакомый капитан с довоенным орденом Красного Знамени, помогал таскать раненых и сказал, что будет вместо Баукина. Он был маленький и кривоногий, с орлиным профилем, его черные и прямые, как у индейца, волосы были неровно пострижены на лбу.

К вечеру, похоронив ребят и Раю Сулимову, мы перебрались на другую позицию. Труп комбата Белоусов решил взять с собой. На новом месте мы тут же завалились спать, не снимая касок, к ночи выпались и только потом окопались — до самой воды. А утром из штаба армии приехала делегация и привезла венки из искусственных цветов. Нас построили у гроба Баукина, мы слушали речь командира полка, а Баукин лежал, как всегда, строгий, сложив руки на груди. За последние сутки у него, уже мертвого, выросла щетина, и я представил себе, что если бы удалось его сейчас оживить, он бы первым делом побрился. Он во всем любил порядок, и поэтому мы вычистили пушки прежде, чем дать салют.

А потом наступила зима. Был серый-серый снег, на сантиметр покрытый гарью и копотью, и, когда рвались мины, получалась белая воронка, и через пять минут ее прямо на глазах опять затягивала гарь.

Наши позиции находились теперь против Белявских болот, через Неву, чуть левее Восьмой ГЭС. На нее, проклятую, как раз и пришелся залп, который был салютом. Белявские болота торфяные, и начиная с весны до глубокой осени на них стояла вода. Ровными и четкими квадратами, как на рисовых полях. Батя говорил, что до войны там водились жирные караси. А сейчас, зимой, вода на болоте замерзла, все покрылось снегом, и получилось огромное голое поле, в котором даже кустика не найдешь, чтобы укрыться. Оно оживало только по ночам, и то невидимо для глаза, когда выходили разведчики, немецкие и наши, а минеры делали им проходы. Разведчики натякались друг на друга, открывали стрельбу, обе стороны тут же пускали ракеты, и тогда минут на пятнадцать начинался общий ночной переполох. А к утру здесь все замирало, нельзя было носа высунуть, и мы сидели в укрытиях, как кроты. Разведчик, застигнутый в поле рассветом, должен был до ночи лежать в снегу, и, бывало, рядом с ним, в каких-нибудь пяти шагах, так же неподвижно лежал немец.

Мы жили в землянках, а по землянкам можно судить, как долго держится оборона. Если землянка в два наката, и вход завешан плащ-латками, и нары с проходом в штык шириной, и в углу свалено солдатское добро, считайте, обороне нет и недели. А если стены обшиты колотой осиною, пол выложен досками, у входа навешана дверь да и накатов три или четыре, разговор уже другой. К исходу пятого месяца мы таскали в землянки, как в дом, все, что нам попадалось в округе: примусы, столы, стулья, даже ковры. А Васька Зинченко припер плюшевый диван, который у кого-то на что-то выменял.

Зато Батина земляночка с самого начала была с окном и в пять накатов. Потому что Батя раньше нас понял, что войне быть не день и не год, что здесь нам будет и фронт, и дом родной, и, может статься, могила, а по всему поэтому нужно наладить какой-никакой, а быт.

Я помню, как нас стриг Батя. Вообще-то нас стриг Женя-парикмахер, но это было раньше, когда мы лагерем стояли на берегу Ладожского озера. Перед тем как стричь, Женька обязательно спрашивал: “Уважаете с музыкой или без?! — и, если мы уважали с музыкой, выстукивал ножницами кукарачу. У него были длинные каштановые баки, узкие плечи и форменным образом птичья грудь. Китель — сорок второй размер, иначе говоря, детский, а у Лешки Гусарова, для сравнения, шестидесятый, и даже летом Лешка ходил в валенках, потому что сапог его размера не нашлось во всей армии. Женьку еще до войны знала Валья Козина: оба они из Одессы. Он числился при штабе дивизиона и, когда нас отправили на передовую, фактически остался без работы. Бриться мы стали сами, а постригаться бросили совсем. Тогда Женю, вроде бы по совмещительству, сделали почтальоном. Он приносил на батарею письма, заставлял нас танцевать и спрашивал: “Уважаете полечку? Или, может быть, полубокс?” — такой у него был юмор.

А потом он взял в плен немца. Смеху было на всю армию. Шел он с передовой в штаб дивизиона и метрах в двухстах от штаба столкнулся с немцем. Потом Женька, конечно, врал нам с три короба, а на самом деле он бросился бежать и немец еле-еле его догнал. Догнал и вручил автомат. Тогда только Женька сообразил, что не немец его, а он немца должен отвести в плен. И повел. Это был первый на нашем участке переребечник, и мы ходили на него смотреть. Он был штрафником, у них тоже имелись штрафные роты, а сдаваться пехоте не рискнул: могли сгоряча прикончить. Вот и дождался Женю. Допрашивал пленного Ганс Муллер, или Мюллер, а может, и Миллер, точно не помню, — переводчик из штаба полка, который еще до войны официально взял себе имя Александр Васильевич Суворов, а ребята называли его просто Сашей. Саша всем и рассказал, как было дело. Говорят, командир полка здорово смеялся, а потом все же представил Женьку к награде. Так Женька получил свою первую и последнюю в жизни медаль и стал легендарным почтальоном.

А Батя стриг нас, конечно, без кукарачи, одними ножницами, но ловко. Батя вообще все делал ловко, за что бы ни брался, даже если брался впервые в жизни. Мы так привыкли к этому, что однажды, когда он сел за руль грузовика и спокойно поехал, решили, что это от таланта, и только потом узнали, что до войны он работал шофером на Кировском заводе.

Как он стал нашим Батей и кто его так назвал, я, честное слово, не помню. Кажется, из-за какой-то истории с валенками. То ли Никита Шлягин, то ли еще кто из ребят снял однажды с убитого немецкого пулеметчика наши белые валенки. Вокруг того немца веером лежали убитые ребята из батальона морской пехоты, человек пятнадцать. Трудный был немец. А ноги его распухли, валенки не снимались, и пришлось их разрезать. Зашивал голенища Батя, — шов не разглядишь. Потом нас,

конечно, спрашивали, кто так сработал обувку, и мы отвечали: “Да батя один, из четвертого расчета”. Оттуда и повелось: Батя и Батя. Хотя, возможно, я что-то путаю, и тогда другая история с валенками дала ему имя. Это когда с Большой земли к нам пришла первая партия зимней обуви. Мы еще удивились, что по Дороге жизни, только-только открытой, повезли не еду, а обувь. Помню, встали в очередь к старшине Борзых, и каждый норовил подобрать себе самые новые валенки. Батя подошел одним из последних, постоял, посопел и взял старенькие. Старенькие, но подшитые. И они оказались теплее новых. Кто-то из ребят в сердцах сказал: “Ну, Батя, и мастак же ты!” С этого ли случая, с другого ли, но скоро без Бати мы шагу сделать не могли. Не было у него ни гулкого голоса, ни высокого роста, ни большой силы. Но разные люди по-разному о себе заявляют: одни громко — и на сутки, другие тихо — и на всю жизнь.

Лицо его было в частых оспинках и янтарного цвета, наверно, от рыжей щетины или оттого, что он любил крепкий чай. Глаза темные, глубоко посаженные, и смотрели они внимательно и чуть-чуть грустно. И квадратный был подбородок. Если Батя что делал, то делал неторопливо и солидно. Пушку чистил как для музея. А бегал он плохо, тяжело ему было бегать, и макушка у него была плешивая. Как-то после боя он тронул рукой сначала лысину, потом каску и коротко сказал: “Надежнее”. Кому сказал, неизвестно, может быть, самому себе. Но вот бывает так в жизни, что кто-то рядом с тобой что-то скажет, и вроде бы невзначай и вроде бы не очень существенное, а прозвучит для тебя как заповедь. Еще мальчишкой я бегал в сад “Эрмитаж” на танцы. И там однажды подошел ко мне пожилой человек и вдруг сказал: “Юноша, обратите внимание на свой вкус”. И ушел. Какой это был человек, я не помню, и что он имел в виду, не знаю, — то ли мой костюм, то ли спутницу, то ли сам факт, что мы ходили на танцы. Но даже сейчас — а ведь тридцать лет уже пролетели — я вспоминаю эти слова каждый раз, когда надеваю галстук, или смотрю фильм, или читаю какую-нибудь книгу. Батя тоже умел как-то так произнести слова, что они получали дополнительное значение. С тех пор я с каской не расставался, даже на отдыхе. Я дважды был благодарен Бате, потому что дважды в нее попадали осколки.

А Леша Гусаров ходил без каски. И без сапог. В конце концов Батя сшил ему сапоги, когда Васька Зинченко достал кусок хрома, а перед этим даже колодочку сделал и три примерки. Но походил Лешка в тех сапогах всего неделю.

Он был похож на молодого Горького и говорил на “о”, хотя родился и вырос в Москве. До войны Лешка служил в милиции, стоял у “Сокола”, у трамвайной остановки, но штрафов не платил, потому что у него было доброе сердце. Был он такой сильный и такой громадный, что во всем полку второго не сыщешь. Два метра росту, килограммов сто весу и круглая, добрая физиономия, на которой постоянно блуждала улыбка. Когда его первый раз ранило и осколок вонзился между лопаток, он как стоял у пушки, так и остался стоять, только побледнел. У нас был заряжающим Малаткин, бурят, потомственный охотник и тигролов, с бешеной реакцией человек. Он со всего размаха, как пантера, прыгнул к

Лешке, вцепился руками в осколок, вырвал его и вместе с ним упал на землю. Гусаров даже в медсанбат не пошел. Он был у нас образцовым солдатом, его ставили нам в пример. Когда мы строем шагали в баню, то пели полковую песню, и там были слова: “Таких, как Лукшин, командиров, таких, как Гусаров, солдат”. А высокое начальство величало Лешку по имени-отчеству. Приедет какой-нибудь генерал, обязательно подойдет к правому флангу, пожмет Лешке руку и громко спросит: “Как служба, Алексей Федорович?” — и отправится дальше, не дожидаясь ответа, а у Лешки вот такая физиономия: доволен.

Гусаров погиб в сорок третьем, после прорыва блокады, чуть ближе к весне. Мы стояли тогда на самих Белявских болотах, и, когда падали снаряды, взрывов почему-то не слышали, а только чувствовали, как под ногами ходит земля. Вот так однажды земля качнулась, и больше вроде ничего и не было, но Лешка вдруг поднял руки, обнял ими непокрытую голову и медленно опустился на землю. Надо же, крохотный осколочек убил такого большого человека. А у нас уже досок не было, чтобы сколотить ему гроб, и мы прямо так его хоронили.

Смерть на войне не то что смерть дома. Ни предчувствий, ни болезней, никакой подготовленности. И хоть постоянно ты рядом с ней, приходит она неожиданно. Стоял рядом Лешка Гусаров, живой и здоровый, что-то говорил, потом я взял его руку, а рука чуть теплая. И не надо вызывать телеграммами родственников, не нужно получать справок и печатей, ни заказывать оркестры, ни стоять в почетном карауле. Расковыряли землю, потом засыпали, воткнули кол — и нет человека. А батарея должна жить, должна стрелять, и поэтому, сколько бы мы ни теряли ребят, через день или через неделю нас опять становилось шестьдесят солдат, четыре офицера и четыре пушки. Мы к этому привыкли, потому что иначе нельзя было, и к чему только не привыкает солдат на войне.

Год назад умерла моя мать. Я часто думаю о ней, она со мной без всяких напоминаний. Она может ночью явиться ко мне и никогда не напугает, а только обрадует.

В моем доме все осталось так, как было при матери. В шкафу висят ее платья, на дне коробочки с вазелином отпечатки ее пальцев, и с портрета на стене она смотрит на меня живыми глазами...

А что там оставалось от людей? Кружка? Так из нее уже кто-то пил. Автомат? Так из него уже кто-то стрелял. Ранец? Так в него уже клали чьи-то портянки. Все было в действии, в применении. А ведь секрет напоминаний кроется в вещах. Только вещи должны быть неподвижными, как в музее.

От Лешки Гусарова остался кусок черного хлеба со жмыхом наполовину, который мы разделили на весь расчет и съели. Голодали в ту пору крепко. Несли Лешку к могиле и чувствовали, что несем один его рост. Веса уже не было. А как было трудно вместе с весом не потерять человечность! Ведь на войне не только война — испытание. Чтобы до конца узнался человек, пуль и снарядов бывает мало. Даже смерти порой недостаточно. Нужен еще голод.

Нам давали в сутки, если сухим пайком, по двадцать граммов крупы. Мы ее тут же ели. Всыпали в котелки с водой, ставили на огонь и ва-

рили суп, который Малаткин называл "суп-дрова". Не знаю почему, но у нас была такая причуда: любую еду нагревать до кипения, чтобы рот обжигало. Наверно, для того, чтобы не торопиться и подольше есть. И чтобы теплее было на холоде. И еще нам казалось, что так сытней.

Однажды мы целые сутки простояли на отдыхе у Пискаревского кладбища. Мимо нас ленинградцы возили трупы.

О мертвых солдатах вспоминать могу. О детях — нет.

Были у нас два повара и кухня. Варили суп и кашу. Одного повара звали Трофимом Ивановичем, а другого — Иваном Трофимовичем. Мы называли обоих Трофимычами: Трофимыч Худой и Трофимыч Толстый. Работали они посменно: сутки один, сутки второй — трудная была у них работа. Когда подходила наша очередь чистить котлы, мы неделями хранили синие замерзшие скребки каши. Однажды Трофимыч Худой случайно заехал к немцам. Вместе с кухней и белой лошадей. То ли задумался он, то ли дорогу перепутал, но вдруг завернул к чужим окопам. А лошади было все равно. Мы обомлели, а немцы увидели, что идет к ним не танк и не самоходка, и пропустили без выстрела. Очнулся Трофимыч шагах в пятидесяти от окопов. Повернул тогда клячу на сто восемьдесят градусов, встал в полный рост, размахнулся кнутом, засвистел, как лихач-извозчик, и прямо так, со свистом и стоя, полетел обратно. С той стороны раздалась всего одна автоматная очередь, и, когда Трофимыч домчался до нас, весь суп из простреленного котла вытек. Суп на шестьдесят солдат и четырех офицеров. Обидно было.

А на белую лошадь мы уже давно смотрели нехорошими глазами. Мы ничего не говорили друг другу, но всем было ясно, что она помрет не своей смертью. Так и вышло. Два дня подряд батарея ела котлеты. Перепало и Жене-парикмахеру. Вообще-то он питался при штабе дивизиона, а на батареях его подкармливали повара. За письма. У нас Женька ел через день, потому что у Трофимыча Худого родственники жили в Сибири, а у Трофимыча Толстого — на оккупированной территории. А старшина Борзых от котлет отказался: отдал капитану Белоусову.

Я помню, как однажды Васька Зинченко где-то достал курицу. Она была синяя и очень худая. Васька договорился с одним из Трофимычей и варил ее в общем котле, привязав веревкой за ногу. Курицу съели ночью два оружейных расчета. Каждому досталось по глотку. И еще я помню, как за месяц до Нового года нам выдали сухим пайком по сорок граммов корейки. Мы решили ее не есть, сохранить до Нового года, устроить пир. Отдали на хранение Коле Васильченко. У него была металлическая коробка от довоенного кофе "Мокко". В эту коробку он на наши глаза положил четыренадцать порций. Каждая была завернута в газету. И на каждой была написана фамилия хозяина. Месяц мы о корейке не думали. Подумали — съели бы. А за два часа до Нового года собрались в одной землянке, у нас был спирт, и Коля, надев очки, открыл коробку. Мы знали, что должно быть четыре лишние порции, но едоки на них уже были, потому что незадолго перед этим пришло пополнение. Коля стал раздавать корейку, и вдруг оказалось, что порции с фамилией Черняка нет. А Черняк тогда еще был живой. Наступила тишина, мы не смотрели друг на друга. Вам этого не понять. Так и не знаю, куда де-

лась эта несчастная корейка. А Батя первым отрезал от своего куска тоненькую полосочку, и каждый из нас отрезал, и все это мы положили перед Черняком. Он ничего не сказал, он даже не сказал, что мы вернули ему стакан крови. Он просто отказался от нашей корейки. “Дурак, ешь!” — сказал ему Шлягин, но дело было совсем не в этом.

Шлягин, сколько я помню, всегда ныл. А воевал он хорошо. Зло воевал. Он был счетчиком трубки и кричал: “Сто пятнадцать! Сто пятнадцать! Сто пятнадцать!” — прямо слышу сейчас его голос. От него в бою многое зависело, и он первым в расчете получил медаль. Но слишком часто он ныл. Принесут на расчет кастрюлю каши, но обязательно скажет: “Эх, одному бы столько!” И еще он говорил, что после войны откроет в деревне собственный продуктовый магазин. Как при нэпе. “А что? — говорил он. — Нельзя? А почему? Что же тогда такое коммунизм?” В землянке у нас был бак с водой. Васька Зинченко как-то объяснил Шлягину: “Коммунизм — это когда вот этот бак будет до краев полный водки, а я — не хочу!” Шлягин долго смеялся: “Скажет ведь, чудака, не хочу!” Однажды принесли кашу, и он опять заныл. Нам это дело здорово надоело. Тогда мы решили его проучить. “На, жри!” — и отдали четырнадцать котелков. Шлягин удобно устроился, поставил перед собой котелки в три этажа и изогнутой ложкой стал есть. А мы молча смотрели. Каша была тугая, как замазка. Съев половину, он отвалился и вздохнул. “Давай, давай!” — зло закричали ребята. Он расстегнул пояс, доел все до конца, произнес: “Нормально” — и лег на нары. Той же ночью Леша Гусаров стоял за Шлягина в карауле и видел, как в нашей землянке беспрерывно мелькал свет: то и дело открывалась дверь. Это Шлягин бегал в сортир, нарушая маскировку. А Батя, когда узнал про историю с кашей, назвал Шлягина подлецом. “Ну и подлец же ты, мил человек!” — сказал Батя.

В марте месяце, через неделю после того, как мы похоронили Лешку Гусарова, разрывная пуля попала Шлягину в живот. В тот день к нам приехали артисты. К нам часто приезжали из Ленинграда артисты, усталые, изможденные и голодные люди. Нам было их очень жаль. После концерта их обязательно кормили, давали первое или второе, а они приезжали со своими котелками и ложками. На этот раз были два пожилых певца, но петь они уже не могли и поэтому читали стихи. Когда им предложили пойти на кухню — до кухни было метров триста, — один из них сказал: “Так я пойду, Виталий Викентьевич? Где ваша посуда?” А второй тихо ответил: “Простите, Аркадий Михайлович, но в той части вы уже ходили, теперь моя очередь”. И они пошли вместе. А в это время в землянке, на плюшевом диване, умирал Никита Шлягин. Он умирал долго и трудно. Мы сидели подле него до самого конца. Перед смертью он попросил: “Дайте сахарку пососать!” Мы дали. С сахарком во рту он и умер. Сладкая получилась у него смерть. А рядом кто-то настойчиво крутил одну и ту же пластинку, и Утесов довоенным голосом пел: “В этот вечер в танце карнавала я руки твоей коснулся вдруг...”

Как ни странно, но именно с этой мелодией у меня связаны воспоминания о последних днях перед прорывом блокады. Как услышу — перед глазами наша землянка, разведчики из батальона морской пехоты и слепой их командир.

Мы тогда уже чувствовали, что готовится наступление, хотя толком ничего не знали. Но по тому, что прибывали и прибывали войска и все больше морская пехота, переброшенная с Тихого океана, и по тому, что нам запретили стрелять по "рамам", даже когда они летали нахально низко, чтобы не обнаруживать своих позиций, и по тому, что моряки-разведчики каждую ночь лазали на тот берег, а капитан Белоусов отмечал по карте новые огневые точки врага, — по всему по этому было ясно: скоро. А уже невольно становилось ждать.

Стояла очень холодная зима. Перед тем как идти в разведку, моряки грелись в нашей землянке и крутили старенький патефон с единственной пластинкой. Потом он и достался нам в наследство. Они жили какой-то особенной жизнью, не похожей на нашу. И у них были свои приметы. Один моряк попросил у меня штык. Это был очень красивый немецкий штык, похожий на кинжал, его подарил мне Васька Зинченко, и штык был мне дорог. Но я отдал его моряку, потому что он шел на тот берег, и он сказал: "Беру в долг, а долги возвращают, значит, я должен вернуться". С моим штыком он ходил на ту сторону трижды и трижды возвращался. Примета была точной.

А то, что у них слепой командир, мы даже не догадывались. Он был лейтенантом и командиром разведки с первого дня войны. Днем он видел отлично и, говорят, здорово дрался. А ночью слеп. Результат тяжелой контузии. Но моряки держали это в секрете даже от своего начальства. Лейтенант был добрым, храбрым и честным парнем, ребята его любили. Ночью они уходили все вместе, кто-нибудь вел лейтенанта за руку, а он шел, высоко поднимая ноги. Потом они оставляли его в укрытии где-нибудь на середине пути и на всякий случай с ним одного автоматчика, а сами шли дальше. Когда возвращались, заходили за ним, и по голосам он угадывал, кто больше никогда не пойдет в разведку. Васька Зинченко несколько раз лазал с ними на тот берег — упрасивал, и они его брали, — и все это видел собственными глазами. "Артиллерия, не трепать языком!" — предупредили его моряки, и он пообещал: "Могила!" — только нам рассказал.

Васька был человеком.

Погиб он зря. Как всегда, влез не в свое дело. Он часто отлучался из батареи на часик и даже на сутки, когда наступало затишье. Не умел сидеть без работы. Его брали с собой то разведчики, то саперы. То с обычной пехотной частью он уходил в бой. Капитан Белоусов не знал об этом, иначе Ваське было бы плохо. В тот раз он ушел с минерами. Было это под вечер, в дождь, стояла осень сорок третьего года. Ребята пошли воровать чужие минные поля и ставить их себе. У нас не хватало мин.

Не знаю, что там и как случилось и почему Васька Зинченко остался на ничейной земле. Но он там остался, у него были оторваны обе ноги. Он очень хотел жить, может, поэтому не потерял сознания. Приполз он под утро, на одних култых. Губы у него были синие: он потерял много крови и еще от черники. Когда он полз, хватал губами чернику. Как раз в это время начался сильный бой, и мы не могли подойти к Ваське. С ним была Валя Козина, и он ей сказал: "Кончилась война, Валюша!" До медсанбата, если напрямик через топь, было три километра. Валя несла

его на руках, как ребенка, но донести не сумела. Она была медсестрой. И при ней чаще, чем при любом из нас, умирали ребята. Валя сказала нам, что перед смертью Васька сильно плакал.

У него в Коломне жила мать. Я написал ей письмо от имени батареи. Мне почему-то всегда доставалось писать такие письма. А подробности мы от нее скрыли. Я знаю, что многие люди, потерявшие на войне близких, представляют себе их смерть красивой и обязательно легкой. И пусть представляют, им от этого легче.

Он здорово танцевал чечетку, даже достал доски для нашей землянки, чтобы получался стук. Он танцевал чечетку и пел при этом в нос: "Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч..." А достать он мог не только доски. Все мог достать. Второго такого меняля, как Зинченко, я в своей жизни не видел. В жару он мог добыть кусок льда, в самый сильный голод — курицу, а когда мы погибали от вшей, притащил ящик мыла. Правда, странного: в каждом куске, строго посередине, была дырка. Оказалось — тол. Васька перегултал ящики.

У него в друзьях был весь Ленинградский фронт. Танкисты: "Вася, привет!" Девчонки из строительного батальона, добывающие для города торф (мы звали их торфушками): "Василь Петрович, а Надька-то по вас сохнет!" Дирижер военного оркестра: "Как поживаете, товарищ Зинченко?" — Васька помог ему обменять двадцать метров кумача на пять кларнетов.

Он был общительным и добрым парнем, и все, что он доставал, шло не ему. Товарищам. Курицу съели двумя расчетами. Штык подарил мне. Хром — Гусарову на сапоги. Батю постоянно обеспечивал чаем. А на его плюшевый диван мы клали раненых, больных и умирающих ребят. Сам Васька поспал на нем, чтоб не соврать, раза три или четыре за всю оборону. И вечно он был самым голодным и, сколько я помню, всегда ходил в короткой шинелишке и в рваных кирзовых сапогах. И никогда не унывал.

Мне не забыть, как отбивал он чечетку поздно ночью, после прорыва блокады, когда у ребят уже не было сил стоять на ногах, а мне как раз пришлось лежать на его диване. Васька так ненавидел фашистов и так ждал прорыва, а уцелеть при его характере было так трудно, что сегодня я рад хотя бы тому, что он дожил до того счастливого дня и почувствовал вкус победы.

Мы и сами были без водки пьяными.

В то утро был мороз. И туман, прорезанный солнечными лучами. И тишина. Такие бы утра не для войны, а для детских сказок. Почему-то не было ни единого выстрела. Ни с этой, ни с той стороны. Мы уже знали, что скоро начнется. Они, наверное, знали тоже. И люди не двигались. Не шли войска. Не летали "рамы". Все замерло в ожидании. Мы дали утру отстояться так, что звуки ушли на дно, а наверху — одна тишина.

Отчетливо помню: стою у орудия. Уже все нацелено. Вижу тот берег Невы. Крутой, высокий. Красная глина, черные стволы сосен. Снега почти нет. Снегу трудно держаться на глине. А как же полезут наши ребята? Ждем команды. Теперь все зависит от нас. Смотрю на снаряд: чуть больше восьми сантиметров в диаметре. Ну какой до обидного маленький!

И еще отчетливо помню солдат бригады морской пехоты. Чуть прищуренный взгляд. Курят в рукав. Ночью им приказали спать, были битком набиты землянки. Они громко кашляли. На ногах-то — черные ботиночки, смазанные комбижиром. А на Неве-то — колотый лед!

И последнее, что я помню: девять тридцать утра. Белоусов смотрит на часы. Поднимает руку. Открывает рот. И слов уже никаких не слышно. Рядом с нами стояли орудия с “Октябрины”, их чистили, целиком влезая в ствол, а снаряды подавали краном. Спустия двадцать лет я узнал, что первый залп дали четыре тысячи пятьсот орудий одновременно. Я сразу оглох. Кричу — сам себя не слышу. И так продолжалось два часа пятнадцать минут. Мы работали в полный рост, не закрываясь и ничего не боясь, потому что на том берегу ничто живое не могло в это время подняться. Мы впервые за всю войну работали. Как на учениях: без помех. Снялись с места, подкатили к Неве и лупили прямой наводкой по проклятой Восьмой ГЭС.

А потом моряки пошли в атаку. В одиннадцать сорок пять утра. В полной, внезапно наступившей тишине. В черных бушлатах и в ботиночках, смазанных комбижиром. И когда они закричали “Ура!”, тот берег не выдержал и ответил огнем. Сколько же было там укреплений, если немцы сумели ответить! Но, вы понимаете, шла лавина. Ее нельзя было остановить. Морские орудия сделали паузу, потом перенесли огонь в глубину. А мы замолчали. У нас было мало километров в запасе.

А потом наступили пять минут страшной трезвости. Мы увидели Неву, усеянную неподвижными черными бушлатами. Мы знали батальон, который принял на себя первый свинец фашистов. Весь свинец фашистов. От батальона нам и достался в наследство старенький патефон с единственной пластинкой. Моряки лежали на льду Невы и казались издали черными птицами, присевшими отдохнуть. Хотелось хлопнуть в ладоши и громко закричать, чтобы они поднялись в воздух и улетели.

И тут Васька Зинченко закричал, схватил винтовку и побежал за уходящими цепями моряков. И все мы, расхватав винтовки, бросились за ним. Догнали мы последнюю цепь уже на том берегу и смешались с черными бушлатами. Справа от меня слышно дышал Батя. Чуть впереди, с пистолетом, ни разу не оглянувшись, бежал капитан Белоусов. И больше я ничего не помню — до самого плюшевого дивана и Васькиной чечетки.

Через два с половиной месяца я с палочкой вышел из госпиталя. С тех пор у меня в жизни появилась еще одна дата, которую я не то что праздную, а просто отмечаю. Я сажусь дома за стол, пью водку и вспоминаю ребят. Эта дата — 12 января сорок третьего года. За Лешку Гусарова. За Ваську Зинченко. За слепого лейтенанта. За Лешку Гусарова. За Ленинград... И никто не смеет сказать мне: “Хватит”.

БЕ ЛЕКАРСТВ

Наше тело как рояль — требует настройки

ТАТЬЯНА СМОЛЬЯКОВА

... Человечество весьма преуспело в искусстве разрушать собственное здоровье. Сегодня в каждом доме имеется своя аптечка, набитая разноцветными коробочками и пузырьками с лекарствами — на все случаи жизни!

Муж вернулся с работы с очередной мигренью? Ребенок не вылезает из бронхитов и конъюнктивитов? У вас пошли вразнос нервы? — Вот же она, спасительная домашняя аптечка! Мужу — баралгин. Ребенку — аспирин и антибиотики. Себе — пригоршню транквилизаторов на ночь. Конечно, вы — человек образованный, понимаете, что злоупотреблять лекарствами плохо. И про "побочный эффект" вам известно. Но... что делать — можно ли обойтись без всех этих таблеток?

"Можно!" — убеждена кандидат медицинских наук, заведующая лабораторией "Прогнозирование, профилактика и реабилитация ЭНЭИДа" Московской медицинской академии им. И.М. Сече-

нова Алла Алексеевна Уманская. Созданная ею методика оздоровления не требует от нас ничего, кроме желания быть здоровыми и ежедневного выполнения элементарных правил.

А он взял и выжил!

Когда Максимка появился на свет, врачи в роддоме запричитали: ох, этот не жилец. А пока жив, не будет видеть, слышать, двигаться и будет идиотом. У младенца оказалась патология головного мозга. Спасти его может только чудо. Но поскольку чудес на свете не бывает, посоветовали матери: "Отдайте его в дом ребенка и забудьте, как страшный сон".

Не поверила мать, не послушала "добрый" совет. Начала возить ребенка по разным клиникам, показывать медицинским светилам. Кто-то сразу отныкался лечить, честно признавая, что беспилен. Кто-то пытался

помочь — результат нулевой. Но, говорят, упорным Бог помогает. Каким-то образом узнала женщина о докторе Уманской. Привезла ребенка и чуть ли не в ноги кинулась: вы последняя надежда, помогите!

Максимке был уже год и пять месяцев. Лицо искажено, нет лицевого и слуховых нервов, зрительные нервы частично атрофированы. Ребенок почти не двигается, не умеет не то что говорить, да еще плакать. Осмотрев малыша, Алла Алексеевна обернулась к матери. Очень внимательно посмотрела, нажала под мочкой правого уха и тут же спросила: "Что с желчным пузырем?" Женщина ойкнула от боли и обескураженно ответила: "Его нет. Удалили в 18 лет". Обследовав с помощью иридоскопа радужную оболочку глаз матери, Уманская сказала: "Что ж, я попробую". И начала малыша лечить.

Через полгода интенсивного лечения появилась надежда. Во время очередного "сеанса иглонок" из неподвижного еще глаза — выкатилась слеза. Первая слеза у ребенка, который никогда не плакал! Значит, нерв есть и начинает восстанавливаться. В тот день плакали все. От радости. А еще через два года Максимка вояку бегал, нувырнался, смеялся, как всякий здоровый ребенок. У него восстановилось зрение.

Чудо? Конечно нет. Все дело в том, что Уманская боролась не с глухотой и слепотой, не с церебральным параличом, а с первопричиной всех этих заболеваний.

Более 20 лет назад она сделала открытие: в организме плода под влиянием вирусной респираторной инфекции (гриппа и других ОРВИ) возникает медленный системный процесс, который длится всю жизнь, и с него начинаются многие тяжелые системные заболевания — детский церебральный паралич, рассеянный скле-

роз, ишемическая болезнь сердца, язвенная болезнь, пиелонефрит и т.д. Этот процесс был назван эмбриогенетический нейро-эндокринный иммунный дефицит (ЭНЭИД).

"Враг рода человеческого"

В 1957 году, закончив курсы медсестер, Алла Уманская, что называется, попала с корабля на бал. С бригадой медиков ее направили на борьбу с эпидемией гриппа. Несмотря на юный возраст — 17 лет — и отсутствие опыта, она добилась отличных результатов: на ее участие не было ни одного летального исхода, минимальное количество осложнений у больных и при этом минимальный расход медикаментов. А весь секрет заключался в том, что лечила она по старинке. Некоторые приемы китайских, русских и украинских народных целителей она знала с детства. В другое время за столь крамольные методы лечения ее не похвалили бы (так потом и случилось), но тут были чрезвычайные обстоятельства. Закрывали глаза на все, лишь бы люди выжили. Потом этот опыт оказался бесценным при создании системы профилактики и лечения ЭНЭИДа.

Наблюдая за больными, Уманская заметила, что у тех, кто перенес вялотекущую форму гриппа, нередко возникали тяжелые осложнения, а переболевшие остро, как правило, выздоравливали без последствий. Позже, когда закончила мединститут и работала главврачом сельской больницы, обратила внимание, что похожая картина и у детей, родившихся от матерей, которые во время беременности перенесли грипп или другие ОРВИ, наиболее слабые, болезненные дети рождались у тех женщин, которые переболели легко или даже просто контактировали с больными.

Значит, вирус и болезнь, им вызываемая, в латентном (скрытом, не ярко выраженном) состоянии еще более опасны. Но как долго вирус может таиться в организме, не обнаруживая своего присутствия болезненными проявлениями?

До недавнего времени было принято считать, что вирус гриппа способен вызывать только острое заболевание. И если мы подхватываем его вновь и вновь, то каждый раз это новое самостоятельное заболевание, которое заканчивается либо смертью, либо полным излечением.

Уманская поняла, что это в корне не верно. Еще в 1972 году она предположила, а потом это было подтверждено экспериментально и клинически, что грипп может иметь персистентную (упорствующую) форму. Неоднократно повторяющиеся заболевания ОРВИ — это обострение прочно обосновавшейся в организме инфекции. И чем "мягче" — не обнаруживая себя — вирус впервые войдет в организм, не встретив должного сопротивления (та самая стертая форма болезни), тем чаще он будет напоминать о себе. Причем не только хроническим насморком, воспаленным горлом и т.п.

Мы часто не можем понять, откуда берется слабость, усталость, почему ничего не хочется делать — вроде бы нет видимых причин. Да и врачи не всегда догадываются, что все дело в вялотекущей вирусной инфекции.

Но наиболее опасно заражение гриппом во время беременности, особенно на самом раннем этапе. Проникая в плод, вирус гриппа, точно компьютерный вирус, нарушает весь защитно-приспособительный механизм, искажает заложенную природой программу развития человека. Это искажение, передаваясь по наследству, усиливается в каждом следующем поколении свежей порцией внутриутробной ин-

фекции. Добавим еще алкоголь, табак, повышенную радиацию и другие "острые приправы" — и фундамент здоровья целого поколения людей превращается в песок.

Когда начинают досконально обследовать детей с такой наследственностью, оказывается, что у них уже от рождения нарушены эндокринная, нервная, иммунная системы. По данным Уманской, сегодня признаны ЭНЭ-ИДа обнаруживаются у 70—80 процентов новорожденных, родившихся в срок, и абсолютно у всех недоношенных или родившихся с какой-либо патологией малышей.

Научные исследования последних лет подтвердили фундаментальную роль ЭНЭИДа в жизнедеятельности человека. Эмбриогенетический нейро-эндокринный иммунный дефицит рано или поздно проявляется почти у всех людей, ведь избежать встречи с вирусной инфекцией в нашем тесном мире практически невозможно. Есть он и у мавзасных долгожителей, и у йогов. Вопрос только в величине такого дефицита. Глубокий ЭНЭИД предшествует всем иммунодефицитам, в том числе и СПИДу.

Да можно ли как-то бороться с этим врагом рода человеческого — ЭНЭИДом?! Можно. И методы борьбы весьма доступны каждому.

Настройте свой организм на здоровье

Природа все предусмотрела. Как, снажем, в телевизоре есть ручки, которые подкручивают, чтобы улучшить яркость изображения, контрастность, звук — подкрутил их, настроил и смотри себе с удовольствием. Так и в человеческом организме есть своеобразные пульты управления, с помощью которых можно регулировать его деятельность. Это биологически активные зоны на ноге

Наш организм состоит из множества взаимозависимых и взаимосвязанных систем. Они формируются еще в эмбриональный период. В их состав обязательно входят кожные покровы и слизистые оболочки. Проще говоря, это цепочки связанных между собой элементов различных систем и органов. И каждая из этих цепочек имеет выход на поверхность — здесь и находятся биологически активные зоны, или точки. Через них организм обменивается информацией с внешней средой. Например, дает сигнал тревоги, если какой-то орган не в порядке, — связанная с ним точка становится болезненной. Уже на третий день после рождения по этим точкам можно прогнозировать будущие заболевания. Но самое главное, что через них же можно воздействовать на нездоровый орган и на всю эмбриозависимую систему.

Знание таких точек из китайской чжень-цзю терапии и диагностических "болевых зон", которые использовали европейские и русские врачи, и собственный многолетний опыт помогли Уманской определить 32 биологически активные зоны на кожной поверхности человеческого тела. Воздействуя на них даже с помощью простейшего массажа, мы можем регулировать работу печени, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата и так далее. Среди них есть 9 основных кожных зон (см. рисунок).

При размножении вирусов происходят биофизические изменения во всех элементах эмбриогенетической цепочки, в том числе кожных — нарушается их магнитная проницаемость, электропроводность и т.д. Такая поврежденная кожная зона более не страхует человеческий организм от различных физических воздействий окружающей среды. Снабжен, повышенной радиацией, магнитная буря, врывается в организм человека именно через эти "прорехи" в защитной

кожной системе, могут привести к обострению, например, мионкардита, гайморита, язвенной болезни и т.д. Поэтому именно с основных биологически активных зон, находящихся на поверхности нашей кожи, начинается лечение и профилактика многих заболеваний, профилактика ЭНЭИДа. С их помощью можно "настраивать" свой организм на здоровье.

Хочешь быть здоровым, будь им!

В лаборатории А.А.Уманской я видела много детей, подобных Максимке. Алла Алесеевна возится с ними долго, терпеливо. И родителей предупреждает: не ждите быстрого результата, это ведь не хирургия. Организм должен сам справиться с недугом, мы лишь помогаем ему включить все свои резервы. Но насколько все было бы проще, если бы родители позаботились заранее о здоровье потомства. Мы ведь живем по принципу "авось": авось пронесет, авось рожу здорового ребенка. А отсюда он, здоровый, возьмется при нашейто наследственности, при нашей экологии, при нашем образе жизни?!

Профилактика — принципиальная, мировоззренческая позиция доктора Уманской. Медицина вообще должна быть по преимуществу профилактической. Это всегда проще, надежнее и дешевле лечения. Это выгодно даже в богатом обществе, а у нас сегодня просто нет другого выхода. Поэтому Уманская, конечно, лечит — лечит особо тяжелых пациентов, применяя все методы: рефлекс-, фито-, физиотерапию, гомеопатию. Но самым главным своим достижением считает создание профилактических программ: "Девочка—девушка—женщина—мать", "Реабилитация семейной ишемической болезни сердца", "Психофизическое воспитание дошкольников и школьников", "Реабилитация старения" и другие.

Помнится, года два-три назад мне довелось побывать на презентации отечественного препарата из серии иммуностимуляторов — тимогена. Его создатели рассказывали о том, как эффективен он в качестве профилактического средства против гриппа и других ОРВИ. Препарат оказался действительно хорош, я испытала его на собственном ребенке — дочка той зимой не болела. Но не болела она и тогда, когда я методично закаляла ее и делала точечный массаж по системе Уманской. Результат обоих методов профилактики болезни одинаков. Только в одном случае он был достигнут путем вложения огромных денег в разработку и производство препарата (соответственно это отразилось и на ношениях пациентов), а в другом случае что называется получен, не выходя из дома в аптеку, бесплатно.

Программу психофизического воспитания школьников взяли на вооружение несколько школ Москвы и Подмосковья. Вот какие результаты были получены, например, в школе-саду санаторного типа "Веста" Ногинского района Московской области, где уже три года применяют систему саморегуляции и самореабилитации организма. Количество дней нетрудоспособности по уходу за больным ребенком сократилось на 90 процентов. Большинство детей вообще перестали болеть ОРЗ. Экономия средств, выплачиваемых по больничным листам только по категории ЛОР-патологии, составила 600 миллионов рублей в год — это 80 процентов годового бюджета всего учреждения. Улучшились клинические анализы, повысился иммунный статус ребятишек. И даже такие "немедицинские" показатели, как успеваемость и микроклимат в классе и семье, значительно изменились в лучшую сторону.

Все это не случайность. Исследования, проведенные во ВНИИ вирусологии, показали, что при использовании

одного только массажа пальцем организм начинает сам вырабатывать целый ряд биологически активных веществ. В том числе собственный интерферон, комплемент и другие "лекарства", с которыми не может конкурировать ни один, даже самый замечательный искусственный препарат.

Известно, например, что интерферон помимо противовирусного эффекта обладает активным радиозащитным действием: снижает повреждающее действие радиации, увеличивает число полноценных клеток, снижает число хромосомных повреждений в клетках головного мозга и т.д. Это особенно важно для тех, кто живет в зонах с повышенной радиацией. Такие исследования проводились в Чернобыле в 1986—1989 годах.

Привыкнуть быть здоровым

В идеале, считает А.А.Уманская, каждый человек должен знать все 32 биологически активных зоны. Но если он будет знать и использовать хотя бы основные, это уже будет огромным шагом к здоровью. По крайней мере, с бронхитами, ларингитами, отитами, остеохондрозами, колитами можно справиться самому, без утомительных походов в переполненные поликлиники.

Так что же и как надо делать?

Ежедневно утром и перед сном, а также после каждого контакта с больным необходимо сделать массаж в области девяти биологически активных зон. Массаж делают кончиком указательного или среднего пальца вращательными движениями сначала по, а затем против часовой стрелки в течение 3—4 секунд в каждую сторону. При этом надо постепенно повышать интенсивность воздействия. Массаж в области шеи делается движениями пальцев сверху вниз (9—10 раз). Если в какой-либо зо-

не почувствуете болезненность, массаж здесь надо делать каждые 30 минут, пока боли не исчезнут. Вместо пальцев можно воспользоваться электростимуляторами промышленного изготовления, нагретыми до 60—70 градусов.

Возможно, кому-то все это покажется слишком хлопотным. Конечно, лучше какая-нибудь чудодейственная пилюля — принял и здоров без всяких усилий. Только такого, увы, не бывает. Да и не так уж это хлопотно, как кажется на первый взгляд. Ведь мы умываемся и чистим зубы каждый день, не считая это обременительным. Надо просто привыкнуть быть здоровым.

Контролировать биологически активные зоны необходимо всю жизнь, чтобы вовремя "поймать" болезнь, когда еще возможен быстрый возврат к физиологической норме. Будьте внимательны к своему здоровью, "поскольку жизнь без него становится нестерпимой и унижительной", — сказал Монтень.

Советы доктора Уманской

1. Ежедневно утром и вечером мыть передние отделы носа с мылом.

2. Ежедневно полоскать горло одним из растворов:

— слабозеленым раствором марганцовки;

— раствором фурацилина (1 таблетка на стакан воды);

— раствором соды, соли и йода (1 ст. ложка соли, 1 ст. ложка соды и 60 капель настойки йода на 1 л воды);

— просто водой, если под рукой больше ничего нет.

3. С октября по апрель ежедневно два раза — утром после гигиенического туалета и на ночь — закапывать в нос настой лука с медом (по одной полной пипетке в каждую ноздрю). Этим же раствором можно промыть глаза для предупреждения конъюнктивита и

наружный слуховой проход, если не повреждена барабанная перепонка.

Рецепт настоя: 3 ст. ложки мелко нарезанного репчатого лука залить 50 мл теплой воды, добавить 1/2 ч. ложки меда (или сахара), настоять 30 минут.

4. В эпидемические периоды перед сном после туалета носоплотки необходимо сделать ингаляцию в течение 2—3 минут. Для этого можно использовать раствор мяты, эвкалипта, шалфея, кожуру картофеля, питьевую соду, в крайнем случае — просто кипяток. Дышите и ртом, и носом.

Девять чудесных точек

А теперь — вернемся к рисунку, чтобы понять, для чего нам дала Природа каждую из девяти чудесных точек, с помощью которых можно "настроить" свой организм на здоровье.

Зона 1 Связана с костным мозгом грудины, сердцем, со слизистой оболочкой трахеи. При массаже этой зоны уменьшается кашель, боль за грудной, нормализуется кровотоковение.

Зона 2 Связана с вилочковой железой (тимусом), слизистой оболочкой трахеи, глотки. При массаже ее повышается сопротивляемость инфекционным заболеваниям.

Зона 3 Связана с щитовидной железой, слизистой оболочкой гортани и особыми анализаторами химического состава крови. При воздействии на нее нормализуется химический состав крови, улучшается голос.

Зоны 4, 5 Связаны с регуляцией деятельности всех сосудов головы и тела, а также со слизистой оболочкой задней стенки глотки. Массаж зоны шеи ведет к нормализации вегето-сосудистого тонуса, исчезают головокружения, головные боли, боли в затылке и шее, уменьшаются явления фарингита. Шею сзади необходимо массировать сверху вниз.

Зона 6 Связана с вестибулярным аппаратом, со слизистыми оболочками среднего уха и миндалинами. При воздействии на эти зоны исчезает шум в ушах, улучшается слух, уменьшается боль в глотке при ангине (тонзиллите), в ухе при отите, а главное — нормализуется деятельность вестибулярного аппарата.

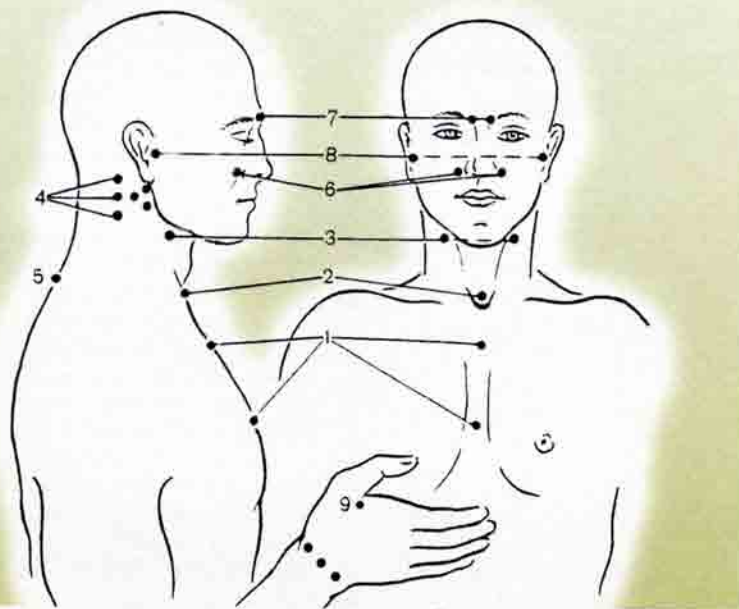
Зона 7 Связана с лобными отделами мозга, лобными и решетчатыми пазухами носа. Массаж этой зоны — для улучшения умственных способностей, уменьшения косоглазия и исчезновения болей в лобных отделах головы и глазных яблоках.

Зона 8 Связана с гипофизом, слизистыми оболочками носа и гайморовых пазух. Массаж этих зон улучшает

носовое дыхание, уменьшает слабость, нормализует деятельность эндокринных желез.

Зона 9 Руки — это манипуляторы мозга. Руки связаны со всеми органами. За зонами рук необходимо особенно тщательно следить, устранять своевременно все возникающие нарушения.

Самомассаж надо делать в последовательности, соответствующей нумерации, минимум 5—6 раз в день. Последнюю процедуру массажа желательно сделать за 1,5—2 часа до сна. Перерыв в процедурах даже 1—2 дня значительно снижает эффективность лечения; приводит к быстрой детренировке. В периоды заболеваний гриппом и ОРЗ зоны 6, 7, 8 желательно массировать каждые 15—30 минут, чередуя с ингаляциями. ■



При подъезде к подмосковной станции Томилино хорошо видны из окна элечки двухэтажные кирпичные коттеджи. Новенькие, анжуратные, с крышами из красной черепицы — словно ожившая картинка из сказок братьев Гримм. Впрочем, время поменяло и ассоциативные стереотипы: сегодня, глядя на проплывающие вдоль железнодорожного полотна нарядные домики, — кто с завистливым восхищением, а кто с откровенной злостью, — люди скорее подумают: «Жируют эти «новые русские», понастроили себе хором, а тут теснись впятером на тридцати «хрущевских» метрах...»

Не завидуйте, уважаемые. И уж тем более не произносите — дане мысленно — недобрых слов в адрес тех, кто живет в этом маленьком поселке. Лучше пожелайте им — хотя бы мысленно! — счастья. Если человек в детстве счастлив, у общества больше шансов получить в его лице хорошего, порядочного гражданина. А здесь, в этих домах, живут дети, в судьбе которых предпосылка НЕСЧАСТНОСТИ — великое множество. Во-первых, они сироты. Хуже того, сироты при живых родителях. Хуже того, родители — алкоголики, бомжи, а то и преступники. Во-вторых, они знают о жизни столько грязного и дурного, что иному взрослому и не снилось. В-третьих, их уже предавали. А преданный однажды всегда будет насторожен, недоверчив, какими бы добрыми ни были люди вокруг него.

...У детей ни книг, ни игрушек нет и в помине. На вопрос, как они питаются, дети объяснили, что еду себе добывали в «мусорнике» во дворе... На диване пенкал пьяный дедушка, разбудить его так и не удалось.

...У детей ни книг, ни игрушек нет и в помине. На вопрос, как они питаются, дети объяснили, что еду себе добывали в «мусорнике» во дворе... На диване пенкал пьяный дедушка, разбудить его так и не удалось.

Галина Брынцева, Нина Фокина

Одинока женщина желает стать матерью

... а брошенные дети
хотят обрести семью.
И это — возможно!

... Отец ребенка трижды судим, между отбываниями наказаний нигде не работал. Мальчик пяти лет в детприемник доставлен из дома. По внешнему виду ему — три года. Рассказывает, что спал в шкафу — там тепло. У него чесотка и вши, мальчик давно не мыт. Это — строчки из личных дел воспитанников первой в России детской деревни SOS. По-немецки — SOS-киндердорф.

Тан назвал свою модель призрения детей-сирот Герман Гмайнер, гранданин Австрии, которого сегодня мы назвали бы гранданином мира: его любовь к детям была безгранична в прямом смысле этого слова — во всяком случае, в австрийских границах она не уместилась. SOS-киндердорфы вот уже без малого 50 лет дают одиноким детям дом, мать, семью и возможность стать счастливыми, которой судьба в самом начале, казалось бы, лишала их напрочь.

Такие деревни давно существуют в 124 странах. Россия стала 125-й.

“Тюрьмы для малолетних обходятся дороже”

Имя этого человека известно всему миру. В Австрии его называют “великий Гмайнер”. После его смерти в 1986 году мировая пресса назвала его человеком столетия.

А в России о Германе Гмайнере почти не знают.

...Ему было двадцать шесть лет. Шесть из них забрала война, оставив взамен пять ранений и мучительную скорбь мысли и духа: как же оказалось возможным вовлечь столько вполне нормальных, добропорядочных людей в безумие абсолютного, преступного Зла? Он был очень беден. В послевоенной Австрии было много несчастных детей — сирот, маленьких проституток, бродяжек, бездомных. И у каждого ребенка в душе был свой собственный маленький ад. Ад одиночества и совершенной незащищенности перед

взрослым жестоким миром. Даже у тех, кто попадал в приюты, которые все в большем количестве открывало в спешном порядке австрийское правительство: казенный дом избавлял от голода и холода, спасал тело, но не спасал душу.

О людях выдающихся, оставивших след в истории, говорят: “Божьи избранники”. Видимо, таких можно разделить на тех, кому Бог дал недюжинный талант; и на тех, кому вручил неподъемную ношу — повелел исполнить в этой жизни особую миссию Добра. Нищий студент-медик Герман Гмайнер принадлежал ко вторым. Вся свою жизнь он спасал детские души.

Гмайнер не отрицал — детский дом тоже благо для ребенка, оставшегося без родителей. Но каким бы хорошим он ни был, как бы профессионально ни исполняли свою работу в нем воспитатели — это казенное заведение, и работа самых душевных людей все равно всего лишь работа, исполнение профессиональных функций. Даже искренне привязанный к своим воспитанникам воспитатель, отработав смену, уходит в свой дом, в свою семью. И дети-сироты остро это чувствуют. Заменить ребенку его родной потерянный дом детский дом никогда не сможет. А что сможет?

Гмайнер искал систему призрения сирот, максимально напоминающую семью. Он считал необходимым вернуть детям то, что отняла у них жизнь. Право на семью — первое право всякого человека, дарованное ему уже самой природой.

Модель, к которой он пришел, поражает простотой. В основу жизни детской деревни заложено всего четыре принципа.

МАТЬ. Одинокая женщина, чьим жизненным предназначением были семья, дети, но, в силу каких-то причин, это предназначение не исполнилось.

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ. Шесть — восемь одиноких детей разного пола и возраста — это уже семья, где старшие заботятся о младших, младшие





подражают старшим, где есть кого любить и кем быть любимым.

ДОМ. Для любого человека родной дом — это и в самом деле крепость. Которая рождает чувство защищенности от внешнего мира. И не только надежностью стен, но и силой и крепостью заведенного в доме уклада, домашними традициями, принятыми только тут семейными обычаями. Дом — это стабильность, это — покой, умиротворение детской души.

ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ. Вместе — легче. Матери-воспитательнице есть с кем посоветоваться, увидеть и перенять чужой опыт. Во главе нандой детской деревни — директор, обязательно мужчина (не обязательно одиначий, он может жить в деревне с собственной семьей). Директор разрешает и многочисленным хозяйственные проблемы. Он помогает матерям и педагогическими советами. Непременное условие жизни детской деревни-SOS — открытость. Дети ходят в муниципальный детский сад, школу. Если в деревне имеется собственная школа, ее могут посещать и дети из обычных семей, что живут неподалеку.

Оказалось, что, несмотря на простоту, а может, и наоборот, благодаря такой простоте, эта форма устройства детей-сирот жизнеспособна и универсальна. За пятьдесят лет она не изменилась ни в чем и с одинаковым успехом "работает" и в европейских государствах, и в Африке, и в Азии. А вот попытки изменить хотя бы один из четырех принципов — проваливались. В одной из бывших соцстран, например, решили "дать сиротам полную семью" — поставить во главе дома и мать, и отца — супружескую пару. Не получилось, были вынуждены вернуться к исходной гмайнеровской модели.

«Шиллинговая идея Добра»

Вспоминая, как все начиналось, он писал: "Моя идея ниндердорфа находила мало поддержки у людей, к которым

я обращался... На него смотрели почти с жалостью: блаженный! Знакомый пастор танже посчитал его план нереальным: "Ваша идея слишком дорога. Это будет стоить миллионы". "Тюрьмы для малолетних обходятся дорожке", — ответил Гмайнер. Он обращался в официальные органы охраны детства — но чиновник и в Австрии тех лет оставался чиновником — предложения студента-недоучки даже не рассматривались... И все-таки он нашел выход!

Вместе с несколькими друзьями, поверившими в его идею-мечту, он образовал и зарегистрировал общественную организацию, получив юридическое право на благотворительные акции и на сбор благотворительных средств. Они ходили с подписными листами к состоятельным людям, писали им письма, объясняли, на что пойдут пожертвованные суммы. Состоятельные люди "откликнулись" всего 600 шиллингами.

"Тогда мне пришла в голову мысль привлечь к моей идее SOS-ниндердорф население, — вспоминал Герман Гмайнер — И как только я обратился сначала к тирольцам, а потом ко всем австрийцам, произошло чудо. Откликнулись люди, которым самим не хватало на жизнь... Сначала откликнулись бедные, потом пенсионеры и рабочие. Позже — обычные горожане и богатые..."

Так им удалось, по выражению самого Гмайнера, "разбудить целную реакцию добра". Сподвижниками их проекта стал простой народ. Целый народ!

Это и была знаменитая "шиллинговая идея" Германа Гмайнера, благодаря которой детские деревни-SOS во всем мире существуют и по сей день, просит у многих немного. Люди в самых разных уголках земли, называющие себя "друзьями детских деревень", добровольно и безо всякого оформления "членства" платят определенную, небольшую сумму раз в квартал. Так же раз в квартал они получают письмо с благодарностью и ин-

формацией о жизни людей, которым они помогают.

Незадолго до смерти Герман Гмайнер писал, обращаясь ко всем воспитанникам детских деревень-SOS: "В то время, когда вы были в большой беде, нашлись люди, которые сделали больше, чем должны были бы... Сегодня в мире пять миллионов наших друзей, которые помогают строить и содержать детские деревни. Этого вы не должны забывать. Ни одно государство, никакое другое учреждение не могло бы помочь вам в той же степени".

Скажите, читатель, если бы вы знали, что 30 тысяч рублей, переводимые вами по почте раз в три месяца, помогают спасти чужого ребенка от ада в душе, вы бы отказались?.. А ведь и в самом деле траты для малолетних обходятся нам дороже: их содержание оплачивается из нашего же с вами кармана.

Однанды Гмайнер сказал, что всю жизнь прожил с протянутой рукой: "Я просил у людей по шиллингу в месяц. Про меня говорили: он сумасшедший. Хочет на шиллинг построить дома для детей". И еще он обронил нечто в разговоре с друзьями: "Если нам удастся построить три детских деревни в Австрии, я буду считать свою жизнь удавшейся". В 1986 году, когда умер Гмайнер, его называли отцом в детских деревнях-SOS в 120 странах.

А вот своих детей у Гмайнера не было. Не было жены, семьи. Он НЕ МОГ позволить себе всего, что в обыденном понимании составило бы жизнь не только «удавшуюся», но просто — счастливую. Цена Божьей избранности всегда непомерна по обычным человеческим меркам. Гмайнер ее заплатил.

... Отстроив первые детские деревни в родной Австрии, он признавался еще в одной своей мечте: "Я был бы счастлив сделать доброе дело стране, которой было принесено так много горя." Имелась в виду Россия. И ведь именно в России ему был знак, для какой земной миссии избрал его Бог.

Во время войны часть, в которой он служил, стояла на нашей территории. И однанды русский ребенок спас ему жизнь. Мальчик, семье которого Гмайнер отдавал часть своего солдатского пайка, увидел партизан в деревне и крикнул ему: "Беги". Он успел выскочить в окно прежде, чем партизаны вошли в дверь. Ребенок спас мне жизнь. Я понимался помогать детям".

Сегодня и эта мечта Германа Гмайнера — детская деревня-SOS в России — исполнилась.

И один в поле воин

Может ли здравомыслящий, рядовой (в смысле материального достатка и должности) человек всерьез рассчитывать в одиночку осуществить благотворительный проект, требующий огромных средств и немислимого количества угробленного личного времени и нервов?

Ответ на это у журналистки Елены Сергеевны Брусновой, конечно, был. И конечно, отрицательный. Поскольку и со здравым смыслом, и со знанием социально-экономических и бюрократических особенностей родного государства, и, стало быть, с трезвостью их оценили все у нее в порядке. А то, что уже столько лет рисовалось воображением: добротные коттеджи, в каждом из которых живут заботливая, любящая мать и семья-восемь ребятишек, и все это — детская деревня-SOS — не где-нибудь в Австрии, а в Подмосновье, или, скажем, в Орле, или под Ленинградом... Все это она старалась рассматривать просто как навязчивую идею. Провонацию души.

С Германом Гмайнером Елена Сергеевна познакомилась в конце 70-х на какой-то журналистской тусовке в Вене, где она семь лет провела в статусе жены советского командированного работника, хотя и получила анкредитацию от родной "Комсомолки".





Гмайнера с его педагогической моделью воспитания детей-сирот к тому времени знали уже пять шестых суши. Одна шестая не знала. Поэтому, проговорив с ним на той встрече два часа кряду, побывав в "Ниндердорфе", насмотревшись на жизнь Гансинов и Элзз глазами журналиста, много чего повидавшего в жизни Петь и Катенек из отечественных детдомов, — она "заболела темой".

"Ты с ума сошла, — сказала известная в советской педагогической прессе коллега, когда Елена Сергеевна позвонила ей в Москву посоветоваться — Кто ж такое напечатает? Буржуазная педагогика, христианская мораль, матери-воспитательницы — католички. Да еще и этот твой Гмайнер — бывший солдат вермахта. А в какой-нибудь из соцстран детская деревня построена? Ну так и напиши о чехословацкой!.."

Писать о "передовом социалистическом опыте педагогов братской страны" Брускова не стала..

В конце 80-х вторым по крыпатости словом после "перестройки" была "гласность". А одним из прорывов гласности стал бум сиротской темы в средствах массовой информации. Это был звездный час для наших детских домов. Правительство, смутившись обнаруженной правдой о казенной жизни "государственных детей", выдало целый залп постановлений. "Улучшить, укрепить, увеличить, выделить..." А в обществе началось движение, все чаще называемое забытым словом "благотворительность".

— Ну какая может быть благотворительность, если, конечно, правильно понимать это слово? В нищей стране с нищим населением! — раздраналась Елена Сергеевна канцелярским пером, когда речь заходила о возвращавшемся к нам после семидесятилетнего запрета понятию.

Коллеги удивлялись, откуда такая горячность в ней, чья сдержанная манера общения казалась выверенной дипломатическим протоколом? А она вовсе не с

ними — с собой спорила. Что-то и впрямь менялось в этом мире, и Елена Сергеевна с бесполойностью чувствовала, как ее здравый смысл все больше поддается на провокацию души, все чаще разрешая мысль: "А что, если попробовать?"

Опубликовала (и всего-то лет десять пройти должно было!) в нескольких центральных газетах большие статьи о Гмайнере, о его деревнях-SOS — не без надежды все-таки, что и наши чиновники газеты читают, вдруг да примет кого-нибудь. Чиновников "не проняло". Но остановиться Брускова уже не смогла. Писала письма все тем же чиновникам, собирала под знамена гмайнеровской идеи коллег-журналистов и общественников, занималась "челночной дипломатией" с государственными благотворительными фондами и Минобразования. Ее поддерживал Международный комитет "Ниндердорф-SOS Интернациональ".

..Одна из нас, авторов этой статьи, помнит, как лет пять назад — в самый разгар "войны за Томилино" — Елена Сергеевна вроде бы в шутку призналась в разговоре: "Я давно поняла: или я все буду делать собственными руками или... Уже смирилась с этим крестом, который сама нечаянно на себя взвалила и от которого в ужасе до сих пор". А потом, помолчав, добавила уже с совершенно иной интонацией: "Никогда не думала: как много, оказывается, может один человек".

И должно было пройти еще несколько лет, прежде чем под Томилино выросла абсолютно не сназочная, а реальная деревня-SOS. Она это сделала! Сегодня Елена Сергеевна Брускова — президент Российского комитета Детские деревни-SOS.

Как много может один человек...

Осторожно: семья!

Нан и многие другие деревни в мире, российская строилась на деньги "Ниндердорф-SOS Интернациональ" и Фонда Гмайнера. На эти же деньги содержится и се-

годня. Вклад российской стороны тоже есть: земля под строительство выделена в безвозмездную аренду Комитетом образования Москвы. А за прокладку подземных коммуникаций заплатило вместе с Фондом Гмайнера московское правительство.

Удобной и красивой мебелью коттеджи были обставлены с самого начала. А вот все остальное матери выбирали и покупали по своему вкусу и разумению. В итоге дома похожи только снаружи. Внутри же у каждого свой, индивидуальный стиль, свой, не похожий ни на один другой домашний запах. Есть строгие интерьеры, есть "в рюшечках". Есть с низкими стелпанами, есть и такие, где книг вообще не видно. Никто за это маму не упрекает: твой дом — твоя крепость.

В наши же с вами дома не приходят инспектора с проверкой, не указывают на то, что книг, дескать, мало. И в кастрюли наши никакие посторонние контролеры не заглядывают: нуна, чем вы сегодня ребенка кормите? Да мой это ребенок! Чем хочу — тем кормлю. Как могу, как считаю нужным, так и одеваю. И если у меня в доме нет чего-то необходимого — это моя проблема, я решу ее без государственного и общественного вмешательства.

Простая вроде бы вещь, а применительно к детской деревне SOS почему-то не всеми понимается. В Томилино нам рассказывали: приезжают, например, журналисты — милости просим, гостям здесь рады и всегда отворяют двери. Но ведь в обычной жизни вы не придете в гости дане к близким друзьям без звонка, без предупреждения, без спроса — а ждут ли вас, не занята ли семья чем-то важным, сугубо личным? В Томилино приходят. Могут заглянуть в холодильник — из профессионального любопытства, могут отправиться самостоятельно бродить по дому. Странные люди, понимают плечами томилинцы, или им в детстве не объяснили, что воспитанный человек не должен себя так вести? Решили воору-

житься правилом, принятым в австрийских деревнях, открытых для посетителей, но бдительно оберегающих права семей: один дом в неделю — дежурный, и именно сюда приглашают заезжих гостей. Получается одно дежурство в два с половиной месяца. В остальное время в дом даже директор детской деревни, Леонид Митяев, без предварительного звонка не позволит себе зайти.

О том, что Российский комитет Детские деревни SOS проводит конкурс на вакантную должность главы будущего томилинского семейства, Леонид Львович Митяев, директор средней школы в подмосковных Мытищах, узнал случайно, из газеты. В принципе, ничего в жизни можно было бы и не переименовывать, все уже сложилось, и совсем не плохо: имеется семья — жена, хирург-офтальмолог, и двухлетний сынишка; есть квартира в Мытищах, есть привычный круг друзей. Но когда-то давно он читал о Гмайнере. После газетного объявления — пошел в библиотеку, чтобы прочитать побольше, и, чем больше узнавал о модели SOS-интердердорф, тем серьезнее входила в его существовавшую, так славно налаженную жизнь эта идея попробовать! Встретился с Еленой Сергеевной Брусковой, заполнил анкету.

По Гмайнеровской модели тридцатилетний семейный Леонид Митяев годился в директоры идеально.

Сейчас в Томилино 55 ребятшек в возрасте от 2 до 15 лет. Количество детей в семьях разное — в одной может быть четверо, в другой — семь. Одни мамы предпочли взять всех сразу, другие набирают свою семью постепенно. Детей тоже подбирает комитет. Не каких-нибудь особенных. Тех самых, которых мы сегодня, увы, нередко встречаем просящими подаяния. Стриненные бродяжки, никому не нужные, брошенные. Почему же мы говорим о подборе?

Во-первых, из детских домов, как правило, ребят не забирают: там они уже





адаптировались, как-то приспособились, принились — помать привычное лишний раз вряд ли на пользу детям. Во-вторых, отбор состоит и в том, что мать детской деревни имеет право не взять того или иного ребенка. Пренде чем его привезти, матери показывают фотографию и знакомят с личным делом. Мать, и только она, решает, возьмет она именно этого сорванца или нет, если чувствует, что не сможет с ним сладить, а главное — полюбить. Сердцем решает, интуицией? Но это только ЕЕ решение. И ошибок до сих пор не случалось.

Как трудно быть центром вселенной

Первыми Татьяна Алексеевна Пичугина идала брата и сестру, снова и снова представляя встречу. Что снамет мальчику, как заглянет в глаза его сестренке, как будет показывать дом. Их Дом. Ее и ее детей. Мальчина и девочку, братина и сестры, сына и дочки. И вдруг...

Приход Леонида Львовича был полной неожиданностью: "Татьяна Алексеевна, взгляните, — протанул ей директор тоненькую папку с документами, — нам могут уже сегодня привезти мальчика. Но можно, конечно, и подондать... Решайте". Она "решить" попросту не успела — выдохнула: "Дайте сейчас!" И только в следующую сенуду пришло: "Господи, что я такое говорю? Да как же это — так вот, сразу... Я ж не готова сегодня! Я же... боюсь. Вида не подаяю, а сама боюсь до смерти! Одно дело, чему на курсах учили, и совсем другое, что в жизни станет получаться".

Встречать Андрюшку вышли всей деревней. Кто бананы несет, кто баночку йогурта шоколадного... Больше года с того дня прошло. Сейчас уже всей деревней новеньких не встречают. Встречают семьей. А онидает пополнения в своем доме каждая мать по-прежнему в сомнениях и тревогах. Когда женщины описывали нам

это состояние, невольна напрашивалось: так же идут ребенка беременные. Кто родится, каним он будет, смогу ли я дать ему все, что надо, каной стану матерью?

— Димку привезли, — вспоминает Татьяна Алексеевна, — я беру его на руки, а он словно камень. Холодный, снался, отстраняется от меня.

О родительском доме, о пренней жизни здесь детей не спрашивают. Они сами потом расснажут, когда оттают. Когда возникнет потребность выговориться. Вот тогда маме надо слушать! Сидеть и слушать, как бы ни было нутно и кание бы срочные и неотложные дела и заботы ни призывали. Если ребенок заговорил — значит, выздоравливает. Значит, выходит из него злая страшная память. Хуне, если воспоминания намертво врасрут в душу и ребенок будет жить с этим.

— Андрей меня долго мамой не называл, — споино, почти умиротворенно рассказывает мама Таня, — Наташа дондалась вечера, Димка терпел дня три... А Толя — сразу! Да так ко мне кинулся, что я испугалась. Он с отцом рос, матери вообще не знал и вот уже сколько месяцев со мной, а все не отходит... Тяжелый, восемь лет — и все время на руки просится. Я иной раз даке рассернусь: "Ну займись чем-нибудь, я устала!" Но ведь понятно, почему не отходит... Наташа — ей тоне восемь — терпит весь день, а спать унадываю, мою руку хватит и не отпускает. "Мамочка, ну посиди еще!"

Сидим в гостиной Татьяны Алексеевны. Эту неделю их дом — "денурный по приему гостей". Все ее четверо ребятешек тут же. Показывают альбом семейных фотографий; недавно купили "мыльницу".

В этом доме нам были рады, нас с удовольствием развлекали и наперебой предлагали фруктовую жвачку. Но центром маленькой домашней вселенной, безусловно, являлась мама Таня. Мы — всего лишь приятное разнообразие этого буднего дня. Гости. Как пришли: так и уш-

ли. А вот от мамы внимания требовал каждый, чуть не ежеминутно напоминая: я — вот он, ты не забыла?.. я — здесь, и ты моя мама.

— Мам, а где моя машинна, ты не видела?

— Мама, мы когда сегодня обедать будем?

— Посмотри, мне что-то, кажется, в глаз попало...

Хитрее всех Наташа. Мама ей говорит: "Наташа, иди, погуляй на улице". "Там дождик", — отвечает Наташа. "На дождик?" — искренне удивляется мама. Комната залита солнечным светом. "Дождик", — обреченно вздыхает девочка. И, понимая, что уловка не сработала, добавляет: "Скоро пойдет".

— Когда училась на курсах, готовилась к работе в детской деревне, думала, будет легче. Унасно устала за этот год — приналась, когда ребятня все-таки отправилась на прогулку, Татьяна Алексеевна — Не физически устала — подумаешь, постирать за четверых детьми, нанормить, убрать дом... А вот эмоционально выматываешься, да так, что кажется, уже сил черпать неоткуда — нет такого источника, чтоб восполнил... Они же заняться ничем не могут. Играть не умеют. Читать не хотят. Велосипед купили — интереса ровно на три дня. Самое излюбленное занятие — виснуть на мне. Я понимаю, почему это происходит. Они набирают недоданное, недополученное в родном доме, который родным можно назвать только условно. Утешает вот что — у всех первый год такой, через это проходят все мамы в мире в любой детской деревне.

«Любовь все покрывает...»

О своих детях Татьяна Алексеевна Пичугина говорит: "Толя — моя надежда", "Наташа — моя помощница", "Димна — золото! Удивительно добрая душа, на редкость простой!", "Андрюша... Андрюша вообще вне конкуренции — первенец!"

А вот следующая фраза Татьяне Алексеевне дается не сразу:

— Знаете... они все ждут маму. Свою, Родную. Какая ни есть — а ждут!..

Это момент тяжелый. На нем надо остановиться.

Родительские дни в Томилино — два раза в месяц. Приезжают бабушки, дедушки, родственники, взрослые братья и сестры. Лишенные родительских прав мамы и папы, по правилам, должны получить разрешение на посещение ребенка в органах социальной защиты. Не всем его дают; полной маме в деревне SOS лучше не появляться!

А они "появляются".

Мамы детской деревни не любят говорить о "биологических" матерях. Но если говорят — без тени осуждения и презрения. Следуя гмайнеровской педагогине, из детей нельзя выкорчевывать чувство любви к родителям — какими бы те ни были. Наоборот, в деревнях SOS всего мира эту любовь стараются укрепить. Пренебре всего ради самих детей. Легко ли жить с ненавистью или страхом, с обидой или презрением? Легко ли и возможно ли вообще стать действительно счастливым, имея такие шрамы души? От них одно лекарство на свете есть: любовь.

Этот принцип педагоги детской деревни SOS — один из самых главных и мудрых. Но... Какая же это, должно быть, отчаянная боль и несправедливость — вы за ребенком ходите, не спите ночей, когда он болеет, днем буквально с ног валитесь (и свалились бы, но — нельзя!), отдаете ему все свои силы и любовь, так стараетесь, чтобы он стал счастливым! А приезжает опустившаяся, с испитым лицом и свежим фингалом под глазом женщина, бросившая его — свою кровиночку, родную плоть, — и ребенок бенит к ней, забыв про вас, с радостным криком: "Мамочка!"

Матерям детской деревни переживать это труднее всего.

...Дети знают, что мама Таня им неродная. Она сама предложила звать ее, если хотят, крестной. А это в самом деле так: съездили всей семьей в Коломну, там Татьяна Алесеевна всех детей окрестила. Но Толя, например, не хочет признавать такого "семейного положения". Он настаивает: "Родная!" И иначе как мамой не называет.

— Однанды поехали с ним в Москву. В метро увидел схему, спрашивает, а на какой мы линии? Я говорю: на такой-то. Смотрю, Толя в ужасе. "Это же моя линия! Мы по ней домой ездили. Ты меня туда везешь! Не хочу!" Пришлось выйти, сменить маршрут прогулки...

Почти пятидесятилетний австрийский опыт показывает в подавляющем большинстве случаев, если отношения между биологическими родителями и их взрослыми детьми восстанавливаются, воспитанниками SOS-деревень руководит долг, Сердце же, благодарность, любовь на всю жизнь отдаются маме из детской деревни...

Два "нельзя" и одно существенное "почему?"

...Та мама (единственная), что ушла из Томилино, была молодая, 28 лет. И сначала очень рвалась работать. Так рвалась и так начала работать, что не брала выходных и, что хуже всего, пыталась решать все проблемы с детьми сама. Не выносить сор из избы — в обычной жизни, может, и правильно. Но здесь... Женщина, как говорят в Томилино, просто загнала себя в угол. Она воспринимала естественно возникающие проблемы как собственную ущербность, неспособность и долго скрывала их, не позволяя тем самым себе помочь. Пока не случился срыв.

— И теперь у детей другая мама? — спрашиваем директора.

— Да. Она работала тетей. Дети звали ее тетя Юля. В семье было четверо детей. Теперь — пять, приняли в свой дом еще одного малыша.

(По модели Гмайнера, в деревнях, кроме мам, живут тети — женщины, заменяющие их, когда они уезжают на выходные, в отпуск или заболевают. Часто, пройдя такую капитальную стажировку, тети сами становятся мамами в детской деревне-SOS.)

Случаются здесь и "детские" ЧП. Как-то мальчик поспорил с сестрой. Она ему сказала что-то обидное, типа: "Ну и не приходи домой!" Он и не пришел. Вечер, ночь — его нет. Вот был ужас для всей деревни! Лес прочесали, на станцию сбегали — не знали уже что делать. Слава Богу, догадались залезть на крышу гаража, а он там. Ругать Вовочку уже сил не было, да и почему-то не получается здесь детей ругать. Только спросили: "Вовочка, почему же ты не отвечал, когда тебе кричали? Тебя же звали!" А он в ответ: "Я отвечал. Я головой кивал".

Был и один побег из Томилино. Несколько родительских дней подряд к двум мальчикам никто не приехал. Они встали в шесть утра, собрали рюкзаки — и тихонько на станцию. Но в электричку не сели; решили, что надежнее пробираться вдоль железной дороги — не заблудиться, и не на виду. Дошли до Люберец (пять минут езды электричкой). Остановил их не милиционер, а прохожий. (Есть, описывается, люди, у которых дети на улице все еще вызывают интерес и тревогу.) Он и отвел ребят в милицию.

— Мы подобных случаев с самого начала не исключали, — говорит Леонид Митяев. — Потому что стремление ребенка увидеть родных естественно. Когда нашли беглецов, я только и смог сказать: "Мама-то как за вас волновалась. Надо, наверное, извиниться". Один сразу побежал, уткнулся в колени, плачет. Другой тянул неделю. А семья как раз в театр собиралась. Мама пришла ко мне: "Не извиняется. Может, не брать его за это в театр?" Ну, почему не брать?..

И ничего в том страшного, что слова извинения у малышки нашлись только через неделю. Все должно выйти, созреть естественным образом. А до этого сроча, — захоти мы «донять» его угрозой наказания, — раскаяние могло быть неискрытым. Зачем же нам, взрослым, воспитывать в детях фальшивость чувств?

Что касается ситуаций, когда у мамы сдают нервы...

«Чувствую, что сейчас сорвусь, накричу или вдруг ударю (хоть этого, тыфу-тыфу, пока не случилось. Бог милосерден) — ухажу. Выхожу из дома, иду к соседке, да куда угодно», — делилась опытом одна мама.

Это единственное табу, которое в детской деревне — закон. Нельзя ударить ребенка. Все остальные запреты определяет каждая семья для себя. В одном доме, например, разрешается гулять до темна, в другом — строго в девять вечера «спокойной ночи, малыши». В одном запрещают играть в карты, в другом мама на это внимания не обратит: все через «дурачка» прошли...

Впрочем, есть еще одно жесткое «нельзя» для мам. Это оговаривается сразу будучи матерью в детской деревне, женщина не имеет права выйти замуж. Если же она все же решится связать свою судьбу с кем-то — ей от души пожелают счастья, подарят подарков и торжественно проводят: из детской деревни ей придется уйти. Женщина, пожелавшая стать матерью чужим детям, знает заранее, на что идет.

Хотя, казалось бы, разве это плохо, если мама детской деревни выйдет замуж за такого замечательного мунчинку, который разделяет ее нравственные жизненные позиции, и тоже готов отдать себя чужим детям? Ведь тогда у детей будет не только мать, а и отец, без которого не может быть полноценной семьи...

Но модель Гмайнера, повторимся, работает только так: когда во главе семьи

женщина, сознательно отказавшаяся от личной семейной жизни, чтобы была семья у чужих детей.

Хозяйство

Десять мам. Четыре тети. Директор. Бухгалтер. Водитель. Завхоз, прихолог, педагог... Вот и весь штат томилинской деревни.

Все эти люди получают обычную зарплату. И мамы — тоже. Она у них — полтора миллиона в месяц. Не назовешь большой, но, говорят, вполне терпимая. Относительно финансов действует один, зачатый еще Гмайнером, принцип: разумность и умеренность денег чуть ниже достаточного, но столько, чтобы прожить достойно. Шина быть не должно. «Если на нас завтра, — говорят в Томилино, — обрушится золотой дождь, деревня будет жить на те же деньги, по тому же принципу. «Лишние» деньги пойдут на строительство новых деревень».

Кроме: зарплаты, мамы получают по 700 тысяч в месяц на содержание каждого ребенка. Плюс 500 тысяч рублей — на содержание дома. Бюджет детской деревни утверждается на правлении Российского комитета Детские деревни-SOS.

Мамы тратят деньги по собственному разумению. У каждой имеется три тетрадки. В одной расходы на продукты. В другой — на одежду, обувь, школьные нужды. А третья — расходы на содержание дома. Этих тетрадок вполне достаточно для отчета. Скорее даже, эти гроссбухи им самим помогают рационально вести хозяйство.

Такого безобразия, как задержка зарплаты, Томилино, слава Богу, пока не ведает. Здесь самое время напомнить единственную пока российская детская деревня-SOS, полностью содержится на средства Международного комитета «SOS-Ниндердорф Интернациональ». То есть, на те самые шиллинги,

пенсы, злотые, марки, сентаво и т. д., которые со всего мира ежеквартально перечисляют в Фонд Гмайнера миллионы — «многие понемногу» — друзей детских деревень. В нашем Отечестве, как сказали в Российском комитете, таких друзей не более двадцати. Присылают по 30 тысяч рублей в квартал. Взамен получают благодарности от жителей деревни — письма о том, как они живут, на что расходуют деньги.

Улица Германа Гмайнера, дом 1

В постперестроечной России первооснова благотворительности представлялась иначе, чем открыл ее для себя пятьдесят лет назад Герман Гмайнер: надеялись на богатых, на то, что они отвалят на доброе дело сразу большой "кусоч". И сейчас, похоже, это заблуждение не изжито. Люди среднего и ниже среднего достатка уверены, что то немногое, что они могут от себя оторвать, — мелочь, с которой и соваться то стыдно, и помочь никому не можешь. А опыт детских деревень убеждает — по шиллингу, по рублю вполне хватит для благого дела, если оно заинтересует многих.

Томилинские дети знают, на что существуют детские деревни во всем мире. На пожертвования самых обычных людей. Таких, какие живут с ними в деревне. Таких, какими вырастут они сами.

Детей приучают помнить добро. Во многих зарубежных деревнях-SOS домам присваиваются имена тех, с чьей поддержкой они были построены. В Томилино пока только одно имя указывает на то, что и эта традиция будет здесь чтиться всегда, — имя Германа Гмайнера. Так названа улица, на которой стоит деревня. А вот в уже строящейся под Орлом второй российской детской деревне, может быть, появятся и именье дома. Вся эта деревня строится на

деньги швейцарки Монин, которая получила большое наследство, и на семейном совете со своими мужем и детьми — их у нее четверо — решила распорядиться наследством таким образом: помочь русским сиротам. Туда же, под Орел, направила солидную сумму немка Габриэла Биттендорф. У ее денег тоже любопытная история. Известный в стране политик, она попросила своих друзей не делать ей дорогих подарков к юбилею, а собрать деньги, чтобы отправить их потом на строительство детской деревни-SOS в России.

В Австрии на детские деревни-SOS 25 процентов нужных средств отпускает государство. В России на подробную милость сегодня рассчитывать не приходится.

Обиды на то, что российская сторона мало помогает детской деревне, ни у кого нет. "Достаточно того, что никто не отказывает, — говорит Леонид Митяев, — и какие-то небольшие заказы на любых заводах для нас бесплатно делают — только попроси и объясни, кому и на что это нужно".

Попытались томилинцы на первых порах собирать деньги по болгарскому варианту писали письма с рассказами о SOS-деревнях, об исполненной мечте великого австрийца — томилинской деревне и раскладывали в почтовые ящики жилых домов.

Нулевой результат. Способ, успешный для болгар, у нас не сработал. Почему?

Решайте сами, читатель. Варианты ответа у каждого, наверное, найдутся свои. Мы же решили их не искать — просто перечислим гонорар за нашу статью по адресу: 140070, Московская область, Люберецкий район, Томилино, улица Германа Гмайнера, дом 1. Детская деревня-SOS.

Да и 30 тысяч рублей, отправленных по этому адресу один раз в квартал, нас с коллегой, пожалуй, в дальнейшем не разорят.



СТЕКЛЯН



Сергей Устинов

Пошел дождь, и я понял, что мне хана.

Я сидел на середине ската крыши, упираясь ногами в трубу воздуховода, а кругом было сплошное дерьмо. Как я добрался сюда от чердачного окна — одному Богу известно, но я сделал это, когда крыша была сухая. И птичье дерьмо, покрывающее крышу, тоже было сухим. Я помню, как эта отвратительная корка хрустела под моими подошвами, я чувствовал ее ладонями сквозь тонкую ткань нитяных перчаток. Полагаю, нормального человека могло бы и вырвать — я, во всяком случае, ощущал позывы. Но нормальные люди не лазают ночами по загаженным московским крышам, где, к тому же, проржавевший лист кровельного железа трепещет от каждого порыва ветра и, того гляди, в любое мгновение может сорваться и улететь в темноту. Вместе с тобой.

Нормальные люди вообще не берутся за такую работу, но я вот взялся и, добравшись с грехом пополам до нужного мне вентиляционного канала, решил было, что дело выгорело. Опрометчиво, ах, как опрометчиво! Заморосил этот чертов дождь, все вокруг сделалось отвратительно липким, предательски скользким, и стало ясно, что мне придется выбирать: с риском для жизни попробовать выползти отсюда по этому размокшему дерьму или остаться на месте ждать, пока кончится дождь, пройдет ночь, выглянет солнце. И в его свежих лучах я предстану взорам проснувшихся жителей окружающих домов во всей своей прелести: одинокий красавец-мужчина на полуотвесной крыше в обнимку с вентиляционной трубой посреди живописно раскинувшейся плантации гуано.



Выбирать, безусловно, придется, но не сию секунду. Потому что, раз уж я добрался до места своего назначения, надо сперва выполнить работу, за которую взялся. За которую мне, между прочим, платят деньги. И, кроме которой, ничего другого, чем в наше время можно было бы сносно прокормиться, я делать не умею.

Обхватив ногами короткий вентиляционный столбик, я из правого кармана извлек наушники и нацепил их на уши. Шнур от наушников на ощупь воткнул в гнездо магнитофона. Потом из левого кармана вытащил катушку с леской, на конце которой заранее была прикреплена "Стрекоза". Этот очень чувствительный передатчик с конденсаторным микрофоном имеет то преимущество, что размер у него не больше пиджачной пуговицы. И тот недостаток, что весит он девять с половиной граммов. Поэтому сразу над ним я прикрепил к леске свинцовое грузило. Теперь все было готово к работе, и я принялся аккуратно опускать "Стрекозу" в вентиляцию.

Дождю надоело моросить, и он припустил как следует. У меня не было твердой уверенности, что вся эта техника приспособлена к работе в подводных условиях, поэтому пришлось пошире распахнуть полы куртки и прикрыть аппаратуру собственным телом. В результате чего струи воды с капюшона стали затекать за воротник рубашки. С каждой секундой мне становилось все мокрее и все отвратительней, но я героически медленно стравливал леску, в темноте тщательно считая пальцами узелки, завязанные через каждые десять сантиметров.

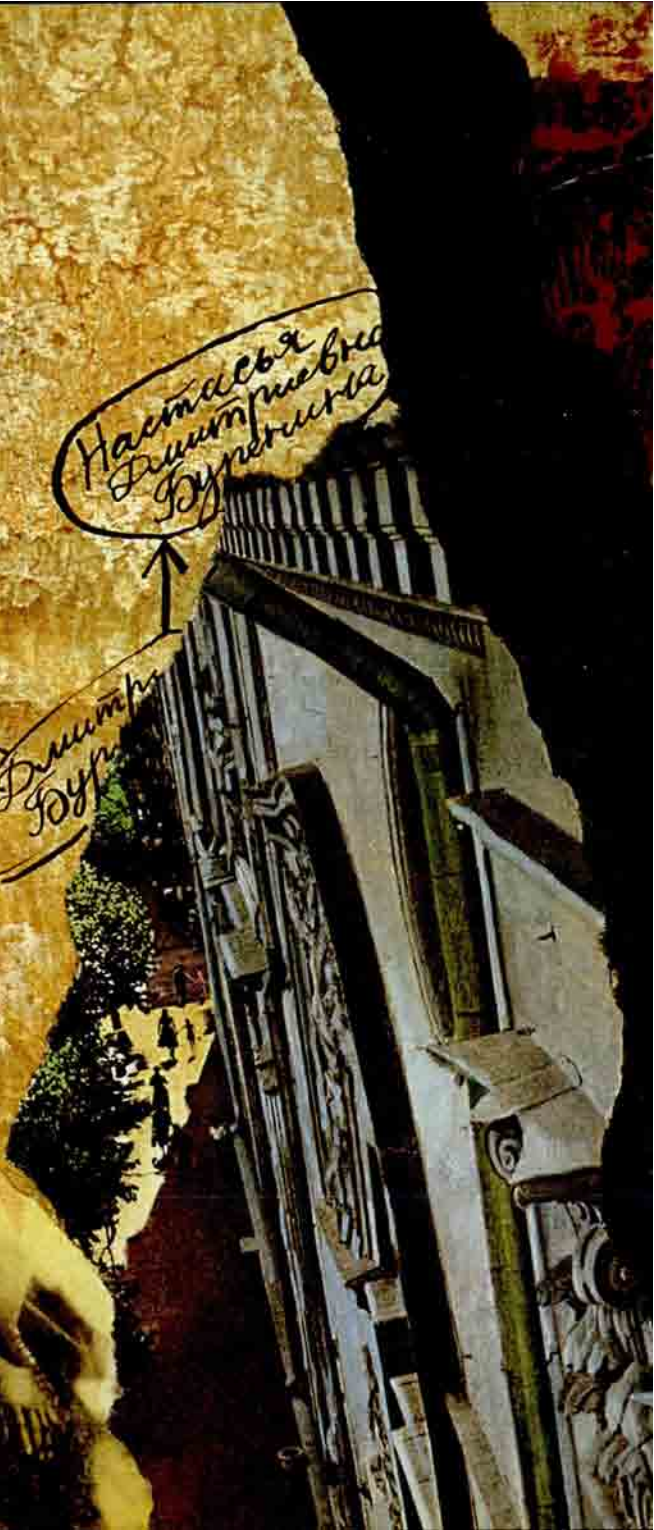
Ошибиться было нельзя: "Стрекоза" отличный микрофон, но если я промахнусь больше чем на полметра, ничего слышно не будет. Сорок де-



Начинается
Дружба
Дружба

Начинается
Дружба
Дружба

Дружба
Дружба





ПЛА

- 1. Ареф
- 2.

вать, пятьдесят, пятьдесят один... По моим расчетам, выходило, что сейчас "Стрекоза" должна зависнуть где-то неподалеку от вентиляционной решетки в нужной мне квартире на четвертом этаже. Пора останавливаться. Стараясь не слишком менять положение, я осторожно перехватил леску зубами, переложил на колени магнитофон с приемным устройством, нажал кнопку записи, и звук немедленно ворвался мне в уши.

— А-ах, — стонала женщина, — а-ах, так, так, еще...

Я сразу узнал ее голос и с удовлетворением констатировал, что не просчитался, точно вывел "Стрекозу", что называется, в заданный район. Там, в ресторане, все столики поблизости были заняты, и я не мог оказаться совсем рядом с ними, зато мне удалось это в гардеробе, когда швейцар подавал им плащи. В этот момент она кокетливо сказала:

— А французы, между прочим, говорят, что устриц можно кушать только в те месяцы, где в названии есть буква "р" — с сентября по апрель.

Он что-то ответил ей, что — я не расслышал, потому что он стоял ко мне спиной. Она рассмеялась и проговорила упрямо, тоном капризной девочки:

— Негодник, ты накормил меня устрицами в мае!

Вот тут я и запомнил этот высокий голос с застрявшей где-то в самой глубине дребезжащей ноткой, тонюсенькой, как вольфрамовая нить в ми-ньоне.

Из нагрудного кармана я вынул складной нож, перерезал в нужном месте леску, а затем с помощью загодя приготовленного куска сырой резины прикрепил ее конец к внутренней стороне трубы. Теперь мы стали независимы друг от друга, "Стрекоза" и я: приемник ловит сигнал на расстоянии до трехсот метров, а магнитофон записывает в автоматическом режиме, то бишь, включается одновременно с появлением звука.

Впрочем, недостатка в звуках покуда не ощущалось.

— Вот здесь... да... сюда! Сильнее, сильнее!.. — женщина кричала красиво, повизгивая, и вдруг, ни к селу ни к городу, начинала хихикать, будто ее щекочут. Мужчина в свою очередь пытался и кряхтел, как при перетаскивании тяжестей. Сворачивая оставшуюся леску и рассовывая по карманам прочий реквизит, я с огорчением размышлял над тем, что в кино у артистов все выходит как-то привлекательней, а мы, простые грешные, со стороны, наверное, в такие минуты не всегда выглядим наилучшим образом...

Моя работа была сделана, пришла пора покидать сей уголок. Оценив обстановку, я еще раз с огорчением констатировал, что отсюда придется-таки именно выползть. Причем, натурально, на брюхе, чтобы как можно больше увеличить площадь соприкосновения с крышей. При этом, разумеется, увеличится площадь соприкосновения с дерьмом, но тут уж ничего не попишешь: все хорошо быть не может.

Прикинув, что до чердачного окна метров пять, я лег плашмя и, извиваясь, как уж во время линьки, двинулся вверх. Когда позади остались первые полметра, я с досадой обнаружил, что второпях забыл снять наушники. Но теперь, находясь в позе распластанной на лабораторном столе лягушки, об этом думать было поздно, поэтому свой отчаянный марш-бросок по-пластунски я осуществлял под аккомпанемент не на шутку расходившейся дамочки.

— Давай, давай! — хрипло вопила она, словно подбадривала любимую хоккейную команду.

И я давал. Уж не знаю, как ее спарринг-партнер, а я давал изо всех сил. Что было мочи упирались локтями и коленками в холодное скользкое железо, да так, что, похоже, финишировали мы практически одновременно. Как раз когда мне удалось ухватиться за трухлявый край слухового окна, она издала длинный вибрирующий стон, после чего я перевалился внутрь чердака, больно ударился плечом о густо усыпанный перьями, но, к сожалению, не ставший от этого мягче деревянный настил, остервенело сорвал с себя наушники и больше не слышал ничего, кроме возмущенного хлопанья крыльев спрятавшихся здесь от дождя птиц.

Мокрый и злой, перемазанный пометом и извалянный в перьях, я спустился вниз и вышел на темную улицу, размышляя о том, как выгляжу со стороны. Жертва выездной сессии суда Линча. Но, слава Богу, в этот поздний час по пути к машине мне никто не встретился. Мой "опель-кадет", старая боевая лошадка, понуро стоял посреди большой и, судя по всему, довольно глубокой лужи. Но это новое испытание уже не могло еще больше ухудшить мне настроение, и я обреченно двинулся вброд, мгновенно набрав полные ботинки воды. Достав из багажника кусок ветоши, я кое-как обтерся, с омерзением содрал с себя насквозь промокшие, перепачканные дерьмом нитяные перчатки, после чего пришла пора задуматься над дальнейшими действиями.

По науке, по всем писанным и неписанным правилам мне надлежало сидеть в машине в непосредственной близости от объекта слежки и контролировать, как идет запись. Но мысль о том, что мне еще и остаток ночи предстоит провести таким же грязным, промокшим и продорогшим, возмущала сознание. В конце концов, должны же у человека, который работает не на дядю, а на себя, быть какие-то преимущества! Короче, едва встав на путь подобного вольнодумства, я довольно быстро сам с собой согласился, что это как раз тот самый случай, когда кое-какими правилами можно и пренебречь. Засунул приемник с магнитофоном под переднее сиденье, закрыл машину и двинул в сторону дома.

Идти, к счастью, было недалеко. Дождь барабанил по капюшону, словно что-то занудно бубнил и втолковывал, но я к нему почти не прислушивался, а думал о своем. Мысли были просты и незамысловаты. Горячий душ. Бутерброд. Чай. Спать. Идти к дому вокруг квартала или напрямик через дворы? Можно и без бутерброда. Даже без чая. Через дворы темнее, больше луж. Но что мне лужи? Что я лужам? Зато быстрее. Горячий душ и спать.

У метро я свернул под арку и резко остановился. Во-первых, вопреки ожиданиям, там оказалось светло, как днем. Во-вторых, проход был перегорожен натянутой поперек полосатой ленточкой, по другую сторону которой стояли двое, один в штатском, другой в милицеейской форме. В глубине арки толпилось еще много народу, но с той стороны мне в лицо светили несколько мощных ламп, и я не мог разглядеть подробней. Зато в штатском я узнал старшего опера райотдела Харина.

— А, господин Северин, — проворчал он при виде меня, — тебя-то сюда кой черт принес?

— Принимаю воздушные ванны, — не слишком любезно сообщил я в ответ, стараясь не поворачиваться к свету измазанным в дерьме животом.

Но он, похоже, все равно что-то углядел, потому что, ослабившись, коротко хохотнул:

— Похоже, не воздушные, а грязевые. Небось, из какой-нибудь канавы за чужими задницами в бинокль подглядывал? — И добавил, не скрывая злорадства: — Ох и поганая у тебя теперь работенка!

Не любит меня Харин. Но и я его не люблю. Круглая бабья рожа с веч-но мокрыми губами, и при этом разговоры только про одно. Как в той солдатской байке: я об ей завсегда думаю... У него и фамилия какая-то говорящая. Есть такая категория похабных бабников, которых живо интересует вообще все, что движется, но еще больше им важно, чтоб можно было потом об этом со вкусом, с влажным таким похохатыванием рассказывать. Говорят, у него в кабинете за шкафом всегда для этих целей наготове зимний милицейский тулуп. Прыгают на этом тулупе и пуганочки с аэровокзала, и девчонки-ларечницы, и торговки с Инвалидного рынка. Болтают, заваливает Харин на свой тулупчик и жен подследственных... Как это Тима Прокопчик его называет? Наплечных дел мастер.

— Пройти-то можно? — спросил я, твердо решив в словесную свару с ним не ввязываться.

— Проходи, — дернул головой Харин, — мы уже заканчиваем.

Я молча поднырнул под ленточку, а он, хоть никто его и не спрашивал, словоохотливо пояснил:

— Бабу зарезали, а зачем — непонятно. Сумка на месте, трусы на месте. Зато горло — от уха до уха. Похоже, маньяк какой-то.

Проходя через арку, я увидел, как санитары грузят на носилки что-то похожее совсем не на человеческое тело, а на тяжелый куль в цветастой упаковке. По асфальту, смешиваясь с дождевой водой, растекалось малиновое пятно. Зябко подумалось, что бедная женщина тоже, небось, вроде меня, сунулась сюда, сокращая путь к дому. Вот и сократила. Только маньяка нам здесь не хватало.

Уже шагов через десять световое пятно под аркой расплылось в пелене дождя, и я зашлепал по лужам почти в полной темноте. Впрочем, тут я бы не заблудился и с завязанными глазами. Это был мой двор, двор моего детства. Он, конечно, менялся с годами, местами дряхлел, а местами, наоборот, обновлялся и перестраивался, но все равно оставался м о и м двором.

Здесь, в палисаднике Дома-где-метро, под сенью цветущих яблонь, мне впервые начистили морду — Ленька Гольбах с двумя друзьями. Очень яркое воспоминание. Наверное, потому, что хорошо так надраили, без дураков, неделю носу на улице не показывал. Синяки сошли быстро, а яблоневый аромат по каким-то фрейдистским, вероятно, причинам еще долго вызывал у меня ощущение легкой пустоты в желудке и слабость в коленях. Тут, в парадном Стеклянного дома, я первый раз поцеловал девчонку, Верку Дадашеву из параллельного класса. Поцеловал-то всего-навсего в щечку, а ходил надутый от гордости, как индюк. Вон там, за кирпичной стеной трансформаторной будки, от древности шербатой, как египетская пирамида, самодельными свинцовыми битами, изготовленными на костре в банке из-под гуталина, мы азартно резались в "расшибалку", так что звон пята-

ков и наши вопли разносились на всю округу. Там нас однажды и застукала, как сказали бы теперь, группа захвата, состоящая из завуча, физикультурника и участкового, — с конфискацией имущества, разумеется.

Трансформаторная будка жива, гудит себе задумчиво в темноте слева от меня, сплетаясь этим гулом с шумом дождя. А яблоневого запаха в палисаднике больше нет, потому что нет давным-давно ни палисадника, ни самих яблонь — вырубили, когда строили Цэковскую башню, в просторечии цэкуху. Зеленые насаждения ныне представлены лишь поросшими чахлой травой, похожими на надгробья прямоугольными кирпичными клумбами по бокам подъездов Стеклянного дома. Кстати, в его парадных теперь не только-то поделуешься: здесь с некоторых пор круглые сутки дежурят суроволицые дядьки и теткы из бывших вохровцев, которых сначала по старинке еще называли лифтерами, а по нынешним временам именуют красивым словом "секьюрити".

Еще шагов пятьдесят, и передо мною посреди разверзшихся хлябей темной громадой возник мой "жилтовский", твердь обетованная. Над нашим подъездом даже покачивалась лампочка, мутное, как луна за тучами, едва различимое в потоках дождя пятнышко. Последние метры я шел, едва переставляя ноги от усталости. В ботинках хлопало, намокшие штаныны облепили икры. Нет, не чай и не бутерброд. Коньяк. Хороший стаканчик коньяка — вот что мне сейчас нужно. Коньяк, душ, а потом уже все остальное, именно в такой последовательности.

Воодушевившись этой идеей, я едва дождался, пока наш лифт, сработанный, по-моему, как тот водопровод, еще рабами Рима, кряхтя и отдуваясь, втащил меня на шестой этаж, ввалился к себе в квартиру, прямо в прихожей остервенело сорвал с себя все свое промокшее изгаженное обмундирование, швырнул его на пол и в одних трусах устремился к бару. Даренный благодарным клиентом "Мартель" подействовал почти мгновенно. По иззябшим, измокшим членам потекло блаженное тепло. Появились силы не только принять душ и сделать чай с бутербродом, но даже разобрать и сунуть в корзину для грязного белья брошенную в прихожей одежду. После чего с непередаваемым блаженством я упал на кровать, вытянулся под одеялом и обнаружил, что спать не хочется.

Наверное, это возраст. Когда-то, умотавшись на работе, я обладал способностью засыпать, не донеся голову до подушки. Теперь вот новые новости: бессонница от усталости. Рассвет уже выглядывал из-за занавески, как артист, ожидающий выхода на сцену, а сон то накатывал, то откатывал, словно играл со мной в кошки-мышки. Может, показалось, может, правда из ванной потянуло от моей одежды запахом разомлевшего в тепле гуано, и некстати, а скорее всего, именно кстати, вспомнился анекдот. Приходит молодой человек на свидание, а от него не свет... ну примерно, как только что от меня. Я, объясняет он даме, работаю на аэродроме, сливаю после полетов нечистоты из резервуаров под сортирами. А сегодня шланг прорвало... Почему же вы, сильно морщась, удивляется девушка, не бросите такую работу? И парень с тихой затаенной гордостью отвечает: "Не могу расстаться с авиацией".

Смешно. Пока не про тебя.

Странно, но момент засыпания я так и не уловил. Вот только что мне еще казалось, что сон нейдет — и практически сразу после этого я ощутил себя сидящим на постели, с покрывшей все тело гусиной кожей и с сильно бьющимся сердцем. За окном окончательно рассвело, дождь кончился, в изголовье горел забытый свет. И звонил, трещал, гремел на всю квартиру телефон. Машинально глянув на часы, я увидел, что время — без четверти семь, мысленно обматерил идиота, которому приспичило звонить в такую рань, и снял трубку. Голос в ней был какой-то странно-квакающий и показался мне совершенно незнакомым, хотя и звал меня по имени:

— Стасик, Стасик, — клокотало и булькало в трубке, — Стасик, Женьку убили, зарезали Женьку...

Спросонья я ничего не мог понять. Какого Женьку зарезали? При чем здесь я? И вдруг, окончательно, наверное, проснувшись, догадался, что это булькает не в трубке, это клокочет в горле у человека на том конце провода. Что человек этот давится слезами. И тогда сразу же узнал его голос, и ужаснулся, потому что понял, какую (а не какого!) Женьку зарезали.

И хотя я все еще продолжал держать рыдающую трубку возле уха, слова туго доходили до моего сознания. Только стояли в глазах давешние носилки с не похожим на человека тяжелым цветастым кулем и малиновое пятно, расплывающееся посреди грязной лужи.

В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ

Котик Шурпин сидел у стены, растекшись по креслу для посетителей, как большая, выброшенная штормом на берег медуза.

Он больше не плакал, но его лицо, в обычной жизни мясисто-розовое, как хороший кусок парной телятины, а сейчас опухшее от слез и бессонной ночи, словно заветрилось, обретя неприятный серый налет. В толстых губах он мусолил огрызок давно потухшей сигары, расслабленно взирая на происходящие в моем офисе события. Отправить его домой одного я не решился и предложил посидеть здесь, в моей конторе, расположенной в моем же подъезде, только на первом этаже, подождать, куда я управлюсь с текущими делами. Дела текли одно за другим, то являлись новые клиенты, то заходили с какими-нибудь новостями внештатные агенты, звонил телефон, скрипел факс, но Котик, казалось, погрузился в глубокую нирвану, перестав замечать не только происходящие вокруг события, но и течение времени. Даже бурный скандал, разворачивающийся посреди моего кабинета и грозивший вот-вот перерасти в рукоприкладство, не вызвал в его глазах ни жизни, ни интереса.

Скандал, между тем, был вполне ожидаемый и даже, можно сказать, запрограммированный. На мой стол наваливался впалой грудью чрезвычайно изысканно одетый (шерстяная пара от Кардена, шелковый галстук от Гуччи), а в остальном довольно маловыразительный типчик ростом с недокормленного тинейджера, но с морщинистым старушечьим личиком, как он сам представился, брокер широкого профиля по фамилии Фиклин. Он брызгал слюной и сверкал на меня глазами.

— Или вы вернете мне деньги, — злобно шипел он, страшно кривя рот и угрожающе потрясая маленькими кулачками, под одним из которых над белоснежным манжетом посверкивал золотой "роллекс", — или... или я...

— Или вы — что? — холодно осведомился я. — Треснете от злости прямо здесь назло моей уборщице?

— Не дождетесь! — выкрикнул он, наливаясь кровью. — А дождетесь, что я закрою вашу паршивую шарашкину контору к чертовой матери! Да, разорю и закрою! Через суд!

— Ах, вот как, через суд? — вежливо удивился я.

— Именно! — подтвердил он, отчетливо скрипнув зубами. — Через суд! Не отвертитесь! — От бешенства ему, видимо, стали плохо даваться длинные периоды, и он продолжал выплевывать в меня односложными предложениями: — Договор! Пленка! Все есть! Невыполнение! Обязательств!

— Позвольте. — Я попытался спокойным, рассудительным тоном понизить градус нашей все больше накаляющейся беседы. — Если все есть, то какое же невыполнение? Вы поручили мне работу, я ее сделал... — При этих словах я вспомнил свои эквилибристические упражнения на мокрой загаженной крыше и мысленно содрогнулся, но на моем тоне, надеюсь, это не слишком отразилось. — Поверьте, я очень старался, и считаю, что гонорар отработан мною в полной мере...

Но мои миролюбивые попытки были отбиты с нарастающей яростью.

— Работу он сделал! — дико кляца зубами, заорал морщинистый, неожиданно резким жестом выхватил из кармана пиджака магнитофонную кассету и принялся размахивать ею перед моим лицом. — Это — работа? То, что вы мне подсунули, это — работа? Я, как идиот, плачу вам деньги, в результате получаю пленку, ставлю ее в магнитофон — и что слышу?! Свадебный марш Мендельсона!

— А вы бы что хотели, траурный марш Шопена? — не удержался я. — Так сказать, похороны любви?

Фиклин неожиданно не то сник, не то перегорел и успокоился. Сунул кассету обратно в карман и сообщил ровным бесцветным голосом:

— Вы жулик.

— По морде — не дождетесь, — быстро ответил я ему. — А вот вытолкать вашей — это запросто.

— Отдайте пленку, — угрожно потребовал он. Ему, не то что Цезарю, подозрений было мало, ему требовались доказательства. — Отдайте, а то будет скандал.

— Не будет, — отрезал я, решив, что пора переходить на жесткий тон. — Гонорар отработан, потому что свои обязательства я выполнил. А вот вы свои — нет. В договоре ясно сказано, что наше агентство не занимается супружескими изменами. Пункт шесть-два-один. А ниже, в пункте семь-два-два, черным по белому написано, что в случае предоставления клиентом заведомо ложной информации об объекте исследования агентство вправе либо прекратить таковое исследование, либо, если информация по объекту уже собрана, не передавать ее клиенту. Вы это читали, вы под этим подписались, и вы нас обманули.

— Она моя секретарша, — снова сжимая зубы, заявил он.

— Но при этом она ваша жена, — парировал я.

— А он мой партнер по бизнесу!

— Да, не повезло вам, — согласился я. — И раз уж вы действительно уплатили мне за работу, я вам кое-что все-таки сообщу, на словах. Так сказать, без протокола. Самое последнее, что интересовало вашего партнера в вашей жене, это ваш бизнес.

Вдруг, потеряв, видимо, остатки самообладания, он скакнул вперед, скрюченными пальцами вцепился мне в плечи, и я прямо перед собой увидел его оскаленную, потерявшую всякий человеческий образ рожу.

— Отдай пленку! — рычал он. — Не надо денег, пленку дай, сволочь!

Я бы мог просто стряхнуть его с себя, как насекомое, но пока посчитал это ниже достоинства руководителя и крикнул в соседнюю комнату:

— Тима! Проводи, пожалуйста, клиента к выходу!

Мой младший партнер Тима Прокопчик вырос на пороге буквально через мгновение, и одного этого оказалось вполне достаточно. Его широкая фигура с крепкими покатыми плечами и длинными руками, а главное, его лицо, исполосованное шрамами не меньше, чем фиклинская физиономия морщинами, на неподготовленных людей производят обычно сильное впечатление. Никто ведь не знает, что на самом деле он человек немогущий и чрезвычайно болезненный, по крайней мере, если верить его собственным рассказам. А шрамы на лице происходят от того, что в далекой юности Прокопчик, катаясь на велосипеде, решил резво проскочить между двух мужчин, гуськом переходящих улицу. Впоследствии оказалось, что это были рабочие, несущие огромное витринное стекло.

Не успел Тима сделать по направлению к нам и двух шагов, как явно относящийся к числу неподготовленных Фиклин отпрянул от меня и в испуге попытался отгородиться от Прокопчика стулом. Но тот легко дотянулся до него, ухватил за ворот дорожного пиджака и, как нашкодившего мальчишку, повел к двери. Фиклин не сопротивлялся. Мгновенно утратив боевой пыл и растеряв агрессию, он теперь только жалобно канючил:

— Ну дайте пленочку, неужели жалко? Что за idiotские принципы? Она же вам ни к чему! Подумаешь, пункт какой-то... Я ведь заплатил... И еще могу заплатить... Скажите, сколько! Тысячу баксов! Полторы!..

— Договор дороже денег, — гордо отрезал я.

Тима же вывел клиента в прихожую, распахнул входную дверь и, прежде чем придать ему необходимое ускорение, дружелюбно поделился с ним житейской мудростью:

— 3-з-за женой надо н-не следить, а ух-х-хаживать!

Наконец, как ни оттягивал я этот момент, оправдывая себя текучкой, навалившимися делами, он настал. Посетителей не было, телефон молчал. Пришло время исполнять долг старого друга. Ведь за чем-то именно мне спозаранку позвонил рыдающий Котик, а потом в самые тяжкие для себя минуты, прямо из милиции, где провел большую часть ночи, явился опять же ко мне.

Что в таких случаях требуется? Надо срочно найти какие-то слова поддержки, утешения. С тоской я думал о том, как половчей приступить к этому деликатному делу. Да, психотерапевт из меня всегда был, как из говна пуля. Ну, что я могу ему сказать, чем утешить? Может, он ждет от меня мнения профессионала? Но вряд ли его успокоит, если,

опираясь на свой действительно немалый опыт, я начну ему объяснять, что шансов на поимку маньяка, убившего Женьку, крайне мало. Что маньяк — это прежде всего отсутствие каких-либо причинно-следственных связей, любых привязок преступника к месту, времени, другим людям и событиям, вообще к чему-то, кроме большого сознания оказавшегося на пути его жены нелюдя. Неведомо откуда возникшего и неведомо куда канувшего. Нет уж, дудки, пускай ему это Харин, или кто там еще, объясняет.

Хода нет — ходи с бубей. Так и не придумав ничего дельного, я тяжело вздохнул и брякнул прямолинейно, по-солдатски:

— Все, Котик, дела на сегодня закончены, вставай, пошли ко мне наверх, вышем за Женьку, тебе это сейчас полезно, а там, если хочешь, оставайся пока у меня, и будем...

Бравурный этот треп застрял в моем горле, потому что Шурпин, словно только что очнувшись от летаргии, поднял на меня воспаленные глаза, и в них я увидел нечто, что мгновенно заставило меня позабыть о роли душевного лекаря. В глазах Котика было страдание, но было в них и еще что-то, какая-то совсем не присущая ему в обычной жизни твердость. Если не сказать — жесткость.

— Ты, наверное, не понял, Стас, — проговорил он медленно, вязко растягивая слова. — Мне твои сопли ни к чему. Я к тебе не за утешением пришел.

— А за чем? — довольно глупо спросил я.

Шурпин помолчал немного, уставившись хмурым сосредоточенным взглядом куда-то мне в переносицу, словно в последний раз что-то взвешивал, прикидывал, и сообщил ровным голосом:

— Я хочу тебя нанять. Официально.

— Нанять? — не понял я. — Для чего?

— А для чего тебя можно нанять? — едко переспросил он. — Полы мыть? Я хочу, чтоб ты нашел убийцу.

Рот у меня сам собой открылся, но тут же и захлопнулся, потому что Котик, опережая все мои возражения, сердито воскликнул:

— Только не говори мне про маньяка! Не было никаких маньяков. И нет. Зато есть по меньшей мере пять человек, про которых я точно знаю, что им нужна Женькина смерть. Нужна — в смысле выгодно. Причем именно сейчас, ни раньше ни позже. Ясно?

Конечно, мне ничего не было ясно. Женька, прелестная и слегка по жизни бестолковая, не слишком бездарный, но и не очень удачливый художник-модельер, встала поперек дороги сразу (по меньшей мере, сказал Котик!) пяти людям, способным, если я правильно понял, на кровавое убийство. Чертовщина какая-то.

— А ты... — осторожно поинтересовался я, — ты в милиции об этом рассказывал?

— Нет, — презрительно выплюнул он.

— Почему?

Прежде чем ответить, он, шипя и чертыхаясь, оторвал прилипший к пухлой губе истерзаный сигарный окурочок и яростно раздавил его в пепельнице. После чего столь же яростно заявил:

— Потому что сразу видно, они — кретины. К тому же эти люди... По крайней мере, трое из них... Менты не станут с ними вязаться. А если станут, то не справятся. Речь идет о деньгах, об очень больших деньгах, понимаешь ли. За которые можно убить кого угодно. И кого угодно купить.

— Отлично. Менты, значит, не справятся. А я, значит, справлюсь, — подытожил я. И саркастически уточнил: — Как говорится, там, где пехота не пройдет, где бронепоезд не промчится, там частный сыщик проползет, и ничего с ним не случится?

Эти стишки на известный браваурный мотивчик сочинил некогда, узнав о моей новой работе, сам Шурпин. Но сейчас, не замечая, или делая вид, что не замечает моей иронии, Котик серьезно кивнул.

— Если и ты не справишься, значит, никто. Но о тебе я, по крайней мере, знаю, что просто так тебя не перекупишь. Что у тебя договор дороже денег.

Наверное, на моем лице по-прежнему отражался весь присутствующий у меня в голове здоровый скепсис, потому что Шурпин нахмурился еще больше, полез во внутренний карман плаща, долго копался там и наконец извлек наружу плотный конверт, туго перетянутый канцелярской резинкой. Раздумчиво взвесил его на ладони, а потом через всю комнату решительно швырнул мне на стол, пробормотав:

— Держи, это тебе.

Я содрал резинку и, честно надо признаться, при виде содержимого конверта изумился самым сильным образом.

— Десять тысяч долларов, — ровным голосом прокомментировал Котик. — Все, что у меня сейчас есть — гонорар за последнюю книжку. Но я хочу, чтобы ты знал: это тебе только аванс, на текущие расходы. Скоро у меня должно быть много денег, прямо чертова уйма. А если мы с тобой найдем убийцу, будет еще больше, понимаешь?

Я абсолютно ничего не понимал, о чем и сообщил ему прямо и неловко. Но вместо немедленных разъяснений он вцепился пальцами в подлокотники, с видимым трудом выволок свое грузное тело из моего кресла и спросил, как мне показалось, невпопад:

— У тебя сейф есть?

Я машинально кивнул.

— Вот и спрячь туда денежки, целее будут. И давай сюда свой договор, я хочу, чтоб все было, как положено.

Разумеется, заполняя бланки договора, я ему первым делом заявил, что все это глупости и что никаких денег я с него не возьму. Конечно, в ответ он немедленно встал в позу и объявил, что в этом случае будет вынужден искать другого детектива, потому что бесплатно только кошки трахаются (именно так он и выразился). Тогда я зашел с другого конца и объявил десять тысяч за работу слишком большой суммой, просто несусветной. На что Котик, многообещающе усмехнувшись, заметил, что я еще пока не узнал сути дела, а уже торгуюсь. И предложил в качестве компромисса считать указанную сумму депонированной в мой сейф с условием окончательного расчета после выполнения работы. Я вынужден был согласиться, в душе надеясь, что никакой работы не будет и мне как-нибудь удастся отговорить Шурпина от... От чего, я, собственно говоря, до сих пор так и не знал.

Идти ко мне Котик отказался, объяснив, что ему необходимо быть дома, отвечать на звонки друзей и родственников, но саму идею немедленно выпить воспринял с удовлетворением. Впрочем, я не помню, чтобы он когда-нибудь воспринимал ее иначе. Состояние легкого подпития, по выражению Прокопчика, было ему столь же присущим, как цыганкам беременность, не мешая, впрочем, ни жить, ни работать. А в такой трагический день и говорить было не о чем. Короче, уже через четверть часа, завершив все требуемые Шурпиным формальности, мы двинулись к нему.

Котик жил в Стеклянном доме. Стеклянным домом называют в нашей округе кооператив "Луч". Почему и зачем "Луч" — теперь уж никто вспомнить не может, хотя старик Гарахов как-то в разговоре высказал версию, что то была великая вольтерьянская вольность шестидесятых, когда, собственно, и закладывался сей зиккурат: кооператив строился для разнообразной творческой элиты, объединение которой под одной крышей символически воспринималось, как некий луч света в конце долгого туннеля. Объяснение не слишком убедительное, да и Гарахов соврет — не дорого возьмет. В любом случае, название не прижилось, а пристало другое — Стеклянный дом, которое объяснялось гораздо проще и наглядней: для уменьшения расходов по строительству на первом этаже здесь был спланирован оборудованный громадными витринами магазин (который, впрочем, так и не был никогда использован по прямому назначению и отдан в аренду какому-то учреждению), а в довершение к этому въехавшие в элитный кооператив новоселы немедленно в массовом порядке застеклили все лоджии на фасаде, и дом засверкал, как огромная хрустальная ваза.

Уже вечерело, и на подходе к подъезду Шурпина нам открылось величественное зрелище: Стеклянный дом кровавым багрянцем пламенел в лучах заходящего солнца. Дежурная баба-яга за конторкой в парадном благосклонно кивнула Котику, одновременно одарив меня подозрительным оценивающим прищуром. Зеркальный лифт вознес нас на девятый этаж. Единственная на площадке нестальная дверь принадлежала, конечно, Шурпиным. Вслед за ним я вошел в их уютную небольшую двухкомнатную квартирку, как-то разом вдруг осознав, что она больше не "их", она теперь только "его", Кости Шурпина. Что никогда больше не вылетит мне навстречу, на ходу вытирая ладони кухонным фартуком, раскрасневшаяся от плиты Женька, никогда не чмокнет меня звонко в щеку, слегка для этого привстав на цыпочки, никогда...

Никогда.

— Ты ж, небось, жрать хочешь, — уже из кухни крикнул Котик, вернул меня к грубой реальности. — Сейчас сгоношим чего-нибудь.

Спустя десять минут на кухонном столе перед нами стояла готовая яичница с ветчиной, салат из свежих огурцов, открытая банка с кальмарами и запотевшая бутылка "Абсолюта", а Котик заканчивал резать хлеб. Я заметил, что он как бы одновременно пребывал в своем горе и при этом проявлял вполне адекватную деловитость: прижимая ухом к плечу трубку радиотелефона, говорил с агентом из похоронного бюро, сам куда-то звонил — и все это, не прерывая приготовления закуски. Усевшись за стол, мы, не чокаясь, выпили по первой за упокой Женькиной души, и Котик сразу налил по второй. Я было попытался намекнуть, что не стоит так

сильно гнать коней, но он в ответ только посуровел лицом, всем своим видом давая понять, что сейчас не время и не место для торговли. За второй с курьерской скоростью последовала и третья. Я понял, что на сегодня обречен, и перестал считать. Кажется, то ли после пятой, то ли после шестой Шурпин принялся рассказывать, и сразу стало ясно, что подтверждаются мои худшие ожидания.

Это была какая-то полуфантастическая история, где, в соответствии с законами жанра, фигурировали, с одной стороны, богатый умирающий старик, обладатель несметных сокровищ, а с другой, множество претендентов на наследство, качественный состав которых отражал чуть ли не весь социальный спектр нашего, прямо скажем, не слишком однородного общества: от дамского цирюльника (чтоб тебе было понятней — визажиста, пояснил Котик) до крупного банкира, наверняка по определению связанного как с правительственными кругами, так и с криминальным миром.

Честно признаюсь, сперва я просто слушал, даже не давая себе особого труда вникнуть в описываемые Шурпиным сюжетные хитросплетения, но очень скоро был разоблачен в своей преступной невнимательности и вынужден извлечь из кармана блокнот и ручку. Впрочем, я и тут откровенно сачканул, делая по ходу его рассказа лишь отдельные пометки. В конце концов, он хотел от меня слишком многого: уже заканчивалась литровая бутылка, и сосредоточить внимание на подробностях было не очень-то легко. Когда она все-таки закончилась и ей на смену появилась из холодильника ее сестра-близнец, он, наверное, тоже понял, что есть смысл отложить продолжение рассказа до завтра.

Дальнейшее помнится уже не так отчетливо. Кажется, Костя принес из комнаты гитару. И вроде бы мы хором слезливо пели любимые Женькины песни:

— *И за тенью сгущается тень,
И скрипит осторожно плетень.
Из-за пары распущенных кос
С оборванцем подрался матрос...*

А потом еще:

— *Бледной луной озарился
Старый кладбищенский двор,
А над сырою-ю моги-илкой
Плакал молоденький вор.*

И конечно, как водится, слегка поскандалили из-за последних строчек песни. Это когда в молоденьком воре, похоронившем маму, которая "жизни совсем не видала, отца-подлеца не нашла", уже после смертного приговора отец-прокурор узнает своего сыночка. Котик настаивал на том, что следует петь: "А над могилкой двойною плакал седой прокурор", я же требовал более жестокого, но справедливого варианта: "Повесился сам прокурор". В конце концов он с неожиданной увлажнившимися глазами вспомнил, что жалостливой Женьке всегда больше нравилось "плакал", а не "повесился", и я безоговорочно капитулировал. После чего мы уже без всяких разногласий дружно исполнили дуэтом "В Кейптаунском порту с какао на борту "Жаннета" поправляла такелаж".

Потом...

Что же было потом? Ага, Котик надписывал мне свою новую книжку. Да, точно. Он спросил, дарил ли он мне свой последний роман, а я с пьяной прямоотой не слишком тактично ответил, что какие-то свои романы он мне точно дарил, и даже не один, но мне неизвестно, какой среди них первый, а какой последний.

— И последние станут первыми! — торжественно, но, как мне показалось, немного невпопад, провозгласил Котик, после чего глубоко задумался, что-то вычисляя, и наконец нашел способ определения: спросил, когда мы с ним последний раз виделись? Я задумался еще глубже, и путем тяжелых мыслительных операций исчислил, что виделись мы никак не меньше чем два месяца назад. Установив этот факт, я пригорюнился, потому как выходило, что и Женьку перед смертью я не видел ровно столько же. Роман же, сообщил Котик, вышел всего три недели назад, из чего непреложно следовало, что я должен быть немедленно им одарен. Шурпин своим неудобочитаемым почерком исполнил на титуле какую-то закорючистую дарственную надпись и вручил книгу мне.

Я уставился на обложку. На ней была изображена обнаженная, страдающая лицом блондинка, на манер древнегреческого Лаокоона вся обвитая какими-то чудовищными змеями. Поперек всего этого безобразия шли золотые с красными (надо полагать, кровавыми) подтеками тисненые буквы названия: "КТО БЕЗ ГРЕХА".

— Неужто на порнуху перешел? — ехидно поинтересовался я.

Но Котик не обиделся, а даже как-то не без удовлетворения хмыкнул и ответил складно, но непонятно:

— Ага, порнуха духа. Читай, читай, тебе интересно будет...

В следующем из доступных воспоминаний я вижу нас с Шурпиным почему-то уже на улице. Вероятно, свежий воздух оказал на мозги благотворное влияние, ибо кроме того, что я отчетливо помню, как мы стоим у Котикова подъезда в окружении довольно большой празднично одетой толпы, память сохранила даже причину такого небывалого скопления народа: где-то на седьмом этаже справлялось новоселье, и многочисленных гостей по очереди тянуло на природу — кого продышаться, а кого, наоборот, покурить. Среди гостей запомнилась также некая дама. Хотя "запомнилась дама", пожалуй, слишком сильное выражение — все, что от дамы запомнилось, было глубокое декольте и мое вялое одиночное поползновение вокруг этого декольте пофлиртовать, каковое (поползновение, разумеется, а не декольте) было решительно ликвидировано морально более стойким Котиком, увлекшим меня прочь в темноту.

И наконец, последнее, самое смутное. По всей видимости, мы нечувствительно продрейфовали через весь двор и стоим, качаясь, теперь уже у моего подъезда. Шурпин зябко горбится, плачет, трубно сморкается в сырой от слез платок, снова плачет и что-то сует мне в карман куртки, все время промахиваясь и несвязно бормоча:

— Сейф! Главное — ключи... В случае смерти... Некому, понимаешь, больше не-ко-му!..

Не очень-то вдаваясь, в ответ я, кажется, пытался его прочувствованно обнять, прижать к себе, но он вяло отбивался, сопел, хлюпал и заплетаящимся языком продолжал лепетать какую-то полную уже чушь:

— Ключи! Эх, Женечка, оставила ты... ключи... от смерти... деваться некуда...

Потом он махнул рукой, не взмахнул, а именно как бы устало махнул на все про все, и исчез, растворился во тьме. Оставив меня тупо перемалывать в мозгах эти бессмысленные огрызки фраз.

Что-то там такое Женька оставила Котику, какие-то ключи. И некуда деваться от смерти.

Пьяный бред. При чем тут ключи! Котика Женька оставила, вот кого! Оставила одного, и некуда теперь ему, бедному, деваться. Все его несчастья от смерти, от Женькиной смерти.

А ключи? Какие ключи? К сейфу? Но сейф-то мой с цифровым замком! Так ли, этак крути, все выходит несущественная ерунда, пьяная несусветица. И нечего в ней разбираться, серое вещество, алкоголем затравленное, бередить.

Но возникло вдруг из всех этих пустых словесных плетений в хмельной моей голове такое, что может возникнуть только с сильного бодуна, в сознании мерцающем, трепещущем на грани полного вырубца, как свечка на сквозняке. Возникло и зацепилось волоском в заусенце, да так крепко, что осталось в тот вечер последним, зелено-мутным осадком на дне памяти.

Ключи от смерти.

МЕРТВАЯ НАТУРА

Вообще-то, как принято говорить, я не по этой части. Имею в виду, принять на грудь, заложить за воротник, плеснуть под жабы, сыграть в литрбол, хлопнуть, дербалызнуть, остаканиться и так далее и тому подобное. Но с Котиком почему-то события у нас всегда развиваются по одному сценарию, и раз в несколько месяцев черт заносит меня в его широкие дружеские объятия, после чего я обязательно оказываюсь вдребодан наливающимся со всеми вытекающими из этого состояния последствиями.

Помню, в детстве, по прочтении книжки "Легенды и мифы Древней Греции", меня особенно поразила судьба несчастного Тантала, который что-то там стибрил, сейчас уж не помню что, у богов во время ихних пиршеств. Кажется, злоупотребив доверием, он собрал на них в неформальной, так сказать, обстановке чемадан компромата и за это был ими жесточайшим образом наказан неутолимой жаждой. Много позже, уже в процессе дружбы с Шурпиным, я эти свои знания додумал и уточнил: не вызывало сомнений, что Тантал вот так, за здорово живешь, попер на начальство исключительно по пьяной лавочке (перебрал на пирах), и выбор божественной кары был отнюдь не случайным, а вполне иезуитски продуманным, ибо вечная жажда по логике вещей наверняка настигла преступника в момент тяжкого похмелья.

В то муторное утро жажда начала терзать меня еще до пробуждения. В моем предрассветном сне она, жажда, имела форму, цвет и даже звук. Жаждой было большое жестяное ведро, почерневшее на кострах, мятое, облупленное. Из такого на лесных заимках, у косарей, у охотников случалось мне пить прозрачную, как воздух, ледяную до ломоты в зубах родниковую влагу. Но сегодня во сне я раз за разом опрокидывал ведро над собой, и из

него в мой пересохший рот с легким шуршанием текла струя, не приносящая ни малейшего облегчения моему крайне обезвоженному организму. Потому что струя была из песка. Песок скрипел на зубах, драл мне глотку, забивался в ноздри. Я пытался вытолкнуть его изо рта языком, но язык страшно распух и мне не подчинялся. В отчаянии я хотел закричать, позвать на помощь, но с полным песка ртом сумел издать лишь сиплый жалобный стон. И проснулся.

Первой после пробуждения мыслью было: за что, о боги, я так наказан? Вторая мысль была: никогда больше не буду пить! Третья мысль, вернее, соображение, состояло в том, что первые две несут риторический характер и не имеют практического значения. Практическое значение имела необходимость встать и попытаться привести себя в порядок. Это, конечно, потребовало некоторых усилий: все необходимые водные процедуры, включающие в первую очередь десятиминутный контрастный душ и особенно последовавшую вслед за ним пусть символическую, но все-таки физзарядку. В результате кожа моя горела, в ушах гудело, перед глазами плясали красные пятна, но зато мне было, чем гордиться. Повесть о настоящем человеке.

К завтраку уже можно было констатировать, что тело в целом готово функционировать. Но отдельно взятая голова моя, конечно, варила еще неважно. И хотя при свете дня за чашкой кофе вчерашние Котиковы сопли и бредни уже не пугали меня своими мистическими аллюзиями, но его засевавшее в подкорке бормотание про сейф, какие-то ключи и смерть, от которой некуда деваться, в общем, вся эта белиберда раздражала своей неразъясненностью и требовала комментариев. Я набрал его номер, прослушал девять длинных гудков и на десятом положил трубку. По опыту мне было известно, что загулявшего с вечера Шурпина такой дробинкой, как телефонное треньканье, с утра не возьмешь. Следовало смириться с мыслью, что у них, писателей, впереди вечность, им торопиться некуда, а у нас, частных предпринимателей, впереди рабочий день, поэтому надо вставать и идти предпринимать.

В надежде хотя бы внешне компенсировать внутренний раздрай, я вместо вчерашней полевой формы, состоящей из куртки и джинсов, облачился в отутюженные брюки с твидовым пиджаком и даже напыркался одеколоном. Но все равно, когда наконец доплелся до нашей конторы, Прокопчик с весьма выразительным видом высунул нос из своей комнаты и вдумчиво захлопал им. Он уверяет, что у него хронический вазомоторный ринит. Я проверял по энциклопедии — это что-то вроде сенной лихорадки, аллергия на цветочки, но у меня мало знакомых, обладающих более чутким обонянием, особенно когда дело касается жратвы или выпивки. Понюхав воздух, Тима окинул меня оценивающим взглядом и проницательно поинтересовался:

— С-сообразили вчера з-за троих, да?

Не удостоив этот выпад ответом, я с достоинством проследовал к себе в кабинет. Меньше всего мне сейчас хотелось работать, но едва я успел сесть за свой стол и пригладить волосы, как начались звонки, а потом появились посетители, и пригладить мысли уже не осталось времени. Надо было, вопреки неприятным внутренним ощущениям, немедленно стать уверенным

в себе, любезным, внимательным и готовым на любые подвиги частным детективом. Потому что неуверенным и не готовым к подвигам частным детективам денег не платят.

Первым позвонил низкий, явно пропущенный через шарф или платок женский голос, который развязно, будто спрашивал на базаре, почем огурчики, поинтересовался:

— Сколько в вашей фирме стоит убить человека?

— От восьми до двадцати, — любезно ответил я, и на том конце провода немедленно положили трубку.

Потом звонили люди, желающие найти пропавшего родственника, который в результате более пристрастных расспросов оказался скрывающимся должником. Затем безутешная владелица потерявшегося сеттера, по-моему, девочка лет десяти. Следом еще кто-то... Одних я отшивал сразу, другим вежливо отказывал, третьих переправлял к Прокопчику договариваться о времени приема.

Посетителей же было двое. Сначала в дверях появилась небанальных пропорций женщина, своей конфигурацией похожая на известную картину Пикассо "Девочка на шаре": у нее была маленькая головка на узеньких плечиках, постепенно переходящих во все расширяющийся торс и совсем уж необъятных размеров таз. Во втором ряду за этим мощным укрытием маялся тощий облезлый мужчина с большими залысынами на тыквообразной голове и грустными глазами домашнего животного. Их беда состояла в известной комиссии, на которую Создатель частенько обрекает родителей взрослых дочерей. С поправкой на эпоху, разумеется. В данном случае с современной Софьей (которую, впрочем, звали Алисой) у старшего поколения были отнюдь не matrimониальные проблемы. С недавних пор в доме начали пропадать деньги, а в последнюю неделю девочка дважды являлась домой навеселе, причем в третий раз тоже вроде бы пьяная, во всяком случае, точно не в себе. Но без запаха алкоголя.

Сообщая мне последний факт, мамаша понизила голос почти до трагического шепота и воззрилась на меня так, будто делилась со мной, по меньшей мере, сверхсекретной оперативной информацией о тайных операциях колумбийского наркокартеля. Я, как мог, постарался соответствовать, всем своим видом давая понять: да, мадам, случай серьезный, как раз для такого профи, как я. Мадам понравился мой подход к делу, и мне были сформулированы одна общая задача — по изучению контактов девчонки и одна более узкая — по исследованию вопроса, откуда берутся наркотики и куда деваются деньги.

Лично я не сомневался, что деньги деваются как раз туда, откуда берутся наркотики, но, поскольку этот вывод вполне мог стать основным результатом нашей кропотливой работы, пока счел за благо промолчать и лишь уточнил:

— Только сбор информации?

— Пока да. И два условия...

— Полная конфиденциальность и никакой милиции, — опередил я ее.

Мамаша с явным облегчением улыбнулась. Похоже, я нравился ей все больше. Чтобы я понравился окончательно, оставалось согласовать последний вопрос, и она его задала:

— Сколько это будет стоить?

Дело было обычное, можно сказать, рутинное, обычно я беру в таких случаях от тысячи до двух. Определение конечной суммы зависит от объема работы, ну и, в некоторой степени, от доходов клиента. Кинув взгляд на визитку папаша, я узнал, что тот трудится заместителем префекта административного округа по капитальному строительству. Внутренне присвистнув, я решил, что это как раз тот случай, когда Господь велел делиться, и решительно сказал:

— Две тысячи долларов.

Судя по благосклонной реакции посетителей, мы с Господом попали в точку. Уже через полчаса был подписан договор, мы обговорили технические детали, я получил пятьдесят процентов в виде аванса, проводил гостей и, намереваясь немедленно приступить к работе, кликнул Прокопчика.

Разумеется, он тут же попытался навязать мне свое мнение, которое у него имеется по каждому вопросу.

— Этот к-контингент мне известен. К-когда я работал в д-детском приемнике...

Но я решительно прервал очередную историю из Тиминой многоопытной биографии, тем более что мне было доподлинно известно: в дет-приемнике он трудился истопником, причем недолго. После чего единолично наметил по данному делу план первичных мероприятий и распределил задачи, осталось лишь приступить к их реализации. Но тут зазвонил телефон, и размеренное течение дел прервалось самым грубым и неожиданным образом:

— Привет, Северин, это Харин, — услышал я в трубке бодро-вздернутый влажный баритончик. — Есть пара минут поболтать?

Я и в мирной-то жизни не большой любитель с ним лясы точить, а с похмелья подавно. Поэтому ответил резковато:

— Болтать времени нет. Говори, чего надо.

— Не больно ты любезен, — хмыкнул он, причем по тону было заметно, что моя нелюбезность его мало задела. — Знаешь анекдот: послали мужика сказать женщине, что у нее муж умер. Только, говорят, не глуши сразу, придумай что-нибудь поделикатней, начни с намеков. Вот он звонит в дверь и с порога ее спрашивает: "Вы вдова Рабиновича?" Ха-ха-ха!

Дождавшись, пока Харин отсмеется собственной шутке, я сумрачно спросил:

— Ты мне зачем позвонил, анекдоты травить?

— Господи, — вздохнул он, — ну ты и чурка непробиваемая. Я тебе позвонил спросить, у тебя был такой клиент... Константин Викторович... — мне было слышно, как он на том конце провода шелестит бумажками, — Шурпин?

Был. Шурпин — был. Сердце мое подпрыгнуло и упало куда-то на дно живота.

— Что с ним? — выдавил я из себя.

— Зажмурился твой клиент, — сообщил Харин и деловито пояснил: — Газом траванулся. Мы тут протокол составляем, а я гляжу, у него на столе твой контракт. Ты хоть авансец-то с него успел содрать? А то...

Не дослушав, я швырнул трубку и несколько минут спустя уже был в шурпинском подъезде. Он был распахнут настежь, место лифтера пустоvalo. Здесь стоял характерный кислый запах газа, на который немедленно среагировал мой и без того подвергшийся давеча немилосердной интоксикации организм: закружилась голова, а в желудке начались угрожающие волнения. Вывалившись из лифта, я тут же на площадке столкнулся с замом по розыску из нашего райотдела Мнишиным. Всегда мешковатый и неуклюжий, сегодня он особенно смахивал на ходячий соломенный тюфяк, который смеха ради кое-как обрядили в потертый костюм и мятую рубашку, в верхней части перетянутую скрученным галстуком. Но мне было известно, что, когда доходит до дела, соображать он умеет и в цепкости ему не откажешь. Поэтому я решил обойтись без предисловий и с ходу задал вопрос прямо в лоб:

— Вы уверены, что это самоубийство?

Набитая слежавшейся соломой линиялая материя имеет немного возможностей для выражения своих чувств, но мне показалось, что по бесстрастному лицу Мнишина пробежала тень изумления.

— А с чего ты взял, что нет? — поинтересовался он, уставившись блеклыми глазами куда-то в пространство за моей спиной.

Я открыл было рот, но тут же и запнулся. Действительно, с чего это я взял? Судорожно прокручивая в голове обрывки вчерашних хмельных разговоров, я с отчаянием понимал, что уж если Котику не удалось меня серьезно в чем-то убедить, то мне с Мнишиным это теперь и подавно не удастся. Но зам по розыску имел дотошную привычку не оставлять в своем тылу неразъясненных моментов и сейчас же мне это продемонстрировал, сделав приглашающий жест в квартиру.

— Следов повреждения замка нет, — проскрипел он нудным лекторским голосом, словно читал давно заученную наизусть опостылевшую самому автору лекцию. — При этом квартира была заперта.

Выламывая дверь сняли с петель, и теперь она стояла, прислоненная к стене, как крышка гроба. Мнишин шагнул в пустой проем, вялым взмахом руки приглашая меня последовать за ним. Ведомый им, я сделал несколько шагов, и мы оказались в кухне. Несмотря на то что окно было широко открыто, вонь от прогоркшего уже пропана-бутана стояла адова. Все четыре конфорки газовой плиты были открыты, но газ, естественно, больше не шел: вероятно, перекрыли кран на стояке. Сама плита и особенно пластмассовые ручки конфорок были обильно усыпаны черной металлической пудрой, это свидетельствовало о том, что здесь поработал криминалист. Остальное, по-видимому, эксперта не заинтересовало, и оставшийся нетронутым со вчерашнего вечера натюрморт на кухонном столе сейчас как нельзя более отвечал буквальному переводу: мертвая натура. Хлеб окаменел, огурцы мумифицировались, а остатки кальмаров на тарелках смотрелись как дохлые фиолетовые черви. Небось, будь чистюля Женька жива, она бы ни за что не допустила, чтоб мы после себя оставили все это безобразие. При этой мысли какое-то смутное то ли воспоминание, то ли мелькнувшее в голове обстоятельство обеспокоило мой, как роща в сентябре, усыпанный алкоголем мозг. Но тут взгляд упал на недопитую литровку "Абсолюта", и все ощущения и соображения заменились одним, весьма прискорбным: я с об-

реченностью понял, что сейчас со мной случится самое худшее. Однако посредством героических усилий спазм в желудке удалось побороть, и сквозь шум в ушах я даже разобрал последние слова своего гида:

— ...на всех ручках газовой плиты только его отпечатки.

Завершив экскурсию по кухне, Мнишин отправился в комнаты, и я с несказанным физическим облегчением последовал его примеру, хотя и знал, какое тягостное зрелище мне предстоит. Мой друг Костя Шурпин лежал на спине посреди двуспальной кровати, огромный и неподвижный, как выбросившийся на сушу кашалот. Лицо его покрывал характерный для симптомов отравления синюшный налет, бессильно раскинутые руки были испачканы черной дактилоскопической краской.

— Никаких следов ограбления или характерного для подобных случаев обыска в комнатах не имеется, — нудил на одной ноте Мнишин. — Видео, телевизор, два компьютера, шуба, дубленка и даже золотые вещи в шка-тулке, лежащей на видном месте, не тронуты.

Шкатулка действительно лежала, где всегда, на Женькином туалетном столике, за которым в данный момент, бесцеремонно сдвинув в сторону груды флаконов и коробочек с косметикой, устроился со своими протоколами Харин. При виде меня он изобразил на своей сальной морде широкую улыбку, но возникший в ответ рвотный позыв на этот раз удалось побороть гораздо легче.

— Психологический мотив налицо, — продолжал бубнить тем временем Мнишин. — У человека накануне погибла жена, он в депрессии, принял большую дозу спиртного...

— Вместе со мной, — вставил я, и Мнишин равнодушно кивнул:

— Мы в курсе, опросили уже вахтершу из вчерашней смены. Вы с ним вышли из подъезда около десяти минут первого, после чего он вернулся один где-то в районе часа ночи. А в два часа жильцы почувствовали сильный запах газа, вызвали аварийку. Пока стояк перекрыли, пока определили источник, дверь сломали, то да се... К утру мы уже были здесь. Доктор определил время смерти — между часом и двумя, эксперт исследовал отпечатки. По-моему, чистый отказной материал, а ты спрашиваешь, точно ли самоубийство. Почему?

Он пристально уставился мне в область правого плеча. Действительно, почему? Я вспомнил вчерашние слезы и сопли Котика, его пьяное бормотание про смерть, от которой деваться некуда... Что уж такого удивительного, что разбитый, сломленный несчастьем человек, напившись, с горя решил отравиться? Он был здорово вчера в лоскутах, мой друг Котик, нес околесницу про какие-то ключи от смерти, мало ли что ему могло прийти в голову часом позже, когда беднягу совсем развезло... Стоп! Ключи, ключи...

Что-то такое именно про ключи вертелось у меня в башке, это "что-то" я тогда потерял, а теперь вновь нащупал и пытался не упустить, вел его осторожно, как рыбак, трепеща, чтоб не сорвалась, подводит зацепившую крючок крупную рыбину к берегу, к сачку. И едва-едва хвостик прячущейся в глубине мысли мелькнул на поверхности, я ухватил за него и вытащил улов: ключи!

— У женщины, которую зарезали там, под аркой, в сумке были ключи от квартиры?

Пожав недоуменно плечами, Мнишин повернулся к Харину:

— Были там ключи?

Лицо Харина приобрело неопределенное выражение.

— Черт его знает, может, и не были, — протянул он и кивнул подбородком в сторону кровати: — Мы ведь мужу-то ейному, покойнику новопреставленному, показывали опись, спрашивали, не пропало ли что ценное. Сказал, вроде ничего.

Вроде ничего. А теперь уже и спрашивать больше некого. Но Шурпин в том состоянии, в каком он был наутро после Женькиной гибели, мог такую мелочь, как отсутствие ключей, и не заметить. И значит, если кто-то завладел ими, он имел возможность во вчерашней толкотне посторонних вокруг подъезда войти незамеченным, проникнуть, ничего не взламывая, в квартиру, убедиться, что Котик беспробудно пьян, надеть перчатки и включить газ, после чего таким же незамеченным в толпе расходящихся с новоселья гостей удалиться.

Все это я лихорадочно и от этого слегка сбивчиво изложил Мнишину. В ответ он упер взгляд мне в подбородок и, уже не скрывая раздражения, проворчал:

— Теория стройная, но я практик, а практический вывод пока один: ты хочешь повесить нам на шею очередной труп. Какие у этих убийств мотивы?

Мотивы... Если верить Котику, мотивов имеется до черта и подозреваемых может быть целая толпа. Во второй раз за последние полчаса я раскрыл рот, чтобы все-таки хотя бы предпринять попытку пересказать все, что услышал от Шурпина, но снова потерпел неудачу.

— А ведь у него контракт с покойником, — опередил меня Харин, и выражение лица у него сделалось рыщущее, как у ищейки, тревожно нюхающей воздух в поисках еще не учуянного следа. — Пал Палыч, он и вправду может чего-то знать.

Мнишин сосредоточился взглядом на моем левом ухе, после чего вяло бросил:

— Выкладывай.

И мне тут же выкладывать расхотелось.

Наверное, здесь намешалось все: нетвердость моих знаний по существу предмета, вызывавшее вдруг нежелание отчитываться перед наглым Харинным, характерная для похмельного состояния общая неуверенность в себе и сопутствующая ей раздражительность. Короче, выкладывать расхотелось, но при этом я отдавал себе отчет, что выкладывать хоть что-нибудь придется. Сам напросился.

— Шурпин считал, что его жену могли убить из-за наследства, — нехотя выдал я из себя. — Какой-то там у нее есть дядюшка, он пообещал завещать ей часть своего наследства, и другие наследники были заинтересованы... Ну, в общем, понятно.

— Нет, не понятно, — резко встрял из своего угла Харин. — Как это: есть дядюшка? Он что, еще жив?

— Похоже, да, — подтвердил я. До меня тоже стала доходить определенная нелепость ситуации, а Харин тем временем не унимался:

— Насколько я припоминаю гражданское право, племянница не может быть наследницей по закону, автоматически ей ничего не полагается. Значит, она указана в завещании. Много ли смысла убивать наследника, если наследодатель еще жив и может завещание переписать?

Мнишин при этих словах согласно кивал головой, мне даже казалось, что я слышу, как шуршит, уминаясь, внутри него пересушенная солома. Потом и он подключился:

— Жену убили, потому что она племянница и наследница, предположим. А мужа за что? На мужа, если наследодатель жив, наследственные права жены автоматически не переходят, так?

Все это напоминало форменный перекрестный допрос. И снова вступил Харин:

— Для чего он тебя нанял? — спросил он строго, потрясая в воздухе листками контракта. — Тут сказано "выполнение услуг", а каких, не сказано.

— Ну... он хотел с моей помощью... навести кое-какие справки, — промямлил я, чувствуя, однако, что нащупываю почву под ногами. — Боялся, что сейчас ему никто не поверит, в смысле не примут всерьез как версию, и просил разузнать поподробней насчет этого наследства, кому что завещано и так далее. Собрать, так сказать, досье на всех возможных наследников, чтоб было потом, с чем в прокуратуру идти.

Мнишин покрутил осуждающе головой и пробормотал:

— Он ведь, кажется, писатель был, этот Шурпин? Вот и разыгралось у него воображение...

Харин же откровенно фыркнул и процедил с презрительной миной:

— С тех пор, как разрешили эту заразу — частных сыщиков, у людей нашлось наконец, куда лишние деньги девать.

А я с радостным облегчением понял, что, как и следовало ожидать, они всей этой галиматье не придают никакого значения, и уж во всяком случае у них нет ни малейшего желания на свою собственную голову переквалифицировать уже оформленное самоубийство в нераскрытое убийство.

Я и из квартиры вышел, и из Стеклянного дома, и двор пересек, и спулся уже по ступенькам в свою контору, когда с явным запозданием меня посетила незамысловатая мысль: чему это я, дурак, так обрадовался? Новой торбе?

ЧЕЧЕВИЧНАЯ ПОХЛЕБКА

Прокопчик уже куда-то свинтил, оставив на моем столе записку следующего содержания: "Ушел в зеркальке. Буду звонить".

Никогда не берите на работу слишком многоумных помощников. И чересчур образованных не берите. Тогда вам не придется ломать и без того большую голову над ихними изысканными литературными реминисценциями. Немало времени я провел в тупом созерцании этого ребуса, пока не додумал, что моя единственная штатная единица таким образом извещает меня, что приступила к разработке окружения девочки Алисы. Господи, а я уж и забыл о проблемах этого семейства, будто они были у меня не два часа, а два года назад!

Ну что ж, раз Тима уже ими занялся, это предоставляет мне возможность по крайней мере попытаться сосредоточиться и собраться с мыслями.

Но сосредоточиться оказалось не так просто. При первой же попытке ре-визии обнаружилось, что мысли, как просыпавшаяся из дырявого кармана мелочь, раскатились в разные стороны и собирать их придется по пыльным, заставленным громоздкими и неудобными предметами углам.

Могу ли я определенно утверждать, что Женьку убил не маньяк или просто случайный грабитель, который не взял сумку, потому что его в последний момент элементарно спугнули? Нет. Много ли у меня оснований считать, что Котика именно убили, а не он сам от горя и по пьяному делу решил покончить с собой? Немного. И вообще, как относиться к полуфантастическим бредням моего действительно любившего сочинять не только на бумаге друга о каком-то еще никому и никем не оставленном наследстве? Самое малое — скептически.

По всему выходило, что серьезных причин гнать даже маленькую волну нет. Все разбежавшиеся монетки подобраны и оказались пустяжными медяками, имеющими, как говорится, хождение, но лишенными всякой покупательной способности. Вот разве... Там, между полом и рассыпавшимся плинтусом, в дальнем закутке памяти... Блестит что-то раздражающе, какая-то застрявшая то ли мыслишка, то ли воспоминание, некий на первый взгляд невзрачный фрагментик, способный, быть может, вдруг оживить бессмысленную картину. Цепляешь его ногтем, ковыряешь подручными средствами — зубочисткой, скрепкой, заколкой для галстука, а он, подлец, все не дается, и ты уже потихоньку звереешь, ты готов, скрежеща зубами, стамеской, зубилом взломать чертов плинтус вместе с паркетом, и тут оно легко, будто только и ждало, пока разозлит тебя по-настоящему, выпрыгивает, выкатывается, выскальзывает наружу: оп-ля!

Какой такой предмет совал мне вчера в карман куртки Костя Шурпин?

Погодите, погодите, дайте вспомнить, что он при этом бормотал.

Какой-то сейф. Главное — ключи. И еще: "В случае смерти... Некому, понимаешь, больше не-ко-му!"

Что все это значит? Он просил меня спрятать что-то в моем сейфе? И главное, беречь потом от этого сейфа ключи? Зачем? На случай смерти. Своей смерти? Значит, он опасался, что его убьют! Или уже думал о самоубийстве... Так, это мы уже проходили, отложим в сторонку. Сосредоточимся на другом: почему он так упорно хотел мне это "что-то" отдать, совал в карман, промахивался — и снова совал? Потому что...

Потому что "больше некому".

До своей квартиры я добрался с максимальной скоростью, которую мог позволить мой требующий сегодня аккуратного обращения вестибулярный аппарат. Обыск висящей в прихожей на вешалке куртки перво-наперво выявил в правом кармане блокнот, в котором я делал рассеянные пометки во время рассказа Котика и о котором, грешным делом, напрочь забыл. Быстро пролистнув странички, я вчуже поразился собственным вчерашним неудобочитаемым каракулям и переложил его в карман пиджака, оставив расшифровку этой клинописи на потом. После чего еще раз обследовал попавший под подозрение карман и не обнаружил ничего, кроме дырки в подкладке. Заинтригованный, я разордал ее шире, просунул руку в самую

глубь, пошарил там и наконец был вознагражден: в самом дальнем углу пальцы мои наткнулись на некий холодный металлический предмет.

Я извлек его наружу, и на ладони передо мной оказался маленький, длинной со спичку, толщиной в карандаш стальной на вид цилиндрик. Отполированная до блеска поверхность на одном его конце была испещрена какими-то насечками и бороздками разной глубины, на другом имелось сквозное отверстие диаметром миллиметра два. Похоже на ключик для "секретки", которую ставят для сохранности автомобильных колес от воров, только уж слишком тщательно и филигранно выполненный. Впрочем, с тем же успехом можно было представить, что подобная "секретка" бережет и что-нибудь поценнее, нежели банальный скат, например, несгораемый шкаф.

Или сейф. Тогда, значит, речь идет вовсе не о моем сейфе.

Стоп! Ключ. Ключ от сейфа. Но Котик говорил — "ключи". Может, другие остались у него? Или мы спяну дружно их потеряли?

Никаких иных, более уверенных предположений о том, что это такое и для чего может быть использовано, моя бедная голова не родила. Повертев его так и этак, даже посмотрев зачем-то сквозь дырку на свет, я новых версий относительно того, как эта вещь может быть связана с чьим-то наследством и тем более с борьбой за наследство, не обрел. Но одно теперь мне было известно точно: кроме смутно вспоминаемых мною рассказов Котика, появилось первое материальное подтверждение.

Чему? Ну, хотя бы тому, что Шурпин действительно чего-то боялся. А под влиянием выпитого разнюнился окончательно и даже всучил мне эту непонятную железяку на сохранение. Всучил — на случай смерти, и через полтора часа — умер. Так что сейчас пока оставим за скобками, из своих рук принял он смерть или из чужих, не это важно. Важно, что он перед самой гибелью отдал мне этот странный предмет, объяснив, что "больше некому". И таким образом сделал меня своим душеприказчиком.

Все мои недавние сомнения улетучились. В конце концов, я частный детектив, получивший подкрепленное авансом задание от клиента — моего безвременно умершего близкого друга, обязан предпринять все, чтобы, по меньшей мере, выяснить, каково назначение этого переданного мне на хранение вышеназванным клиентом предмета, от кого его следует охранять и зачем.

Вручая мне деньги, Котик заявил, что это на текущие расходы, мы договорились считать их депонированными в мой сейф с условием подведения итогов после окончания дела. Но Шурпин умер, и теперь решать, что является окончанием, придется мне одному. Честно говоря, не хотелось в тот момент самому себе признаваться, но интуиция подсказывала, что выяснением назначения цилиндра с дыркой дело не ограничится. Десять тысяч долларов — довольно большая сумма для текущих расходов. Пока она иссякнет, можно наворотить много дел. Но зная собственный дурацкий характер, я мог не сомневаться, что в случае нужды вместе с деньгами дело не закончится. Как говорится, если надо, мы добавим.

Вернувшись в контору, я первым делом уселся за стол и раскрыл извлеченный из куртки блокнот. Вот те сведения, уже, разумеется, в систематизированном виде, которые мне удалось оттуда извлечь.

Фамилия дяди-миллионера Арефьев. Он еще жив, хотя и находится в больнице. "Блохинвальд", — было написано у меня напротив него, следовательно, дядюшка пребывает в онкологическом центре на Каширском шоссе.

Теперь, так сказать, соискатели. Я помнил, что Шурпин вроде бы говорил о пяти людях, во всяком случае, о пяти, которым могла быть выгодна смерть Женьки. Причем трое из них были, по его словам... Влиятельными? Нет. Опасными? Тоже нет. То есть, может, и опасными, и влиятельными, и еще какими-нибудь, но он сказал не так. Он сказал... Ага, вот! Эти люди таковы, что менты не будут с ними связываться. А если будут, то не справятся.

Итак, речь шла о пяти, а у меня почему-то записано шесть фамилий. Впрочем, он ведь оговорился: по меньшей мере. Значит, их может оказаться и еще больше?

Забусов — с пометкой "банк".

Макарова, через запятую "дура", еще через запятую "временами".

Блумов, в скобках "тоже сволочь".

Эльпин тире "тот еще гусь".

И наконец, некие Малей и Пирумов, комментариев, по крайней мере зафиксированных, не удостоившиеся.

Я напряг память, пытаюсь вызвать какие-нибудь ассоциации, связанные с этими фамилиями, и отчасти преуспел. Забусов, судя по всему, и был тем крупным банкиром, так или иначе связанным как с властными структурами, так и с бандитами — ибо совсем не связанных с ними банкиров в наших краях не водится. Который из вышеупомянутых дамский парикмахер, я вычислить не смог. Зато неожиданно вспомнил, что "хорош гусь" Эльпин — известный шоумен, владелец большого рекламного агентства и хозяин фирмы, контролирующей чуть не четверть выпуска всей видеопродукции в стране. Но больше, как я ни тужился, память держалась что твой партизан на допросе, дополнительных сведений не выдавала. Не густо.

И главное, не очень ясно, с какого конца приступить к делу. Но тут судьба решила, видимо, для разнообразия меня сегодня чем-то и побаловать, явившись в образе несколько неожиданном, однако весьма своеобразном. В дверь позвонили, я щелкнул тумблером видеофона, и с экрана на меня воззрилось чрезвычайно внушительное лицо Марлена Фридриховича Гарахова.

В нашем околотке его считают чем-то вроде городского сумасшедшего, полагая, что огромные косматые, некогда рыжие, а теперь седые бакенбарды, в сочетании с лысой, как колено, головой, громким свирепым голосом и здоровенной суковатой палкой дают веские основания для такого диагноза. Неопределенного возраста, неопределенной профессии, он известен, главным образом, своим непременным участием во всяких общественных комитетах и комиссиях как яростный и непримиримый защитник зеленых насаждений, обличитель вовремя невывезенного мусора, гонитель незаконно установленных гаражей и прочая и прочая. Денег ему, разумеется, никаких за это не платят, поэтому, чем он живет, неизвестно. Рыцарь неопределенного образа. Ко мне Гарахов повадился с некоторых пор просить в долг, суммы, впрочем, довольно мелкие, которые он тем не менее возвра-

щает точно в назначенный срок с избыточной даже по нашим зыбким временам скрупулезностью.

Но сегодня, вопреки ожиданиям, Марлен Фридрихович с порога объявил, что пришел не по поводу наших с ним личных кредитно-денежных отношений. Он явился ко мне как представитель общественности.

У меня свело челюсть и слегка занули зубы.

Обычно просьбы общественности, во всяком случае той ее части, которую представляет Гарахов, сулят бесплатную головную боль, вроде поисков злоумышленника, периодически спливающего амбарный замок с калитки, ведущей в расположенный на задах Стеклянного дома садик, каковой одни жильцы, преимущественно старшего поколения, мечтают видеть экологическим заповедником, а другие, помоложе, предпочитают использовать в более практической плоскости — для выгула домашних животных. Соглашаться и тратить на это вечно дефицитное время глупо, а отказывать соседям, знающим тебя чуть не с колыбели, вроде как неловко. Я уже внутренне приготовился врать и изворачиваться, лишь бы как-нибудь отвертеться, но тут выяснилось, что дело несколько иного рода. Марлен Фридрихович пришел ко мне просить "крышу".

Во всяком случае, он выразился именно этими словами. Я, признаюсь, несколько обалдел и попросил объяснить более детально, что имеется в виду.

— Что же здесь непонятного? — с достоинством удивился Гарахов. — Насколько я разобрался в сегодняшнем новоязе, "крыша" в случае неприятностей означает поддержку и защиту.

— И от кого же вас надо защищать? — поразился я. — От каких неприятностей?

Оказалось, защищать требуется от Вини Козелкина из сотой квартиры. Это многое объясняло.

Козелкин — концентрированная беда, правда, в масштабах нашего двора. Вечный бездельник, фанфарон, выпивоха и трепач, он всем своим существованием ежедневно как бы доказывал справедливость народной мудрости: в двадцать лет ума нет — и не будет, в тридцать лет денег нет — и не будет. Насчет денег, правда, в какой-то момент показалось, что предсказание не оправдывается — недавно Виня вдруг разбогател. Поначалу никто не хотел верить в это, но когда Козелкин примерно с год назад зарулил в наш двор на собственном матово-золотистом "ягуаре", пришлось признать очевидное.

Выходя вечером прогулять собаку (как положено "новому русскому", Виня немедленно завел коротконового стаффордширского бультерьера с устрашающими челюстями и широкой матросской грудью), он надувал щеки, туманно намекая на какие-то свои совершенно необычайные успехи в области предпринимательства. В общем, скоро сказка сказывается, но в наши времена еще скорее дело делается: стоило Козелкину, словно между прочим, обронить однажды, что в его растущий, как на дрожжах, бизнес желающие могут вложить деньги под весьма соблазнительный процент, ему понесли.

Котик Шуршин тоже чуть не попался в эти тенеты, но вовремя сообразил посоветоваться со мной. Я, помнится, оценив размер предлагаемой

прибыли, высказал соображение, что такой порнос реально может принести только подпольная торговля наркотиками или оружием. Ни в том, ни в другом я участвовать не рекомендую. Во всяком случае, деньгами.

Но не все оказались такими осторожными. Правда, первое время, месяцев семь или восемь, рискованная часть населения нашего двора торжествовала над скептиками, регулярно, как зарплату, получая из щедрых Вининых рук баснословные барыши. Как положено в таких случаях, круг желающих приобщиться ширился, а инвесторы, так сказать, со стажем оборотисто оставляли у Козелкина набежавшие проценты и, постоянно увеличивая таким образом основной капитал, радостно потирали руки.

Разумеется, в один прекрасный день все рухнуло. А вскоре выяснились и кое-какие подробности козелкинского (коз-злого, как раздраженно стали говорить теперь все имеющие к нему отношение) бизнеса. Виню элементарно привезли на вороных, причем способом настолько же простым, насколько древним: кто-то мне говорил, будто первые упоминания о мошенничестве подобного рода встречаются чуть ли не в древнеегипетских папирусах. Психологически метод основан на непоколебимом постулате: вид наличных у среднего человеческого индивидуума затмевает разум и блокирует инстинкт самосохранения. А суть в двух словах проста. Тебе, к примеру, предлагают: дай сто долларов, через месяц получишь сто пятьдесят. И не где-то в подворотне какой-нибудь бомж говорит, а вполне солидный человек (казавшийся солидным, как выяснится потом). Сто долларов — не такая большая сумма, чтобы не рискнуть. Вениамин Козелкин рискнул — и это стало началом его бедствий. Через месяц, ровно день в день, ему отдали сто пятьдесят долларов и намекнули, что бизнес, приносящий такие доходы, вовсю идет в гору. Дальше понятно. Сначала Виня отдал все свои деньги, потом занял, где смог, а потом начал привлекать кого только можно — естественно, оставляя себе часть прибыли. Львиную долю которой, впрочем, нес туда же. Так продолжалось ровно до той поры, пока тот, кто все это затеял, не решил, что пора завязывать. В тот черный для Вини день ему объявили: все, ставок больше нет, выдача окончена. Благодетель, от которого исходила вся эта манна небесная, вдруг таинственным образом куда-то бесследно исчез, и Козелкин остался наедине со своими разъяренными вкладчиками.

Виня перестал подходить к телефону, открывать дверь на настойчивые звонки, но наиболее настойчивые из кредиторов все-таки доставали его. Вскоре пошел с молотка сначала золотистый "ягуар", затем еще кое-какие мелочи. А потом хоть что-то стоящее движимое имущество, включая стафффордширского бультерьера, кончилось, и общественное мнение пришло к выводу, что пора Козелкину расставаться с недвижимым — благо оставшаяся ему от рано умерших родителей трехкомнатная квартира в Стеклянном доме стоила денег, и немалых.

В этот период Виня ушел совсем в глухую оборону, но было ясно, что долго он не продержится. Ходили слухи, что он уже нашел покупателей, что даже чуть ли уже не продал. Однако существовало подозрение, что и после реализации квартиры денег всем может не хватить. Вот с этим-то и пришел ко мне Марлен Фридрихович.

— Оказывается, — удрученно сетовал он, — нынче у любого, кого ни возьмешь, есть "крыша". Вот, к примеру, Сима Соломоновна Бергельсон — совершенно бессмысленная старушка. Ан нет, зять работает в торговой фирме, так он кого-то там попросил, кто их охраняет, они пришли к Козелкину, и тот все отдал. То же самое Николай Андрияныч Хвостиков: его ввук торгует недвижимостью, у них контракт то ли с кагебешниками, то ли еще с кем-то в этом роде. Пожаловался им, они, говорят, пообещали Вине подкинуть наркотики и отправить в тюрьму лет на десять. Так он поверил. Так поверил, что уже через три дня сам принес Хвостикову все, что был должен!

Короче говоря, воодушевленный всеми этими примерами, Гарахов пришел ко мне хлопотать за двух или трех одиноких и потому "бескрышных" бабушек, которых подлый Козелкин задвигает в угол, хотя весь их совокупный вклад в козелкинское народное предприятие составлял каких-то восемьсот долларов. Марлен Фридрихович лично ходил к нему с попыткой уведомить, но тот даже не стал разговаривать.

Что я мог ему ответить? Взяться за это дело с гарантией было бы безответственно по сути. А с порога отказаться — безнравственно по форме. Я пообещал Гарахову постараться. Учитывая общественное значение, пойти на встречу и попробовать помочь.

Полностью удовлетворенный, Марлен Фридрихович уже оперся на свой посох, собираясь подняться, когда я, как бы между делом, остановил его вопросом:

— В вашем доме живет такой господин по фамилии Арефьев, вы, часом, не знакомы?

Кустистые желто-мыльного цвета брови Гарахова грозно сошлись на переносице, чело посуровело.

— Знаком, — кивнула полированная башка. — Хотя знакомством и не горжусь.

Реакция собеседника не располагала как будто к дальнейшим расспросам, но я знал, с кем имею дело. Марлен Фридрихович был, сколько я себя помню, такой же неотъемлемой частью нашего большого двора, как трансформаторная будка: время обветрило их фасады, но предназначения не изменило. И если будка, как и сорок лет назад, остается источником электричества, то дед Гарахов тоже играет роль некоего... м-мм... скажем так, родника разнообразных сведений. Нестор нашей округи. Вещий Боян с краеведческим уклоном. Хранитель и, как я сильно подозреваю, создатель многих легенд и мифов в жанре городского фольклора. Ему, например, принадлежит сногшибательный рассказ об "алмазном самолете", смутивший в свое время не одну мальчишескую душу, в том числе мою. А чего стоит история про Колченогого Баптиста! Или совсем уж полная небывальщина о покушении на жизнь товарища Кагановича во время торжественной сдачи нашей линии метро.

Итак, я знал, с кем имею дело, поэтому суровостью ответа не смутился и, как бы между прочим, катнул следующий шар:

— Говорят, у него в квартире какие-то несметные сокровища...

— Говорят! — фыркнул Гарахов. — Говорят те, кто в жизни там не бывал! А я вот был и молчу! Может, потому и молчу, что был...

Но я уже понял, что он проглотил наживку, и ждал продолжения, которое не замедлило последовать. Марлен Фридрихович извлек из кармана ту-журки обширный мятый платок, звучно высморкался в него, спрятал назад, и по характерной для былинного зачина интонации стало ясно, что мне предстоит выслушать не просто рассказ, а очередное сказание:

— Глеб был младшим сыном в большой семье известного еще в царские времена ювелира Саввы Николаевича Арефьева. У него было шесть старших братьев и сестер, но в конечном счете все родительское наследство оказалось у него. Нет, он не покупал себе права первородства за чечевичную похлебку. Вместо этого Глеб просто скупил у родственников подчистую все семейные ценности. Фактически за ту же цену...

Слушая дедушку Гарахова, я ни на минуту не забывал, что полученную от него информацию надо делить как минимум на два, а то и на пять—десять, но сегодняшней рассказ выглядел вполне реалистично. Судя по всему, Глеб Саввич, даром, что младший сын, оказался вовсе не дурак и вообще малый не промах. Уже в конце пятидесятых, будучи тридцати с чем-то лет от роду, он оказался на должности директора антикварной комиссии где-то в районе Арбата, из каковой (и должности, и, собственно, комиссии) немедленно принялся извлекать максимальные выгоды. В частности, решая собственный квартирный вопрос, он непринужденно втиснулся в элитные ряды пайщиков жилищно-строительного кооператива "Луч", да так там освоился, так сумел почти магически, по словам Гарахова, околдовать членов правления, опутать "этих безруких интеллигентов" нитями своих деловых связей, очаровать их своими экстраординарными, как сказали бы теперь, способностями достать дефицитный розовый силикатный кирпич, еще более дефицитный рубероид или совсем уж дефицитный по тем временам импортный дубовый паркет, что вскоре сделался едва ли не главным человеком в будущем Стеклянном доме, правой рукой председателя-основателя. Настолько, что когда левая рука (или руки) поинтересовалась наконец тем, что делает эта самая правая, оказалось, что Арефьев ухитрился воткнуть в кооператив всех своих родственников поголовно. Причем и это, как выяснилось позже, не бесплатно.

В войну сапфирами и бриллиантами расплачивались за хлеб, в послевоенной жизни на первое место вышло жильё. То было время, когда люди гибли не за металл, а за квадратные метры. Но Глеб Арефьев умел смотреть вперед и верно оценил ситуацию. Он пробил каждому из разбросанных по московским коммуналкам родичей отдельную квартиру и даже, говорят, заплатил за них первый паевой взнос. А в благодарность получил сущие пустяки: доставшиеся старшим братьям и сестрам от родителей пасхальные яйца Фаберже, столовое серебро работы Хлебникова, овчинниковскую перегородчатую эмаль. И вдобавок ореол почти святого, семейного благодетеля.

Его обожали все старушки "из бывших" в городе: для каждой он находил не только деньги, но и доброе слово, умел повспоминать с ними про прежние времена, участливо выслушать все жалобы на здоровье, порекомендовать лекарство или врача. А среди молодых наследников старых состояний он имел твердую репутацию судьи строгого и неподкупного. Ему несли, причем несли с удовольствием. И с определенных пор в коллекции

Арефьева наметилась определенная система. Количество приобретений перестало интересовать его, он перешел на другой принцип, сформулированный некогда партийным классиком: лучше меньше, да лучше. В конечном итоге это привело к тому, что на специально изготовленных стеллажах, как в выставочных витринах, стояли, не слишком теснясь, предметы, способные стать гордостью любого музея — главным образом, ювелирные украшения и другие изделия из драгоценных металлов.

Долго ли, коротко ли, прошло лет сорок, и сегодня в онкологическом центре умирал человек, прославившийся, с одной стороны, своими многими беспримерными и бескорыстными благодеяниями, а с другой — не имеющей равных коллекцией стоимостью, по разным оценкам, порядка тридцати миллионов долларов, а может, и больше.

— Кровосос — он и есть кровосос, — неожиданно сердитой эпитафией закончил свое повествование Гарахов. Хотя мне лично такой вывод показался чересчур однобоким.

— Ну и кому ж все это богатство в конце концов достанется? — спросил я.

Старик насушился еще больше.

— Уж не нам с тобой! Старшие братья и сестры поумирали, это я знаю точно. Есть всякие племянники и племянницы...

— Он что же, не был женат?

— Был. Два раза. Обе жены умерли. Последняя лет пять назад.

— А дети?

— Дети? Бог его знает... — взгляд нашего Пимена затуманился, лицо сделалось задумчивым: летописец не жаловал белых пятен в истории. — Говорили, будто был у него ребенок на стороне, но вроде он его не признал... А зачем тебе все это нужно? — наконец спохватился Гарахов.

Но я пока не был расположен делиться своей скудной информацией и ответил уклончиво:

— Просто интересуюсь. Для общего образования.

Но Марлен Фридрихович, как боевой кот, воинственно раздул бакенбарды и рявкнул:

— Не морочь старику голову! Женечка Шурпина, которую убили третьего дня, была дочкой покойной Нины Рачук, в девичестве — Арефьевой! А вы с Костей Шурпиным с детства дружки — не разлей вода!

Мне вдруг действительно стало неловко: нашел, кому пудрить мозги — Вещему Бояну!

— Костя тоже умер, — сказал я, опуская глаза. — Сегодня ночью. Газом отравился. — Поколебался немного, но все-таки добавил: — Или отравили.

— Вот как, — сказал Гарахов и замолчал, задумчиво жуя губами. — Не знал. Не знал. — Опять умолк, горестно тряса головой в такт каким-то своим мыслям, и неожиданно сурово потребовал: — А ну говори толком, что тебе нужно!

Вся беда была в том, что я и сам не знал толком, что именно мне нужно. Но, как мог, попытался объяснить. На этот раз дед замолчал совсем уж надолго, сидел, прикрыв глаза и даже слегка посапывая, так что я решил было, что пора его будить, но оказалось, он вовсе не спал, а вспоминал. Однако сегодня этот процесс шел у него, видать, не

лучшим образом, потому что Марлен Фридрихович вдруг очнулся и сердито сообщил:

— Нет, вот так с ходу всех не упомяну. Женились, разводились, фамилии меняли... Расплодились за тридцать пять лет, как кролики. Дай до завтра подумать.

Я кивнул. Старик кряхтя поднялся и пошел к выходу, громко стуча палкой. Но на пороге обернулся и погрозил мне таким же суковатым, как его посох, пальцем:

— Про Виню не забудь!

— Не забуду! — уверил я его, про себя со вздохом подумав: "Мне бы ваши заботы, господин учитель!"

Проводив Гарахова, я уселся за стол, достал из стола ручку, лист бумаги и большими буквами вывел посреди него слово "ПЛАН". Отступил вниз на пару сантиметров и написал:

1.Арефьев — Блохинвальд.

Поставил ниже цифру 2, после чего надолго задумался.

Не то чтобы я большой любитель раскладывать по столу картошку, но составление плана всегда помогает мне систематизировать наличную информацию. Однако нынче был явно не тот случай: плодом тяжелых раздумий явился вывод, что вся имеющаяся информация пунктом первым, собственно, и исчерпывается.

Относительно того, как мне выйти на всяких там забусовых (банк), тех еще гусей эльпиных, сволочей блумовых, дур макаровых, а также прочих малеев и пирумовых, мои сведения ни на йоту не обогатились с тех самых пор, как я нетвердой рукой записывал их фамилии на кухонном столе покойного Котика. Вот разве что прибавился еще один неразъясненный и совсем уж туманный персонаж в виде незаконнорожденного ребенка Глеба Саввича Арефьева, про которого не было известно не только, какого он пола, но даже есть ли он на самом деле или является очередным плодом разыгравшегося воображения дедушки Гарахова. Составлять план из подобных фигурантов было бы явным очковтирательством, показухой и приписками. Поэтому, глядя на вещи трезво (даром что с похмелья), я решил, что план из одного пункта тоже в конце концов план, и надо выполнять то, что намечено.

На часах было три пополудни, дорога на Каширское шоссе предстояла через весь город, пора собираться в путь. Я уже взялся за дверную ручку, но тут, ухарски крякнув, ожил факс, и из прорези аппарата, скрипя и потрескивая, поползла бумажная лента. Пришлось вернуться, чтобы прочитать сообщение. Оно гласило: "Господа! Делаю вам прекрасное коммерческое предложение! 3000\$ (три тысячи долларов) за известный находящийся у вас предмет. Жду немедленного ответа. С уважением".

Подпись неразборчива, но и без нее было ясно, чье это послание. Скомкав листок, я отправил его в мусорную корзину, подивившись, однако, редкой настойчивости своего недавнего клиента и неожиданно для себя задумавшись: интересно, на какой сумме я готов сломаться и признать, что этот конкретный договор дешевле этих конкретных денег?

К сожалению, мне и в голову не пришло задуматься о другом: на что в случае моего отказа (или молчания, равносильного отказу) готов брокер широкого профиля Фиклин.

А зря.

КЛЯТВА ГИППОКРАТА

Огромный фаллос центрального корпуса онкоцентра, созданного академиком Блохиным и отсюда получившего в народе свое неформальное название, виден издалека. Но, подъехав ближе, теряешь его из виду, начиная плутать среди оплетающих здание мостов, эстакад, лестниц, съездов и выездов. Кое-как мне удалось приткнуться машину метрах в ста от главного входа, и вскоре я оказался в гулком холле размером примерно с зал ожидания Белорусского вокзала. Понятно, конечно, что все это возводилось как храм, посвященный борьбе с одной из самых кровожадных болезней века, но все-таки для юдоли печали и страданий получилось, на мой вкус, чересчур громоздко и помпезно.

Отыскав будку справочного бюро, где канарейкой в ярко освещенной клетке восседала за компьютером крашенная блондиночка с острым носиком, я просунул голову в окошко, улыбнулся (я всегда улыбаюсь, прежде чем начать разговор с хорошенькой девушкой) и поинтересовался, в каком отделении лежит больной Арефьев. Ловко выцелкнув коготками по клавишам, канарейка пропела мне ровным голосом, что таких больных в их центре нет. Монитор стоял на подставке справа от нее, лишь слегка отвернутый в сторону, противоположную окошку, и я отчетливо видел, что все это она мне сообщает, глядя на экран, где белым по синему горит "Арефьев Глеб Саввич", а рядом номер отделения, этаж и даже палата.

— Да вот же он у вас! — почти ткнул я пальцем.

Канарейка почему-то покраснела, причем носик ее при этом побелел, и вдруг зло каркнула по-вороньи:

— А вы чего лезете, куда не положено?

— А вы зачем врете? — растерявшись, спросил я.

Но тут она решительно разрядила ситуацию, шваркнув перед моим лицом картонкой с надписью "Технический перерыв", наглухо перекрывшей леток ее скворешника.

Слегка удивленный таким обращением, я пожал плечами и двинулся к лифтам. В конце концов, какое мне до нее дело, если нужные сведения я уже получил?

Однако добравшись до указанного на мониторе отделения и отыскав нужную палату, я обнаружил, что она пуста. Голый матрас на единственной стоящей у окна кровати, а также девственная чистота стола и тумбочки говорили о том, что палата не просто пуста, но в данный момент и необитаема. Пришлось идти искать дежурного врача.

Перед дверью с табличкой "Ординаторская" сидел на стуле человек с развернутой газетой, и, прежде чем пройти, я вежливо поинтересовался у него, не ждет ли он врача? Газета приспустилась ровно настолько, чтобы сидящий смог окинуть меня быстрым внимательным взглядом, и я, разглядев лишь белобрывую макушку и большие, плотно прижатые к черепу

борцовские уши, услышал глухое "нет". Но, проходя в дверь ординаторской, я почти физически ощущал, как он буравит глазами мою спину.

— Арефьева перевели в интенсивную терапию, ничем не могу помочь, — развел руками врач, молодой напомаженный брюнет, от которого за версту разило дорогим французским одеколоном.

— А что случилось? — спросил я.

Но вместо того чтобы ответить на мой вопрос, он лениво вытянул губы трубочкой, помолчал, изучая меня сквозь прищуренные веки, и не сказать чтоб очень вежливым тоном задал свой:

— Вы родственник?

— Нет, — честно признался я. Но так же не кривя душой, добавил: — Я по поручению родственников.

Он снова сделал большую паузу и произнес с интонацией, явно намекающей на то, что я самозванец:

— Родственники как будто все в курсе. Их тут у него столько...

Но я решил до поры делать вид, что не замечаю его очевидно хамского тона, и переспросил с тревогой в голосе:

— Так вы можете сказать, что случилось? Или мне идти в реанимацию, спрашивать там?

— Больной в коматозном состоянии. — Он еле растягивал губы, разговаривая со мной. — А больше постороннему лицу я сказать не могу. Если вы представляете родственников, поинтересуйтесь у них. Они в курсе.

Поняв, что ничего сверх этого мне от него не добиться, я повернулся и вышел вон. Человек на стуле у входа так и сидел, не отрывая газеты от лица. Мысль пробовать пробиться в реанимационное отделение была мною отринута сразу: похоже, здесь все, как говорится, схвачено и, вполне вероятно, за все уплачено. Но до какой степени схвачено, я и представить себе не мог. Пока на выходе из похожего на вокзал больничного холла, случайно обернувшись, не увидел идущего вслед за мной давешнего белобрысого читателя газет.

Это начинались уже совсем иные игры.

Выйдя на улицу, я остановился, вытащил сигареты и не торопясь, со вкусом закурил. Торопиться мне и впрямь было некуда. Прежде чем сделать хоть один следующий шаг, надо было хорошенько подумать. Кто такой этот лопухий, я не знал. Но и он не мог ничего знать обо мне. Насчет него посмотрим, а вот свое преимущество терять негоже. Если я пойду к машине, то непременно его лишусь: по номеру меня вычислят в два счета. Но бросать ее здесь и переться до дома на метро тоже не очень-то хотелось, тем более что если это хвост, от него раньше или позже все равно надо будет избавиться. Так уж лучше раньше.

Эта местность была мне немного знакома. Когда-то, незадолго до смерти деда, я возил его сюда на обследование и помнил, что на той стороне шоссе должно быть старое здание онкоцентра — в первый раз мы заплутали и по ошибке заехали туда. Там, в нескольких серых приземистых корпусах, соединенных между собой застекленными галереями, располагаются, кажется, какие-то исследовательские лаборатории и прочие вспомогательные учреждения. Меня из всего этого интересовали именно галереи.

Минут через пять я уже уверенно, ни разу не обернувшись не только назад, но даже не глядя по сторонам, шагал по асфальтовым дорожкам, с таким целеустремленным видом направляясь в глубь этого комплекса, что со стороны должно было казаться, будто я твердо знаю, куда иду. На самом деле, видом все и ограничивалось. Куда идти, я не имел ни малейшего понятия, но надеялся на интуицию. Задача была попытаться войти в одно здание, а выйти посредством галерей через другое.

Исходя из нее, я выбрал самую обшарпанную дверь, рядом с которой возвышалась огромная куча свежих опилок, полагая, что найду за ней какие-нибудь столярные мастерские, где меньше вероятность попасться на глаза с недавних пор расплодившимся у нас буквально на каждом шагу воровцам. За дверью оказались не мастерские, а виварий, что нетрудно было определить по шибанувшему с порога запаху и по усыпанному этими самими опилками полу.

Обшарпанный коридор с низкими сырыми сводами уходил от меня в обе стороны. Но слева слышались собачьи визги и гулкие человеческие голоса, из чего я сделал вывод, что мне — направо. Коридор изгибался вдоль здания огромной нескончаемой кишкой, по стенам, переплетаясь, змеились бесконечные влажные трубы, от одной еле трепещущей лампочки до другой едва хватало света, чтоб не споткнуться. Если раньше онкологический центр действительно помещался здесь, то вот это была юдоль так юдоль! Я уже начал опасаться, что на сей раз интуиция завела меня куда-то не туда, когда впереди забрезжил дневной свет и мне наконец попаласть лестница наверх, а за ней открылась вожделенная галерея.

Однако на ее пороге я резко притормозил. Близился вечер, и в проложенном по воздуху прозрачном переходе зажгли свет. Надо полагать, как только я в него вступлю, то сразу окажусь виден со всех сторон, как муха, залетевшая в настольную лампу. Делать нечего: сев сперва на корточки, а потом и вовсе опустившись на колени, я осторожно подполз к выходу. В этот момент очень хотелось надеяться, что большинство научных сотрудников уже отработало свой трудовой день и мне не грозит быть внезапно застигнутым в столь дурацкой позиции. Белобрысую макушку внизу слева от себя я увидел сразу, едва выглянул наружу. Ее хозяин прижимался к кирпичной стенке соседнего корпуса, неотрывно глядя в противоположную от меня сторону, вероятно, на дверь, за которой я скрылся всего несколько минут назад. Возникло сильное искушение самому теперь маленько понаблюдать за ним, но тут кто-то показался на другом конце перехода, и я, благо находился в низком старте, сделал такой рывок, что чуть не сшиб изумленную тетку с ведрами и шваброй. Последнее, что я краем глаза успел заметить, — белобрысый поднес ко рту черную коробочку рации.

Мысль о том, что этот паренек здесь не один, лишь придала мне прыти, и всю оставшуюся до машины дистанцию я прошел, не снижая темпа. Почти всю. Потому что на самом финише под лестницей главного входа мне попаласть на глаза еще одна знакомая фигура, и я решил, что лучшего случая получить ответы на кое-какие вопросы мне не выпадет. Напомаженный доктор, уже не в белом халате, а в элегантном твидовом костюме, как раз элегантно открывал дверцу элегантного "форда-эскорт" серебристо-металлического цвета, когда я, подобравшись сзади, легонько взял его под локо-

ток. Вздрыгнув от неожиданности, он обернул ко мне свое красивое холеное лицо, недоуменное выражение на котором так стремительно сменилось возмущенным, что пришлось этот локоток прижать посильнее, а когда эскулап попытался вырваться, даже немного, грешным делом, вывернуть ему руку — несильно, только чтоб почувствовал, кто здесь главнее.

— Что вам надо? — прошипел он, кривя губы.

— С вашего позволения, короткое интервью, — улыбнулся я и сделал губы трубочкой. — Вы зачем послали за мной этого милого юношу, такого светленького, с симпатичными ушками?

— Какого еще юношу? — возвысил он голос, явно рассчитывая привлечь внимание прохожих. — Я никого не...

Но тут голос его сорвался, наверное, потому, что я еще чуть-чуть надавил ему на руку. Вероятно, это же усилие прочистило ему память, ибо он произнес, но уже тоном ниже:

— Я никого не посылал. Меня попросили информировать обо всех, кто будет интересоваться Арефьевым. Я проинформировал.

— Кто попросил?

Он глядел на меня злобно, но молчал. Потом процедил:

— Почему я должен отвечать на ваши вопросы? Я вас не знаю!

— И слава Богу, — кивнул я. — Важно, что я вас знаю. Где вы работаете, на какой машине ездите. Понятно? Так что давайте не будем ссориться.

— Отпустите руку! — потребовал он, и я тут же с удовольствием это требование выполнил: на нас уже начали коситься проходящие мимо люди.

— Так кто попросил? — повторил я.

— Откуда мне знать? — раздраженно буркнул он, потирая запястье. — Сказали, что из охранного агентства. Что им поручено охранять этого самого Арефьева.

— При первой встрече мне показалось, что вы не слишком-то доверчивы к незнакомцам, — заметил я. — Они, случайно, не упоминали названия своего агентства? Не показывали удостоверений? Ну, хотя бы визитных карточек?

— Нет, — проворчал он. — Только назвали фамилии родственников, всех перечислили, объяснили, что по их поручению...

Фраза получилась интонационно незаконченной, и я подхватил:

— Дали вам немножко денег, да?

Он молчал. И я рискнул продолжить:

— Не с вашей ли подачи справочная получила указание не сообщать, где находится больной Арефьев?

— Это официальная форма! — запротестовал он. — Любой наш пациент, если хочет, может обратиться к администрации с просьбой...

— И что же, — перебил я его с любопытством, — Глеб Саввич лично обратился? Интересно, до того, как впал в кому, или уже после? Собственно, это не так сложно проверить...

Он снова угрюмо промолчал.

— Ясно, — подытожил я. — Продолжим интервью. Они появились до того, как Арефьев попал в реанимацию или после?

— В тот же день.

— Когда это было?

— Позавчера утром.

— Что еще их интересовало?

— Просили сразу сообщить, если больной придет в сознание.

— Не приходил?

Он пожал плечами:

— У него тяжелое коматозное состояние... Вы понимаете, что такое кома? Его держат на аппаратах.

— Сколько ему осталось?

На этот раз он снова решил взбрыкнуть:

— Это врачебная тайна! Я не имею права!

Заглянув доктору в красивое лицо, я положил ладонь на гладкую теплую крышу "форда" и задушевно произнес:

— Тогда не смею настаивать. Клятва Гиппократа и все такое, да? Но если узнаю, что им вы сказали, а мне нет...

— Счет идет на дни, — пробурчал он, опуская глаза. — Неделя — это максимум.

— А есть все-таки шанс, что сознание вернется?

— Никакого, — покачал он головой. — Это агония.

Мы расстались практически друзьями, поклявшись друг другу, что все сказанное останется между нами. Он — никому, и я — никому. Причем лично я клялся с абсолютно легким сердцем, ибо мне пока что откровенничать было просто не с кем.

Обратная дорога к дому из-за вечерних пробок и заторов оказалось долгой, и у меня было время подумать. Посчитать, так сказать, потери и убытки. Я ехал в больницу в надежде поговорить с Глебом Саввичем и получить, что называется, информацию из первых рук. А если совсем уж честно, то не только получить информацию, но и поделиться своей. Я хотел рассказать Арефьеву о своих соображениях, касающихся смерти его племянницы и ее мужа. И посмотреть на его реакцию. Это, конечно, выглядело бы не слишком гуманно по отношению к тяжело больному человеку, но, по моему разумению, было менее жестоко, чем убийство двух ни в чем не повинных людей. Мне хотелось, по сути, кинуть камушек в это болотце, растормошить его, поднять со дна скопившуюся муть. И посмотреть, что получится. Мне хотелось...

Мне много чего еще хотелось. Но преуспел я только в одном: узнал, что все свои воздушные замки строил на песке. Я исходил из того, что если наследодатель мертв, то убивать наследника бессмысленно, потому что фактически он уже получил наследство и у него ничего не отнимешь. А если, как верно подметил скотина, но отнюдь не дурак Харин, наследодатель жив, он, в случае чего, может переписать завещание. Реальность же оказалась куда хитрее меня. Наследодатель Арефьев находится в коме: юридически еще жив, но ничего уже не может изменить, ибо практически мертв.

И пожалуй, самое главное. Собственно говоря, вытекающее из всего сказанного. Котик, видимо, был прав, утверждая, что есть люди, которым выгодна гибель его жены. По закону в случае смерти одного из наследников его доля автоматически делится между всеми остальными, указанными в завещании.

Тридцать миллионов долларов разделить на шесть — уже пять миллионов на нос. А пять миллионов на пятерых оставшихся дают еще по миллиону долларов. Голова кружится.

Глеб Саввич впал в коматозное состояние позавчера утром. И в тот же день, всего несколько часов спустя, зарезали Женьку.

СУНДУК МЕРТВЕЦА

— Вам письмо, — почтальонским голосом сообщил Прокопчик, протягивая мне листок с факсом.

"Последнее предложение — 5000\$ (пять тысяч долларов)". Подпись неразборчива.

— Интересно все-таки, чего он так убивается из-за этой пленки? — спросил я, с порога отправляя новое послание туда же, куда и предыдущее.

— А что, — заметил Тима, — мне этот парень д-даже нравится. За такие бабки, думаю, ему уже можно разрешить хотя бы п-послушать. Одним ушком.

В спокойной домашней обстановке мой застенчивый помощник заикается гораздо меньше, чем на людях. Впрочем, мне случалось и видеть, как он нарочно начинает спотыкаться на каждом слове, используя свой, по его собственному выражению, "д-д-дефакт речи" себе на пользу.

— Как твои успехи? — поинтересовался я, устало опускаясь в кресло за своим столом.

— Мало-мало, — отозвался Прокопчик. — Навестил этих твоих... д-дочеловладельцев. Поставил вместе с ними "жучков": на телефонный аппарат и в д-детской. Хотя ребенок довольно взрослый — ч-четвертый номер б-бюста.

— Ты ее уже видел?

— В разных ракурсах. П-пленочки сохнут в лаборатории, отчет я уже д-дописываю. А у тебя как?

Хотя успехов у меня имелось гораздо меньше, мой рассказ занял значительно больше времени, а выводы были подвергнуты нелюбезной критической оценке.

— Если там завещание, то значит, все упирается в него. И т-только в него. П-при чем же здесь тогда эта стальная открывалка? Тебе твой Шурпин что сказал? У меня, сказал, скоро б-будет много денег, так? А найдем убийцу, еще больше, т-точно? Это что же, в завещании все наперед расписано: если племянницу убьют, ее деньги мужу, а ежели найдется убийца, его денежки т-туда же, так, что ли?

— Вот сразу видно, Тима, что тебя выперли со второго курса школы милиции... — сказал я с сожалением.

— Я п-подпольный милиционер, — с гордым видом вернул он.

— ...и в законах ты не силен. Во-первых, в завещаниях довольно часто указывают альтернативного наследника, а во-вторых, по закону убийца не может наследовать за убитым, ясно?

— Ты меня п-параграфами н-не дави, — как всегда, горячась, Прокопчик начал заикаться больше обычного. — Ты мне ответь: п-при чем

тогда эта ж-железяка? И все эти разговоры т-твоего Котика про сейфы с к-ключами?

Точных ответов на эти вопросы у меня не было, зато предположений — хоть отбавляй, и я совсем было собрался закидать ими оппонента, когда раздался звонок в дверь и экран видеодфона заполнили пышные бакенбарды Гарахова.

— Нашел, — слегка запыхавшись, сообщил он с порога. — Нашел список жильцов.

Это были несколько отпечатанных на машинке ветхих, желтушного вида страничек, где счастливые пайщики только что образованного жилищно-кооператива "Луч" располагались согласно доставшимся им по жеребьевке номерам квартир. На мое счастье, Марлен Фридрихович, уже тогда оказавшийся участником какой-то комиссии, сохранил в своем архиве то, что не смог сохранить в памяти. Но надо честно признаться, поближе ознакомившись с генеалогическим древом рода, основанного купцом первой гильдии Саввой Арефьевым, я прилива оптимизма не ощутил.

— Скорей берите карандаш, мы начинаем вечер наш... — пропел себе под нос Прокопчик и был абсолютно прав: без подробного записывания и даже рисования схем обойтись не удалось. Тут же ему как бы к месту загорелось поведать нам об очередном эпизоде своей многотрудной жизни, подтверждающем его эксклюзивное право проводить генеалогические исследования как "опытного архивного работника": в свое время он служил сторожем на Троекуровском кладбище. Рассказ был мною решительно купирован, тем более что самого Тиминого стремления поработать карандашом никто не ограничивал.

Двое самых старших братьев Саввичей умерли бездетными довольно много лет назад. После одного из них, правда, осталась вдова, почти девяностолетняя старушка, которую Тима немедленно отправил на высылки, поместив кружок с ее именем куда-то у самого края листа. "Д-дорогу молодым!" — провозгласил он при этом.

Четверо народившихся вслед за братьями у многодетного Саввы дочерей к настоящему моменту тоже перешли в лучший мир, успев, однако, дать потомство.

Первая из них вышла замуж за инженера-строителя Буренина, от которого брака родились дочери Наталья и Настасья. Вторая дважды сочеталась законным браком и дважды разводилась, причем все это в доисторический, то бишь в докооперативный период, поэтому к новоселью подошла, имея свою добрачную фамилию Арефьева и с двумя детками, один мужеска, другой женска пола, соответственно каждый с фамилией своего папаша. (Тут впервые я с некоторым облегчением обнаружил хоть кого-то из упомянутых Котиком: сына звали Наум Яковлевич Малей.)

Третья дочь, в замужестве Дадашева, произвела на свет девочку Веронику и мальчика Николая. (В этом месте у меня екнуло сердце: уж не Верка ли Дадашева имеется в виду? Как, бишь, звали ее брата? Не помню.)

Наконец четвертая и последняя из купеческих дочек в счастливом супружестве с кандидатом технических наук Рачуком родила ребенка, которого нарекли Евгенией.

Следовало отметить, что, к нашей радости, Саввовы потомки не унаследовали от своего батюшки его чадолюбия и завидной плодовитости. После того как Прокопчик с подобающим моменту постным выражением со слов Гарахова пометил черными крестиками всех почивших в бозе старших Арефьевых, в нижней части древа остался в центре сам Глеб Саввич, а вокруг него племянники и племянницы:

1. Наталья Дмитриевна Буренина
2. Ее сестра Настасья Дмитриевна Буренина
3. Наум Яковлевич Малей
4. Его сестра по матери Маргарита Робертовна Габуния
5. Вероника Ивановна Дадашева
6. Ее брат Николай Иванович Дадашев
7. Евгения Семеновна Рачук

Я уж было обрадовался, что на этом можно подвести черту, но Гарахов слегка меня охладил, пояснив: коли речь о завещании, то нет прямых оснований считать заведомо включенными в него поголовно всех племянников и племянниц, зато туда могут попасть совсем иные люди. После чего явно шошешный во вкус Прокопчик нарисовал еще две веточки, каллиграфически выведя в кружочках:

8. Пасынок Арефьева Павел Сергеевич Сюняев, сын его второй, ныне покойной супруги Инны Васильевны Сюняевой от первого брака

9. Последняя (неформальная) жена Глеба Саввича Людмила Семеновна Деева

Пятнадцать человек на сундук мертвеца.

У меня немного зарябило в глазах, но Тима Прокопчик философически утешил меня:

— А что ты хотел за т-тридцать миллионов б-баксов?

По поводу двух новоявленных фигурантов дед Гарахов дал нам кое-какие дополнительные пояснения. Про пасынка сообщил, что отчим никогда его не любил, но в память о покойной супруге кое-чем помогал ему вплоть до последнего времени. Несколько подробнее он остановился на личности мадам Деевой, последней пассии умирающего миллионера по прозвищу Люся Катафалк. Такую характеристику Людмила Семеновна получила от сограждан благодаря тому, что на протяжении минувших двадцати лет методично похоронила пятерых мужей и, вполне вероятно, вскорости похоронила бы шестого, но, по слухам, в последние перед болезнью Глеба Саввича месяцы что-то промеж них не заладилось.

Когда комментарии исчерпались, мы все трое молча уставились на разрисованный лист. Прокопчик восторженным взглядом художника, оценивающего свое творение. Гарахов затуманенным воспоминаниями взором. Я весьма и весьма скептически.

Хуже всего было то, что гараховский список совпадал с шурпинским всего на одну фамилию: Малей. Правда, с большой долей вероятности можно было предположить, что Саввовы внучки повыходили замуж и сменили фамилии. Например, хоть я и не помнил Женькину девичью фамилию, скорей всего она и была Ненилиной дочерью Евгенией Рачук. Но странность состояла в другом: среди названных Котиком в основном

преобладали мужчины: Забусов, Блумов, Эльпин, Пирумов... Женщины имела лишь одна — Макарова.

Есть от чего приуныть.

Единственное, что оставляло надежду, были принесенные Гараховым архивные листки с номерами квартир. С их помощью можно было попытаться по домово́й книге кооператива "Луч" проследить за дальнейшей судьбой Саввова семени.

Когда я собрался запи́рать контору, на дворе стемнело, шел уже одиннадцатый час. Последнее, что еще можно было успеть предпринять, не дожидаясь завтра, это позвонить по телефону, указанному напротив фамилии Дадашевых. Чем черт не шутит — ведь и в моей, вернее, дедовской квартире номер не менялся последние сорок лет.

Позвонить-то я позвонил, но, видать, такова была моя сегодняшняя планида: ответом была очередная неопределенность. Буквально на втором гудке в трубке щелкнуло, включился автоответчик, и бравадно-приподнятое женское контральто торжественно сообщило: "Вы поступили а-абсолютно верно, набрав этот номер! Мы поможем не только вашему здоровью, но и вашему кошельку!" А после короткой, шелестящей атмосферными разрядами паузы добавило на два тона ниже: "Оставьте, пожалуйста, свое имя и номер телефона, мы вам обязательно перезвоним".

Веркин это голос или чей-то еще, мне спустя два десятка лет судить было затруднительно. Но после короткого колебания я на всякий случай все-таки назвал свое имя и продиктовал телефоны — служебный и домашний.

Позади был трудный, наполненный трагическими событиями, похмельным синдромом, мелкой суетой и к тому же в целом довольно малопродуктивный день. Я брел домой, с трудом переставляя ноги, как тяжелый водолаз перед погружением: казалось, что все во мне налито свинцом. Но едва вошел в квартиру, как раздался телефонный звонок. Доковыляв до кресла, я упал в него и с досадой уставился на аппарат: брать трубку или не брать? Неужели у кого-то еще остались ко мне дела, которые не могут подождать до утра? Все равно я сейчас уже не в состоянии проявить какую-либо активность — меня вряд ли хватит даже на простой разговор.

Но телефон упорствовал, звонил и звонил на одной занудной ноте. И я, чертыхнувшись, снял трубку.

— Стас? — голос был робкий и неуверенный, совсем не похожий на вздернутое контральто автоответчика, поэтому я в первый момент совершенно не связал одно с другим. — Это правда ты?

— Правда, — подтвердил я. — А какие, собственно, основания для сомнений?

— Это я, Вера Макарова... то есть Дадашева. — Она легонько усмехнулась. — Мы ведь с тобой лет сто не виделись. Ты что, тоже хочешь торговать кастрюлями?

— Какими кастрюлями? — не понял я. От усталости голова варила плохо. — Почему ты решила, что я хочу чем-то торговать?

— Так ты звонил не насчет "Цептера"? А я уж подумала... — она загнулась.

— Нет, я не поэтому звонил. Я хотел поговорить с тобой насчет Женьки... Жени Шурпиной. Или Рачук, не знаю, как тебе удобней. Твоей двоюродной сестры.

Мне показалось, что голос Веры куда-то отодвинулся, ослабел и поплыл, как будто в магнитофоне вдруг сели батарейки.

— Ее убили, — еле услышал я.

— Да, вот об этом и нужно поговорить.

— Ну да, ты же вроде стал милиционером... — Голос приблизился, я уловил в нем утраченную было уверенность. — Тебе поручено это дело?

— Не совсем. — Не хотелось объяснять ей все с самого начала по телефону. — Но в некотором смысле — да.

— Что значит "в некотором смысле"? — Теперь в том, как она это произнесла, мне послышались напряжение и подозрительность. — Ты милиционер или нет?

— Ну... как тебе объяснить? Я теперь на вольных хлебах.

— Милиционер на вольных хлебах? — не поверила она.

Я начал раздражаться, чего, безусловно, делать не стоило. Надо было взять себя в руки. А заодно захватить ускользающую, кажется, инициативу.

— Послушай, Вера, — произнес я усталым голосом, что, впрочем, далось без особого труда. — Мне кое-что известно о смерти Жени, о том, кто и зачем это мог сделать. А с тобой я просто хотел встретиться, чтобы посоветоваться. Но если ты занята, это не так уж важно. Я найду еще кого-нибудь из ее родственников...

Сработало.

Любопытство, особенно женское, весьма сильная жизненная мотивация.

— Нет-нет! — быстро сказала она. — Приходи, если нужно.

— Когда? — спросил я, судорожно прокручивая в уме завтрашнее расписание.

— Да хоть прямо сейчас.

Сработало. Даже с перебором. Сказать "нет", перенести на утро? Но сейчас на моей стороне эффект неожиданности — в конце концов, она первая из арефьевских наследников, с кем я встречаюсь. Кто знает, что будет завтра?

— Минут через пять, — сказал я, с ненавистью к своему кретинскому нетерпеливому характеру уже тяжело выколупывая себя из кресла и одновременно приходя к неутешительному выводу, что мужское любопытство в принципе не настолько уж уступает женскому.

СКЕЛЕТ В ШКАФУ

Бредя по направлению к Стеклянному дому, я размышлял над тем, что нас с Веркой Дадашевой разделяет всего лишь наш старый хоженый-перехоженный двор и двадцать... нет, дайте точно подсчитать... девятнадцать с хвостиком лет.

Подумать только, юношеская любовь, первый поцелуй и все такое про-

чее — а я совершенно ничего не знаю, как и чем она жила все эти годы. Сменила фамилию — значит, замужем. По крайней мере, была. И это все.

Я напряг память, пытаюсь вызвать из ее глубин воспоминание хотя бы о том, куда она хотела поступать после школы. Что-то, кажется, с театром. Да, точно, она хотела стать театроведом, вернее, театральным критиком, писать о театре. А я ходить по театрам не больно любил, но таскался за ней в "Современник", "Сатиру", на "Бронную" и на "Таганку", это было время, когда все сходило по ним с ума. Верка стреляла лишние билетки, ей это всегда почему-то удавалось, она была хорошенькая, улыбочивая, настырная, с искривленным взором, шныряла в толпе перед входом, звонко крича: "У кого лишний? Отдайте нуждающимся!" А затем, отсидев в душном зале, мы шли домой, держась за руки, и, не сговариваясь, заходили в незнакомые темные подъезды и там целовались врасос, до изнеможения, так, что потом болели губы, и Верка с каждым разом позволяла все больше и больше, мы медленно, но верно двигались вперед, кропотливо постигая эту новую науку, и я уже разобрался в сложном устройстве застёжки лифчика, и узнал, как могут наливать и твердеть под моими жадными требовательными руками еще ни разу не виденные, пока знакомые только наощупь соски ее маленьких грудей... Господи, сколько разных, казалось, давно забытых глупостей хранится в закоулках мозга!

Я попытался представить себе, во что могла превратиться за два десятилетия тоненькая хрупкая девочка с мелкими чертами фарфорового личика, осиной талией и очаровательной маленькой попкой, но не смог. В любом случае я твердо решил с порога объявить ей, что она совсем не изменилась.

Собственно, у Верки дома я был один-единственный раз в жизни, она говорила, что у нее очень строгие родители, к тому же мать не работала, часто болела и поэтому редко выходила. Но ее подъезд, второй от угла, тот самый, где мы впервые поцеловались, я помнил очень хорошо.

— В семьдесят вторую, — бросил я вооруженной вязальными спицами сторожихе и был пропущен благосклонным кивком. А в лифте на меня опять нахлынули воспоминания.

Верка жила на последнем этаже и, когда потихоньку выскальзывала из квартиры ко мне на лестницу, мы поднимались еще выше, к запертому на огромный висячий замок машинному отделению, и здесь, зажавшись в угол, ласкали друг друга под натужный вой лебедки, таскающей взад и вперед громяющую клетку лифта, под чудовищный лязг и грохот его металлических сочленений. Вот там однажды, неожиданно замерев в моих объятиях, она прошептала чуть слышно за этой чертовой какофонией, почти касаясь мягкими губами моего уха: "Пойдем ко мне, мои уехали к бабушке на дачу".

Что еще я помню? Какие-то обрывки.

Огромную сумрачную квартиру, уходящую во все стороны лабиринтом нескончаемых комнат, обставленных тускло отсвечивающей в полутьме полированной, дорогой, наверное, мебелью. На фоне сереющего окна Веркин струной натянутый силуэт, ее торчащие, как у молоденькой козочки, груди — одна выше, другая ниже. И в полумраке темнеющий под матовым животом треугольник, к которому я все не решался прикоснуться. Кажет-

ся, она, опустив руки, сидела на кровати, а я стоял перед ней на коленях, и мои трепещущие ладони отправлялись в экспедицию вверх по ее бедрам, готовясь на этот раз овладеть всем до конца, когда за моей спиной где-то в глубине лабиринта раздался страшный, как мне почудилось, грохот, что-то полетело на пол, упало, разбилось, и громкий злой голос завопил: "Верка! Ты дома? Верка!" Это был ее старший брат, который на сутки раньше вернулся с военных сборов, пьяный в стельку. На следующий день она уехала в летний спортивный лагерь (художественная гимнастика или что-то в этом роде), а осенью, придя в школу первого сентября, я узнал, что ее отца (он был какой-то средней руки внешторговый чин) отправили в Китай, и школу она заканчивала уже там. Какая странная судьба, странная судьба, пелось в песенке того далекого времени...

На лестничной клетке перегорела лампочка, было темно, и, когда открылась дверь, я на контражуре увидел перед собой широкую коренастую фигуру, внутренне ахнул и услышал глуховатый голос:

— Проходи. Надо же, ты почти не изменился!

Впрочем, уже в освещенной прихожей обнаружилось, что моя давняя коханочка встречает меня в каком-то бесформенном, огромном не по росту мужском, грубо вязанном свитере и потрепанных тренировочных штанах с пузырями на коленях. Поймав мой взгляд, она, правда, едва заметно усмехнулась и пробормотала:

— Извини, я тут по дому... Плиту мыла. Хочешь чаю или кофе?

— Чаю, — сказал я, оглядываясь по сторонам. — Чаю покрепче я бы не отказался.

Квартира, заставленная громоздкими, давно вышедшими из моды ореховыми шкапами под красное дерево и зеркальными сервантами, показалась мне тесной. В одной из распахнутых комнат штабелями до потолка стояли какие-то оклеенные ярким глянцем коробки, пол устилали клочья оберточной бумаги, обрывки веревок. Кухонный стол, за который меня усадила хозяйка, покрывала похожая на старинную штурманскую карту клеенка, вся в пятнах и разводах, изрезанная, исколотая, облупившаяся на сгибах. Верка поставила передо мной чашку на треснутом блюде, залила кипятком в заварочный чайник с отбитой ручкой и накрыла его ватной бабой, обожженной со всех сторон, как старый танкист. Чтобы не показывать, какое впечатление все это на меня производит, я стал непринужденно вертеть головой по сторонам и тут же уперся взглядом в потолок, краска на котором свисала вниз болезненными серыми струпами.

— Ты глаза-то не отводи. — Снова легонько усмехнувшись, Верка усеялась напротив меня и подперла щеку кулаком. — Чего уж там, говори, как есть: узнать хоть можно?

Я честно всмотрелся.

Про фигуру, конечно, сказать что-либо было затруднительно, а фарфоровое личико не избежало влияния времени. Нет той белизны, того румянца, а если присмотреться, то станут заметны кракелюры, пустившие свои паутинки над веками и в уголках рта, но в целом... В целом это была та же Верка Дадашева, только глаза изменились по-настоящему: больше не искрились, глядели твердо и устало. Я сообщил ей об этом, и она в ответ длинно вздохнула:

— Устанешь... За столько лет...

Мы оба замолчали. Разговор не клеился, я сидел, придумывая, с чего начать, и тут Верка посмотрела мне прямо в лицо и решительно сказала:

— Чтоб тебе не задавать наводящих вопросов. Отец умер давно, мать в прошлом году. Я здесь живу всего месяц, после того как с мужем разошлась. — Помедлила слегка и добавила, криво усмехнувшись: — С четвертым, если тебе это интересно. Сейчас торгую швейцарскими кастрюлями — изготовлены из особых сплавов, не пригорают, можно готовить без масла и жира, сэбергут вам здоровье и деньги. Может, хочешь купить?

Последние слова она произнесла привычной рекламной скороговоркой, в которой мне послышался прежний звонкий голос, требующий отдать нуждающимся лишний билетик. Я сказал ей об этом, и мы оба расхохотались.

— И как идет торговля? — поинтересовался я.

— Плохо, — весело ответила она. — Не приучен наш народ беречь ни здоровье, ни деньги.

С билетиков мои ассоциации естественным образом соскользнули на следующую ступеньку, и я, решив, что пора переходить к делу, то бишь к возможному арэфьевским наследникам, поинтересовался, как поживает брат Николай, а Верка почему-то подавилась смехом и уставилась на меня чужим взглядом.

— Ты и этого не знаешь, — протянула она, опуская глаза, и пробормотала непонятно: — Скелет в шкафу. Все равно никуда не денешься...

Коля, Коля, Николаша оказался плохим мальчиком. Строгие Веркины родители не доглядели за сыночком, и он убил отца. А, в конечном счете, и мать. Не прямо, конечно. С несколькими приятелями он оказался замешан в ограблении квартир, однажды его схватили прямо на месте преступления, потом были суд и тюрьма. Когда это случилось, Дадашева-старшего немедленно отозвали из заграницы, он приехал в Москву уже с инфарктом, на инвалидность. А через полгода второй инфаркт добил его окончательно.

Мать на этом деле слегка тронулась умом, перестала интересоваться чем-либо вокруг, опустила, по многу месяцев проводила в психбольнице и в конце концов там же угасла. Рассказывая все это, Верка смотрела в стенку за моей спиной, но мне казалось, что она не видит и ее. Выговорившись, вдруг словно вынырнула из-под тяжелой холодной волны, потрясла головой и жалко улыбнулась:

— Хороша семеечка, да? А я ведь, между прочим, театральный все-таки кончила, правда, заочно. Теперь вот по кастрюлям... — Но тут же сама себя резко оборвала, словно крюком подцепила и вздернула, заговорила ровно и по-деловому: — Ну, ничего. Я, как раньше говорили, эмансипэ, давно уж привыкла рассчитывать только на себя. Железная женщина, гвозди можно делать. Давай теперь ты. Рассказывай про Женьку.

Я, как мог, изложил. Про то, что узнал от Котика. Про свою версию его смерти. Про арэфьевскую кому. Верка все это выслушала до конца, ни разу не перебив, не задав ни одного вопроса. Я думал — из вежливости. Оказалось — потому что с самого начала не поверила ни во что. О дяде Глебе ей, конечно, известно, часто навещала его в больнице, последний раз приехала как раз в тот день, когда старика увезли в реани-

мацию. А про Женюку в милиции сказали, что маньяк или просто хулиган. Про Костю — самоубийство.

— Ты же по телефону сказал, что знаешь точно, кто ее убил? — Она теперь смотрела на меня холодными прищуренными глазами.

— Я сказал не так. — Мне очень не хотелось оправдываться, залезать в словесные дебри, и это раздражало, но другого выхода не виделось. — Я сказал, что знаю кое-что о ее смерти и о том, кто это мог сделать. А главное, зачем. Котик считал, что в этом могли быть заинтересованы другие наследники...

— Другие — в том числе я? — Ее лицо побелело и застыло, как припорошенная снегом льдина.

— Теоретически — да, но... — Я развел руками, с отчаянием понимая, что сейчас она просто укажет мне на дверь, и этим все кончится. — Мне кажется, тебя он не считал способной...

Если она воспримет это как комплимент, то еще ничего. А если обидится? "Дура", запятая, "временами". Но Верка, оказывается, думала совсем о другом.

— А Костя не объяснил тебе заодно, откуда он знал, кому полагается наследство, а кому нет? — вкрадчиво осведомилась она.

— Не объяснил, — вынужден был признать я. — Но он предполагал, что...

Выражение Веркиного лица практически не оставляло мне шансов на продолжение разговора. И я понял, что настало время для последнего из припасенных аргументов. Если и он окажется холостым выстрелом, придется сдаться.

Но шарахнуло так, что я и предположить не мог.

— Ты знаешь, что это такое? — спросил я, извлекая из кармана маленький металлический цилиндр с насечками и дыркой.

Если бы на моей ладони вместо кусочка мертвого железа оказалась живая сколопендра, это не произвело бы большего эффекта.

— Откуда это у тебя? — помертвевшими губами спросила Верка. Я явственно увидел, что под толстым мужским свитером "железную женщину" бьет натуральный колотун. Обхватив себя руками за плечи, тщетно стараясь унять непроизвольно возникшую дрожь, она еще раз спросила почти шепотом: — Откуда?

— Котик дал. Перед самой своей смертью, — честно ответил я, пораженный такой ее неожиданной для меня реакцией. И вдруг меня, словно током, ударило, осенило, озарило: — У тебя такой же, да? Скажи, у тебя тоже есть такой?

С полминуты, наверное, Верка смотрела на меня пустыми, невидящими глазами, будто не слышала моего вопроса. Потом словно очнулась, резко встала, повернулась ко мне спиной и глухо сказала:

— У меня голова что-то ужасно разболелась. Уходи, Стас.

— Так ты знаешь, что это такое? — надавил я. Но этого оказался случай, когда давить не следовало.

— Не знаю. Уходи, — не поворачиваясь, процедила она сквозь зубы. И вдруг закричала громко, визгливо, по-бабьи: — Уходи! Уходи! Голова сейчас треснет, не понимаешь, что ли! Уходи!

Следовало констатировать, что запланированный мною эффект неожиданности при встрече с первым из предполагаемых наследников Глеба Саввича, безусловно, был достигнут. Оставалось неясным лишь, для кого неожиданность оказалась эффективней: для Верки или для меня?

ДАМСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК

Да, подкинул мне Котик дельце: опять среди ночи лежу на постели без сна. Дело о...

Я попытался в уме перевести тридцать миллионов долларов в рубли, но тут же запутался в нулях. Цифры получались совсем уж несусветные, вроде бюджета какой-нибудь Курской области. Может, начать считать эти миллионы вместо баранов, прыгающих через забор? Один миллион прыгнул, другой миллион прыгнул...

Не помогло. Вместо того чтобы навевать сон, зрелище, наоборот, получалось возбуждающим.

Я слез с кровати и босиком прошлепал к книжным полкам. Гомера бы сейчас... Список кораблей почитать...

Но вместо Гомера на глаза попался маленький яркий томик с обвитой змеями голой дамочкой на обложке. "Константин Шурпин. КТО БЕЗ ГРЕХА". Разумеется, я взял ее в руки совсем не для того, чтобы читать. Котик обычно сочинял довольно остросюжетные штучки, а это не лучшее средство борьбы с бессонницей. Просто она была материальным подтверждением того труднодоступного сознанию факта, что всего сутки назад мой друг был жив, дарил мне свою новую книгу, надписывал ее... Я открыл титульный лист. Оказывается, роман имел еще и второе название: "КТО БЕЗ ГРЕХА, или ЭРИНИИ".

Эринии, эринии... Что-то знакомое, но откуда — убей Бог. Костя любил щеголять всякими умными словечками. А вот на форзаце и дарственная надпись. Выведено как курица лапой, но разобрать можно: "Стасику Северину, бессмертному отныне герою этой книжки — от автора. К. Шурпин". Ни фигя себе! То-то он, подписывая, бормотал насчет того, что мне интересно будет! Все еще стоя босиком возле стеллажей, я открыл первую страницу.

"Прошло три тысячи лет, и случилось то, что должно было случиться: от Ольги Делонэ ушел муж. Примерно тогда же произошло еще одно событие, в настоящем никак с первым не связанное: Макса Крутовича с треском уволили из полиции, и он подался в частные сыщики..."

Ну, вот и я попал в прототипы. Это ведь меня выгоняли из милиции, причем дважды, и оба раза с треском. Типический характер в типических обстоятельствах. "Когда б вы знали, из какого сора..." Как там дальше? "Растут стихи, не ведая греха..." Или "стыда"? Нет, "греха" — это у Кости.

Искушение немедленно начать читать было велико, но я его превозмог. Представлялось очевидным, что, отдавшись во власть Шурпина-писателя, я бы неизбежно пренебрег интересами Шурпина-клиента: завтра с утра предстояло много работы, которая уже сегодня не дает мне уснуть. А после бессонной ночи с книжкой в руках из меня и вовсе тот еще будет работник. Так и не выбрав ничего успокоительного, я пошелся обратно в кро-

вать, по дороге куда в голову мне пришло философическое соображение, что если Котик написал правду и я отныне действительно "бессмертный герой", то нервничать и суетиться просто глупо, а в общем-то по большому счету даже неприлично. У меня впереди вечность, на фоне которой выглядит жалкой тщетой любые миллионы. Особенно чужие.

С этой мыслью я неожиданно для себя успокоился, одновременно вдруг почувствовав неудержимое стремление к подушке. И, кажется, на этот раз мне, как в молодости, удалось заснуть, не донеся до нее головы.

Наутро первым нашелся Наум Яковлевич Малей, который, как выяснилось при посредстве адресного бюро, жил почему-то отнюдь не в Стеклянном доме. Впрочем, сей по-мичурински причудливо привившийся плод Саввова семейного древа, упав с него, откатился не слишком далеко и владеет теперь квартирой в Доме-где-метро. Установивший этот факт Прокопчик был, несмотря на его прозрачные намеки насчет внезапно обострившегося остеохондроза, откомандирован мною на поиски координат прочих птенцов арефьевского гнезда, а сам я отправился по указанному адресу, благо путь предстоял недолгий.

Дом-где-метро, замыкающий наш двор с юга, вырос в громокипящих тридцатых как наземное дополнение к расположенной под ним станции метрополитена, на голом энтузиазме рванувшего из центра в еще совершенно не освоенные окраины, и довольно долгое время оставался, мне кажется, едва ли не единственным каменным строением среди окружающих его бревенчатых бараков и прочих утонувших в садах глухих и слепых от рождения домишек. Стиль "раннего сталинанса" наложил на него все полагающиеся времени черты: громоздкую помпезность снаружи и пышные, особенно на фоне окружающей нищеты, излишества внутри. Предполагалось, что населять его будут метростроевцы, главным образом, разумеется, комсостав, поэтому огромным квартирам с четырехметровыми потолками и даже комнатами для прислуги вполне соответствовали парадные подъезды с высокими мраморными порталами и псевдодорическими колоннами. А на фронтоне здания вдоль всего карниза были, как водится, установлены аллегорические фигуры Летчика, Рабочего, Ученого, Колхозницы, еще кого-то и, конечно, Метростроевца в шахтерской каске с отбойным молотком в руках. Вот с этим скульптурным ансамблем и связано (рассказывает Гарухов) одно из самых таинственных событий в истории нашего околотка.

Во время торжественной сдачи объекта с крыши неожиданно упала статуя Метростроевца. И угодила она не куда-нибудь, а прямехонько в персональный "паккард" лично прибывшего на мероприятие наркома путей сообщения товарища Кагановича, положившего немеряно сил, средств и чужих жизней на алтарь строительства метро (его имя, о чем сейчас мало кто помнит, в течение долгих лет носил потом Московский метрополитен).

Сам Лазарь Моисеевич в этот драматический момент произнесил пламенную речь на митинге, идущем под землей, на перроне открывающейся станции, поэтому рухнувший с неба болван расколошматил вдребезги только пустой правительственный лимузин. Но тем не менее делу о покушении на жизнь сталинского наркома был дан ход, виновники теракта, и даже, как выяснилось в процессе следствия, они же участники крупномасштабного антисоветского правотроцкистского заговора, быс-

тро нашлись, по какой-то причине часть метростроевского комсостава отправилась валить лес в мордовские лагеря, а на освободившуюся таким образом жилплощадь заселились другие строители, числом поболее и не такие начальственные, превратив многие квартиры из отдельных в коммунальные. Странность, однако, была не в этом. Странность и даже таинственность состояли в другом. А именно в том (дойдя до этого места, Марлен Фридрихович обычно понижал голос), что над тем местом, где в несчастливый для себя день припарковался искореженный впоследствии правительственный "паккард", карниз украшала статуя вовсе не Метростроевца с отбойным молотком, а, наоборот, Летчика с пропеллером. Место же Метростроевца было на противоположном крыле здания, между Колхозницей и Физкультурником.

Тем не менее не только сами полностью сознавшие и глубоко раскаявшиеся в преступлении бывшие комсоставовцы, но, что совсем уж удивительно, даже умудренные, опытнейшие следователи не сумели найти рационального объяснения тому, как удалось без специального каменного оборудования протащить по узкому карнизу полутонный каменный статуй. И главное — зачем, если под руками имелся другой, ничуть не менее массивный и тяжелый. Возникали, правда, в кулуарах кое-какие совершенно уж несусветные версии, но они были решительно отринуты ввиду их полного несоответствия передовому атеистическому мировоззрению. В конце концов, здраво рассудив, что эта мелкая на фоне грандиозного заговора деталь существенного значения не имеет, на нее решили плюнуть и сдать дело в архив.

Но тут от верных людей в компетентные, как сказали бы теперь, органы стала поступать информация о неких темных и, несомненно, провокационных слухах, получивших внезапное распространение среди наиболее несознательной части граждан. То болтали о тяжелых, словно каменных, шагах, которые будто бы слышали над своей головой жильцы последних этажей, то пересказывали друг другу байки о странных, хорошо видных ясными безоблачными ночами, бродящих по крыше тенях ростом в полнеба. Разумеется, люди идейно выдержанные, прежде всего партийцы и комсомольцы, едко высмеивали подобные чуждые суеверия, легко и вполне научно объясняя вышеуказанные явления. Так, тяжелые шаги представлялись не чем иным, как грохочущими в дурную погоду плохо закрепленными листами кровельного железа. Ну а тени в полнеба разоблачались и того проще — трепещущим на ветру бельем, которое кое-кто из домохозяек повадилась развешивать на крыше втайне от домкома. Слухи, однако, несмотря на научные разоблачения, не утихали, а, наоборот, ширились, в связи с чем была соответствующими организациями предпринята полная проверка всех обстоятельств, и хотя широкую общественность так и не оповестили о том, какие сделались выводы, но зато (здесь Гарахов делал весьма многозначительную паузу) хорошо известен факт: в один прекрасный день приехали монтажники, сняли все оставшиеся после падения Метростроевца скульптуры и увезли их в неизвестном направлении, после чего слухи разом прекратились.

Наверное, я еще в юности впервые услышал эту байку и, как водится, тогда же посмеялся над ней. Но вот что интересно: каждый раз, берясь за

ручку двери Дома-где-метро, я ловлю себя на том, что помимо воли взглядываю наверх, не летит ли что-нибудь с крыши мне на голову.

За шестьдесят с лишком прошедших со времени постройки лет мрамор порталов пожух и покрылся морщинами, облупились колонны, а стены просторных, как паровозное депо, подъездов покрылись таким количеством проломов, пробоин и даже целых пластов обнажившейся под рухнувшей штукатуркой гнилой дранки, что впору было на них писать: "Эта сторона особенно опасна при обстреле". Но, как ни странно, дом переживал вторую молодость. Район наш неожиданно оказался в числе престижных, и застарелые, как подагра, неизлечимые, казалось, в своей заскорузлости коммуналки принялись стремительно расселяться, приобретать новых респектабельных, обеспеченных хозяев, которые ремонтировали свои вновь ставшие персональными апартаменты, а заодно грозились привести в порядок прилегающие помещения. Когда я вошел в парадное, то обнаружил этому наглядное подтверждение: весь холл перед лифтом был заставлен строительными козлами, ведрами, полными белил, баллонами газосварки и прочими атрибутами новой светлой жизни.

Судя по номеру квартиры, Малей жил на самом верхнем этаже. Но когда я, осторожно лавируя между заляпанной раствором бетономешалкой и грудой присыпанных цементной пылью кирпичей, добрался до лифта, меня встретила обескураживающая табличка "Капремонт" с припиской от руки кривыми печатными буквами: "Ходите пешком. Движение — это жизнь". Слово "жизнь" было зачеркнуто, и поверх него какой-то остряк, склонный, видимо, к гиподинамии, каллиграфически вывел "смерть".

Где-то этажу к четвертому-пятому я уже смог по достоинству оценить этот мрачный юмор: лестничные марши казались раза в два длиннее обычных, а щербатые ступеньки и шатающиеся, как старческие зубы, перила с обглоданными временем деревянными поручнями не облегчали пути к вершине. Остановившись на полминуты, я глянул вниз, в пролет лестницы. Дна в гулком полумраке уже не было видно, и у меня слегка закружилась голова, как будто я наклонился над бездной. Оторвавшись от этого малоприятного созерцания, я решительно взбежал на площадку последнего этажа и нажал на звонок.

В этот раз в мои планы не входило предварительно предупредить о своем визите по телефону, поэтому я готов был к разглядыванию меня в глазок и осторожным расспросам через дверь. Но мне открыли быстро и решительно. На пороге стоял невысокий, элегантно даже в длинном махровом купальном халате, седой, коротко стриженный мужчина с тонкими нервными чертами лица, похожий на подбритого с боков серебристого миттельшнаупера.

— Чем могу служить?

Фраза была не менее изящна, чем внешность. Я протянул ему заготовленную визитку.

— О! — изогнул он брови не без некоторой игривости. — Частный сыщик! Раньше встречал только у Рекса Стаута. Вы случайно не ошиблись адресом?

— Не ошибся, если вы — Наум Яковлевич Малей, а вашу покойную мать при этом звали Елена Саввична Арефьева.

Что-то похожее на беспокойство мелькнуло в его взоре, он даже непрозвольно ухватился за ручку двери, и мне на миг показалось, что сейчас она захлопнется перед моим носом. Но этого не произошло. Наоборот, хозяин отступил в сторону, пропуская меня.

Первое, что бросилось в глаза, — чрезмерное обилие зеркал в прихожей. Два поясных и еще одно в полный рост. Едва я перешагнул порог, создалось неприятное ощущение, что нас в тесном полутемном коридорчике целая толпа. Сделав приглашающий жест рукой, Малей направился в глубь квартиры, на ходу захлопнув дверь в спальню, но я успел краем глаза разглядеть огромную двуспальную кровать со сбитыми белоснежными простынями, краем уха уловить там какое-то шуршащее движение, а краем, если можно так выразиться, носа унюхать доносящийся оттуда сладковатый аромат не то сандалового дерева, не то какой-то не известной мне косметики. В конце концов мы оказались в просторной комнате с большим эркером, интерьер которой состоял опять же из зеркал, а также парикмахерского кресла, специально оборудованной раковины с душем на гибком шланге и прочих парикмахерских причудалов. Дамский цирюльник, вспомнил я шурпинский список. Визажист-надомник.

Войдя в помещение, хозяин зачем-то плотно прикрыл за нами распашные двери с матовыми узорчатыми стеклами, но хотя в углу, надо полагать, для ожидающих своей очереди посетительниц, вокруг журнального столика с пепельницей и телефоном имелись диванчик и пара пышных пуфиков, сестр меня Малей не пригласил, ясно давая понять, что на долгий разговор рассчитывать не стоит.

Я и не рассчитывал. Честно говоря, на месте всех этих арефьевских наследников я себя и на порог бы пускать не стал, не то что разговоры разговаривать. Шутка ли, пять, или сколько там, миллионов баксов на рыло! Поэтому меньше всего я надеялся на то, что совершенно незнакомый человек упадет мне на грудь с подробными рассказами о своей семье и в особенности о родственниках, вместе с ним претендующих на сумасшедшее наследство. Но у меня имелся некий оселок, с помощью которого, как я уже мог убедиться в случае с Веркой, можно попытаться проверить остроту чувств каждого из предполагаемых наследников. И когда Наум Яковлевич, обратив ко мне свое умное, тонкое, нервное лицо, снова поинтересовался, чем может быть полезен внезапному визитеру, я этот оселок нащупал в кармане и вытащил на свет Божий.

Малей прореагировал сдержанной своей кузины, но и в полном отсутствии эмоций его было не упрекнуть. Краешек левого века вдруг задергался, запульсировал прерывистой, захлебывающейся морзянкой. Но голос звучал ровно:

— Где вы это взяли?

Я объяснил. И поскольку новых вопросов сразу не последовало, решил воспользоваться временным замешательством собеседника и овладеть инициативой:

— Есть основания полагать, что из-за этой штуки двоих уже убили. Мне кажется, нам с вами стоит обсудить кое-какие серьезные вопросы. У вас ведь тоже имеется что-то в этом роде...

Я выжидательно замолчал. Глаза миттельшнауцера сузились, покрылись легкой паволокой, словно затуманились воспоминаниями, и даже серебристые волоски на висках теперь, показалось мне, как будто пожухли, утратив гладкий блеск, превратившись в сухие и мертвые короткие иголки.

Тримминг. Ни к селу ни к городу вспомнилось вдруг это заморское слово. Миттельшнауцеров не бреют, их триммингуют — выщипывают шерсть. Зверская, должно быть, процедура.

Малей слепо нашарил позади себя парикмахерское кресло, развернул его и опустил на сиденье. Лицо еще оставалось бесстрастным, но голос подвел, в нем появилась плавающая растерянная нотка:

— Откуда вы знаете? Кто вам мог сказать, что я... что у меня...

Он запнулся и замолчал. А передо мной встала дилемма, которую необходимо было решить немедленно: честно признаться, что это только мои предположения, или с ходу начать врать что-нибудь, темнить, отделяться намеками, делать вид, будто мне известно больше, чем показываю, и выжидать, пока он сам обо всем проговорится. Оба пути имели как свои плюсы, так и минусы, я судорожно перебирал в голове возможные варианты, но от муки выбора был избавлен совершенно неожиданным образом. Узорчатые двери резко распахнулись, однако, как ни странно, никто в комнату не вошел, зато откуда-то из коридора донесся крайне взвинченный, слегка задущенный и от этого показавшийся мне беспольным голос:

— Мусечка, молчи!

С искаженным досадой лицом Малей скатился с кресла, бросился к дверям и попытался закрыть их обратно. Но кто-то удерживал ручку одной из створок с другой стороны, хозяин пыхтел, перетягивая ее к себе, с той стороны тоже тянули и пыхтели, и сквозь это пыхтение прорывался все тот же высокий и одновременно спертый вопль:

— Не смей, слышишь, не смей! Тебе нельзя говорить об этом! Тебе запретили!

Напрягшись вздувшимися на шее жилами, куафер рванул дверь на себя, и в проем влетел новый неожиданный персонаж: рослый, на голову длиннее хозяина, всклокоченный детина с пунцовыми губами и крашеными в соломенный цвет волосами. Короткий павлиньих оттенков халатик от борьбы разъехался на нем, обнажив мускулистый, хоть и заплывший уже слегка жирком, торс, украшенный внизу мощными, выпирающими под узенькой полоской трусов мужскими статями. Он всего на мгновение мелькнул перед моим взором, потому что в следующую секунду тот, кого называли "Мусечкой", ожесточенно толкнул его руками в грудь, шипя в лицо:

— С ума сошел! Хотя бы оделся! Выйди отсюда!

От резкого толчка пунцовый так же неожиданно, как появился, вылетел из поля моего зрения, успев на прощание испустить еще один отчаянный вопль:

— Мусечка! Тебя предупреждали! Ты не должен!

Захлопнув наконец дверь, парикмахер припер ее спиной и повернулся ко мне с кривой ухмылкой:

— Извините... Прощу меня понять...

— Ничего-ничего, — сочувствующе махнул я рукой. — Понимаю. В какой семье не бывает ссор. Так мы можем с вами обсудить кое-какие вопросы?

Он скривился еще больше и пробормотал, отводя глаза:

— Нет, не сейчас, вы же видите... К тому же, он прав... Мне не следует... Я ведь вас совершенно не знаю... Надо подумать. Я перезвоню вам, хорошо?

— Хорошо, — покладисто пожал я плечами и двинулся к выходу.

Малей резво распахнул передо мной дверь и снова бросился по коридору впереди меня, на ходу раздраженно захлопывая спальню, откуда доносилось бряканье какими-то флаконами, шарканье шлепанцев по паркету, глухое бормотание, все вместе складывающееся в монотонное шебуршение, будто огромный жук ворочался в огромном спичечном коробке.

— В другой раз, в другой раз, — бормотал хозяин, отпирая замок. — Примите извинения, в другой раз...

— Ну что вы, что вы, время терпит, — в том же духе отбормотывался я, — это мне нужно извиняться... В другой раз так в другой раз, как вам будет угодно...

Надо сказать, насчет того, что время терпит, я кривил душой. Больше того, я в этом очень сильно сомневался. Часы и минуты бессмысленных покуда хождений по не желающим откровенничать со мной людям грозили сложиться в дни, а те — в неделю. В ту самую "неделю максимум", которую неумолимая судьба отвела на остаток жизни умирающего в онкологическом центре Глеба Саввича Арефьева.

Что будет потом, когда наступит этот последний срок, "dead line", как очень подходяще к данному случаю говорят англичане, я не знал, но носом чуял: будет поздно. Во всем же остальном я был совершенно искренен, ибо действительно не возражал перенести встречу с изящным визажистом на более поздний срок.

После вчерашней беседы со своей бывшей возлюбленной я действительно находился в сильном подозрении, что с Малеем может получиться нечто аналогичное. Это представлялось вполне логичным и последовательным, ведь не только Верка, но днем раньше даже покойный Котик, в пьяном отчаянии всучивая мне на хранение эту сакральную железку, так и не сподобился объяснить все до конца. Какое-то табу, явный и суровый запрет витали над всей этой историей. Поэтому еще вчерашней бессонной ночью я пришел к выводу, что вряд ли достигну результатов, пытаюсь пробить стенку головой. И мое сегодняшнее посещение Дома-где-метро лишь внешне выглядело как еще одна неудачная лобовая атака. На самом деле, если уж пользоваться военной терминологией, это был скорее партизанский рейд по тылам, призванный ввести предполагаемого противника в заблуждение, спровоцировать его на активность. И с этой точки зрения цель, которую преследовал скоротечный визит к Малее, была полностью достигнута.

Едва не переломав ноги, я кубарем скатился вниз по шерботой лестнице, бегом пересек двор, ворвался к себе в контору — и все равно не успел. Магнитофон, подключенный к приемному устройству, уже вовсю крутился. Миниатюрный кварцевый передатчик, который я, воспользовавшись короткой схваткой за обладание дверью между Малеем и его дружкой, прилепил под низ телефонного аппарата, включался автоматически при сня-

тии трубки или просто на звук голоса, и это означало, что после моего ухода из квартиры там отнюдь не наступила умиротворенная тишина.

— ...ты идиот, Ньюма, и останешься идиотом до смерти, — говорил, вернее, выговаривал холодный яростный женский голос. — Я тебя третий раз спрашиваю и не могу получить вразумительного ответа: какого черта ты пустил его в дом?

— Но, Марочка, он показал мне ключ, очень похожий на те, что у тебя и у меня, а потом сказал, что из-за него убили двух человек, я так понял, Женечку и ее мужа... — блеял в ответ Малей. — Как я мог... Я растерялся...

— Кретин, — жестко отозвалась женщина. Я уже не сомневался, что это единоутробная сестра Малей Маргарита Робертовна Габунья. — Этому шпику не надо было даже дверь открывать.

— Ну почему же шпику? — слабо отбивался парикмахер. — Он мне показался вполне нормальным человеком. Ни на чем не настаивал. К тому же я ему так ничего и не сказал...

— Боже, какой дебил! — протонала его сестра. — Ничего не сказал — но ничего и не отрицал, так? Ты все ему подтвердил, дубина стоеросовая!

В этом месте неожиданно возник еще один голос, но, судя по тембру записи, не в трубке, а где-то рядом, за кадром.

— Скажи им, скажи, что я был против, что это я тебе не позволил, — страстным шепотом канючил он.

— Да, вот и Севочка тоже, — атакуемый со всех сторон, потерянно сдался Малей, — он советовал мне ни о чем не разговаривать, и я послушался.

Но на эту поддержку со стороны Маргарита отреагировала самым неожиданным образом:

— Не смей при мне упоминать эту твою девку с яйцами! — яростно завопила она. — Ему ты тоже не имел никакого права ничего говорить!

— Как это? — взвился дотоле покорный визажист. — Ты-то ведь своему Бобсу все рассказала!

— И у тебя хватает наглости сравнивать? — ахнула сестра. — Борис — мой муж, а этот... эта...

Видать, ей удалось задеть брата за живое, потому что теперь и он в ответ заорал:

— Тебя не касается моя личная жизнь! Я взрослый человек и живу отдельно от тебя!

— Ах, отдельно? — голос Маргариты зловеще понизился. — Ты живешь отдельно, потому что мы купили тебе эту квартиру!

— Нет, Марочка, — язвительнейше возразил Малей. — Вы купили эту квартиру, потому что отдельно захотелось жить не мне, а вам. В квартире матери, между прочим.

— В квартире матери? — не менее язвительно переспросила сестра. — Да если б не мы, ты превратил бы ее в притон для своих извращенцев! Предлагаю, что ты сделаешь с деньгами, когда они на тебя свалятся!

— Ну, все, стоп, хватит, — прервал дальнейшее выяснение отношений новый, привыкший, судя по тону, командовать и распоряжаться голос. Низкий и густой, как вар, он мгновенно залил и утихомирил бурлящую перебранку, а я догадался, что параллельную трубку взял муж Маргариты. —

У вас обоих мозги набекрень. Самая большая неприятность в бизнесе — это утечка коммерческой тайны, а вы базарите из-за какой-то ерунды. Сейчас надо думать о другом. Во-первых, откуда он узнал, что у Наума есть ключ, во-вторых, что ему еще известно и, в-третьих, чего он хочет.

— А в-четвертых, чем все это нам грозит, — ввернула Маргарита. И добавила с угрозой: — Если он думает, что раз заполучил ключ, то может на что-то претендовать...

В наступившей тишине после легкой паузы Малей, смущенно каплянув, робко предложил:

— Может быть, рассказать об этом остальным?

— Идиот, — мгновенно отреагировала его сестра. — Кому это — "остальным"? Ты что, точно знаешь, кто эти "остальные"?

— Ну, догадываюсь... — гаснущим тоном произнес парикмахер.

— Он догадывается! — едким голосом воскликнула Маргарита, и, возможно, между ними снова вспыхнула бы словесная потасовка, но Бобс решительно пресек ее своим тяжелым голосом, словно задвинул могильную плиту:

— Помолчи, Мара. И ты, Наум, кончай паниковать. Нас специально предупреждали, чтобы мы ни при каких обстоятельствах никому ничего не рассказывали. Один неверный шаг, и можно потерять все.

Снова наступила томительная пауза, на протяжении которой чуткий микрофон моего передатчика улавливал лишь напряженное дыхание нескольких человек. Затем опять загудел Бобс:

— Этот ваш детектив... Вряд ли он будет всерьез на что-то претендовать. Кишка тонка. Скорее всего, легкий шантаж. Я беру его на себя. Кстати, он там, у Наума, жучка не мог воткнуть? А то мы тут болтаем...

— Вроде, нет, — не слишком, впрочем, уверенно отозвался Малей. — Мы все время стояли посреди комнаты...

— У него один из ключей, — напомнила Маргарита. — У нас из-за этого могут быть сложности.

— Разберемся, — уверенно прокарабасил ее муж. — Не таких обламывали.

— Я бы все-таки рассказал... если не всем, то хотя бы Пирумову, — прошелестел на своем конце провода парикмахер и был на этот раз, как ни странно, поддержан зятем:

— А вот это мысль. Он за то и получает, чтоб все было по справедливости. И нам не конкурент.

Высокие разговаривающие стороны уже положили трубки, а я все сидел, уставясь на магнитофон, и пытался переварить полученную информацию. К сожалению, ничего принципиально нового я не узнал, кроме, пожалуй, кое-каких сведений о некоем Пирумове, который был, так сказать, шестым в котиковском списке из пяти человек. Вообще-то, эта фамилия чем-то была для меня смутно знакома, однако, как ни напрягал я память, никаких конкретных, связанных с ней ассоциаций вызвать не удалось.

Но одного я, кажется, добился: мне удалось-таки изловчиться и кинуть в это болото увесистый камушек. В ближайшее время я планировал запустить туда же еще пару-тройку подобных. После чего дело останется за малым: следить, куда двинется поднятая мной волна.

СМЕРТЬ МЕТРОСТРОЕВЦА

Пришел прихрамывающий Прокопчик, принес результаты своих архивных изысканий.

— П-паспортистка — п-прелесть, б-бабушка на выданье, — объяснил он мне, выкладывая на стол пачку выписок из домовой книги Стеклянного дома. — У меня с ней сразу установились х-хорошие н-наличные отношения.

Сведения, добытые Тимой, многое наконец-то расставили по своим местам. К тому же его новая подруга была, видимо, настолько им очарована, что, как говорится, за те же деньги любезно снабдила письменные свидетельства не менее ценными устными комментариями.

Единоутробная сестра Наума Малая Маргарита Габуния, уже отчасти знакомая мне (если, конечно, подслушанный телефонный разговор можно считать за знакомство), лет двадцать назад стала женой скромного чиновника городского треста "Мосавтотехобслуживание" Бориса Федоровича Блумова, случившейся впоследствии капиталистической революцией мобилизованного и призванного на ниву торговли импортными автомобилями, а также запчастями и аксессуарами. Владелец фирмы "Авто-Мир" передвигается все время на разных машинах, меняя их, как перчатки. В Котиковом каталоге фигурирует с пометкой "тоже сволочь".

Их кузина Наталья вышла замуж за человека по фамилии Забусов. По шурпинской классификации против этой фамилии стояло слово "банк", и действительно, Григорий Николаевич Забусов оказался президентом довольно известного в городе "Генерал-банка". К наследственной трехкомнатной квартире жены прикупил соседнюю "двушку", объединил их, отремонтировал и теперь проживает в роскошных пятикомнатных апартаментах, ездит на "Мерседесе-600" с джипом охраны.

Наконец, третья из до сих пор остававшихся не проясненными, а по сути шестая (если начинать счет с Женечки Шурпиной, Верки Дадашевой и Малей) ветвь разлапистого арфьевского родового древа. Родная сестра Натальи Настасья шесть лет назад погибла в автокатастрофе, оставив вдовцом мужа Эльпина Андрея Игоревича и сиротой сына Романа, собственно и являющегося, если я правильно понял, арфьевским наследником по материнской линии. Эльпин ("хорош гусь", по определению Котика), хозяин большого рекламного агентства, а также, по непроверенным слухам, нескольких популярных телевизионных шоу, пару лет назад женился повторно. К дому подъезжает обычно на BMW-750, ходит в сопровождении как минимум двух телохранителей.

Короче, тот еще контингент. Полагаю, когда Шурпин говорил о людях, с которыми менты не станут связываться, а если станут, то не справятся, он имел в виду именно эту троицу — Блумова, Забусова, Эльпина. Богатые бизнесмены, весьма уважаемые члены общества. Но, перефразируя известное высказывание, у нас пока нет других подозреваемых в убийстве, и мы будем работать с этими.

К сожалению, Малей не облегчил мне жизнь: позвонив Пирумову, он не стал ничего обсуждать по телефону, а договорился лично зайти к нему сегодня вечером. Однако и не слишком осложнил: аппаратура у меня хоть и устаревшая, но с такой простой задачей, как определение номера по количе-

ству импульсов, справляется. А с тех пор как в этой стране стало покупать-ся и продаваться решительно все, включая, например, компьютерную базу московской телефонной сети, отпала нужда обращаться за подобными справками к моим бывшим милицейским коллегам.

Лев Сергеевич Пирумов обретался все в том же Стеклянном доме. Правда, о том, кто он такой, кроме того, что "получает за то, чтоб все было по справедливости" и при этом не является арефьевским наследником конкурентом, мне ничего известно не было. Но с мощной агентурной сетью, состоящей из таких титанов разведки, как дедушка Гарахов и бабушка-паспортистка, это дело представлялось поправимым.

Вообще, с того момента, как окончательно расшифровались все оставленные мне Котиком фамилии, направлений работы стало хоть отбавляй. Но почему-то вот так же, как одинокую девушку Верку Дадашеву или парикмахера-надомника Ньюму Малю, идти брать на арапа крутого банкира Забусова и шоумена Эльпина не хотелось. Интуиция подсказывала, что здесь нужны какие-то другие подходы, нежели примитивное демонстрирование ключа с дыркой: не ровен час, кликнут охрану, да и отберут вещдок — иди потом сам на себя жалуйся. Поэтому, прежде чем пускаться на подобные сомнительные эксперименты, следовало отработать все остальные пути получения информации. Один из этих путей опять вел через весь город, на Каширское шоссе, в приют печали, именуемый онкоцентром. Только на этот раз я собирался туда хорошо подготовленным и экипированным, а также в компании с Прокопчиком.

План был прост и в двух словах характеризовался кратким, но емким выражением: "на живца". Живцом я поначалу хотел определить своего помощника, но он возмущенно взвыл, что тому из нас, кто будет осуществлять наблюдение со стороны, наверняка придется пощелкать камерой, а это несомненно его, Тимина, прерогатива:

— Р-разве у тебя есть за спиной п-пятьсот тысяч снимков? — напыщенно поинтересовался он. И я, испугавшись, что Прокопчик начнет сейчас рассказывать, как он разъездным фотографом на Северном Кавказе снимал целые школы и армейские дивизии, немедленно уступил, предложив компромисс.

На всякий случай мы приготовили сразу два комплекта бумажных номеров для моего "кадета" и его "восьмерки", которые легко наклеиваются поверх настоящих, а после того как нужда в них отпадает, также легко отклеиваются. Когда устраиваешь подобные шутки, главное — не попасть в лапы какому-нибудь гаишнику без чувства юмора. Впрочем, в наши намерения не входило испытывать судьбу, чересчур долго катаясь по городу в таком виде.

Договорились следующим образом. Раз уж приходится переться в такую даль, я намеревался воспользоваться этим, чтобы еще кое о чем расспросить своего давешнего приятеля-эскулапа, верного ученика и последователя Гиппократа. Если перед его кабинетом снова окажется тот же белобрый тип, что и вчера, пойду я, потому что ему мне представляться без надобности. Если же на пост сегодня заступил другой, то напуганный мною доктор может и не доложить обо мне, а просить

его об этом специально, разумеется, совсем уж глупо. Тогда двинем вперед Прокопчика.

Но, выглянув осторожно из-за угла коридора, я обнаружил, что белобрысый ушан на месте. Видать, пригрелся. На этот раз, правда, газету он сменил на какой-то любовный роман в яркой обложке, но чтение не увлекло его настолько, чтобы пропустить мой приход. Едва я появился на его горизонте, как он мгновенно приспустил книжку так, чтобы можно было одновременно видеть меня и прикрывать собственное лицо. Впрочем, он зря старался, сегодня меня эта рожа мало интересовала. Даже не поворачиваясь в его сторону, я подошел к двери ординаторской и толкнул ее. Сказать, что напояженный доктор при виде меня обрадовался, было бы преувеличением.

— Чего вам еще нужно? — вместо приветствия довольно резко поинтересовался он.

— Всего два вопроса, — ответил я, приветливо улыбаясь.

— Два? — переспросил он, морщась, как будто я уже снова выкрутил ему руку. — Говорите быстро и убирайтесь.

— Вопрос первый: как состояние нашего больного?

— Без изменений, — дернул он плечами.

— И второй. В прошлый раз вы говорили, что Арефьева держат в реанимации на аппаратах. Искусственное дыхание, искусственная почка, искусственное сердце... У нас, конечно, бесплатная медицина, но не до такой же степени... Кто все это оплачивает?

— Понятия не имею! — на этот раз его голос звучал довольно искренне. — Я всего лишь палатный врач, такие вопросы решаются выше.

Однако мне необходимо было сделать еще одно уточнение:

— Но я правильно понимаю, что подобный сервис не оказывается в вашей больнице всем подряд?

На этот раз врач просто промолчал, глядя мне в лицо, но это молчание было красноречивей прямого "да".

Выйдя в коридор, я мельком посмотрел на белобрысого. Тот сидел на стуле и усердно делал вид, что читает книжку, на самом деле глядя поверх нее на меня, как сквозь прицел. Я не сомневался, что, едва моя спина скроется за поворотом, он подскочит вслед за мной. Ну что ж, вчера, ушастый, ты меня упустил, но если сегодня тебе нужен реванш, ты его получишь.

Собственно говоря, программа-минимум была выполнена уже к тому моменту, когда я выезжал из ворот онкоцентра. Портативная рация, которую я вынул из кармана и положил рядом с собой на переднее сиденье, голосом Прокопчика радостно сообщила, что за мной, по всей видимости, следует BMW-320 темно-зеленого цвета с двумя седоками на борту. Именно к этой машине подбежал выскочивший вслед за мной из главного входа белобрысый, поэтому Тиме, прежде чем вся наша кавалькада тронулась с места, удалось даже сделать несколько снимков. Номер "бээмвушки" также был им, по его словам, "з-запротоколирован", так что, в принципе, все, что мы сумеем добыть сверх того, надо будет расценивать уже как приз в суперигре.

Впрочем, для того чтобы считать этот тайм закончившимся в нашу пользу, оставалась одна малая малость: оторваться от преследователей, по

возможности оставив их с ощущением, что это произошло без всякой злонамеренности с моей стороны.

Слишком долго ездить по городу с фальшивыми номерами не хотелось, поэтому надо было предпринимать что-либо побыстрее. Развернувшись над тоннелем, я направился уже по Варшавскому шоссе в сторону жигулевского техцентра и минут через десять добрался до цели. Это была одна из огромных золотиносных жил, каких по городу развелось в последнее время тьма-тьмушая. Огораживаешь заборчиком пустырь, на котором и до тебя стояли машины, подъезжающие, например, к соседнему супермаркету, называешь его платной автостоянкой и начинаешь грести деньги даже не лопатой, а экскаваторным ковшом. Но сейчас меня волновала отнюдь не моральная сторона этого бизнеса, которым, как известно, пробавлялся еще бессмертный Остап Бендер. Я интересовался им с чисто прикладной точки зрения.

Поперек распахнутых ворот автостоянки здесь натянута довольно жиденькая ржавая цепь. Когда подъезжает очередная машина, из будочки выходит контролер, выписывает вам квитанцию с указанием времени заезда, после чего цепочка расслабленно падает на землю, пропуская обилеченный автомобиль внутрь, и тут же снова натягивается. Вот эту немудрящую процедуру я и намеревался превратить в оперативную комбинацию по невязчивому отрыву от хвоста.

Честно говоря, это была домашняя заготовка. Дождавшись своей очереди, я подъехал к воротам и в обмен на квитанцию протянул контролеру, молодому красномордому дядьке в клетчатой ковбойке и сандалиях на босу ногу, деньги, которые тот с явным сожалением на опухшей, явно не похмеленной с утра физиономии не взял, просипев:

— Не положено. Отдашь на выезде.

Цепь ослабла, я заехал внутрь, в зеркальце заднего вида увидел, как она снова натянулась перед капотом следующего автомобиля, и одновременно услышал слегка искаженный помехами голос Тимы:

— Они за тобой через одну машину. Д-держай.

В то же мгновение я сделал неловкое движение рукой, и приготовленные для расплаты купюры вырвались у меня из ладони и полетели на асфальт. Легкий ветерок тут же подхватил их, я же, поощрительно улыбнувшись цепному дяденьке, крикнул ему:

— Повезло, отец! Возьми, разговейся!

И резво тронулся вперед, в лабиринт из машин, успев заметить в зеркальце, как багровый страж ворот, забыв о своих прямых обязанностях, скачет на корточках вокруг контролерской будки, ловя верткие бумажки, словно разбегающихся цыплят. Не знаю, сколько точно времени удалось этим выиграть, но, видимо, достаточно. Уже через минуту я был на другом конце стоянки, расплатился, был выпущен на волю, ударил по газам и услышал Прокочика:

— П-порядок. Бегают по площадке, как к-кутята в п-поисках мамочки. Я, п-пожалуй, п-провожу их до дому.

К себе в контору я возвращался в приподнятом настроении: сегодня с утра все удавалось. У картежников это называется "масть прет", и каждый игрок знает, что главное — не останавливаться, не дать, что называется,

"остыть фишке". Заехав в первый попавшийся двор, я ободрал бумажные номера и из ближайшего автомата позвонил Гарахову. Мне продолжало везти — он находился дома, знал, разумеется, Пирумова и предложил встретиться сегодня ближе к вечеру, кое-что о нем рассказать. Но нетерпение сжигало меня, я не хотел терять времени и потребовал коротко осветить вопрос по телефону. Правда, чтобы прослушать это "кое-что" даже вкратце, пришлось один за другим запихнуть в ненасытный таксофон целых три жетона. Не исключаю, что столь любимый Марленом Фридриховичем эпический жанр предполагал даже более длинный рассказ, но четвертого жетона не нашлось.

Итак, Пирумов Лев Сергеевич, адвокат. (Я вспомнил наконец, почему его фамилия казалась мне знакомой — периодически она мелькала в газетах в связи с каким-нибудь очередным громким скандалом то о защите чести и достоинства поп-звезды, то по обвинению во взятках крупного государственного чиновника). Если гараховские многословные высказывания о Пирумове изложить более сжато, получится следующее.

При поверхностном взгляде — бонвиван, любитель красивой и беспечной жизни. При более углубленном — трудяга, занимающийся своим ремеслом с полной отдачей. Коллекционер-дилетант, из тех, что собирают все — и поэтому ничего по-настоящему. Кулинар-любитель, способный заткнуть за пояс любого профессионала. В застолье — философствующий остролов. В быту — убежденный холостяк. Что же касается непосредственно существа интересующего меня дела, то с Глебом Саввичем Льва Сергеевича связывала обычная мужская дружба, уходящая корнями чуть ли не в их довоенное детство. Впрочем, по другой версии, этих двух людей объединяло фронтовое братство, они где-то вместе воевали в Отечественную. Некоторые, правда, поговаривали, что молодой адвокат и начинающий антиквар тесно сошлись гораздо позже, уже в конце пятидесятых, и произошло это на почве коллекционирования — страсти куда более сильной, нежели детские или даже фронтовые воспоминания.

Сведения носили довольно общий и отчасти противоречивый характер, но их вполне хватало, чтобы начерно заполнить очередную пустовавшую клеточку в моей шараде. Лев Сергеевич Пирумов — близкий друг и одновременно профессиональный юрист — вполне соответствовал роли человека, которого обеспокоенному судьбой своего имущества наследодателю разумно было назначить "следить, чтоб все было по справедливости". Разумеется, ему за труды и хлопоты тоже что-то отписано, но по большому счету остальным наследникам он конкурентом не является. Из всего этого непреложно вытекало, что он может и даже должен оказаться моим естественным союзником, а значит, мне немедленно надо с ним встретиться — чем скорее, тем лучше.

Пирумов не обманул моих надежд. Правда, без всяких, впрочем, на то оснований, заглазно он представлялся мне таким вельможей от юриспруденции с высоким лбом, бородой и величественными движениями — некий обобщенный образ изрядно подернутых тиной памяти портретов великих русских судебных ораторов, развешанных на кафедре уголовного права. А оказался жизнерадостным пузатым здоровяком с гладко бритым, пахнущим хорошей туалетной водой лицом, которому коротко обрубленный нос

с торчащими вперед ноздрями и обвислые, изборожденные морщинами щeki придавали выражение доброй, но беспородной дворняги.

Я, честно говоря, вел себя довольно нахраписто и даже беззастенчиво, настаивая на скорейшей встрече, о цели своего визита при этом высказываясь весьма туманно, стараясь заинтриговать намеками. В конце концов он уступил моему напору, хотя и сделал это с явной неохотой, причина которой стала мне ясна только потом. Когда дверь открылась, хозяин предстал передо мной, облаченный поверх домашней одежды в огромный клетчатый фартук, с поварешкой в одной руке и какой-то диковинной, необычной формы луковицей в другой, весь окутанный томительно тонкими запахами неведомых пряностей. Похоже, своим явлением я отрывал Льва Сергеевича от занятия любимым хобби.

— Заходите. Придется вам, молодой человек, проследовать за мной на кухню, ничего другого предложить не могу, — сварливо объявил Пирумов. — Я здесь, видите ли, занят стряпней...

Но возникшее было опасение, что вызванное моим нахальным визитом раздражение наложит отпечаток на нашу беседу, очень скоро рассеялось. Адвокат оказался большим говоруном, и, в конечном счете, наличие в моем лице необходимой аудитории, надеюсь, скрасило ему неприятное впечатление от моей неприличной настырности.

— Только не говорите мне, будто это женское дело, — спустя пару минут говорил Лев Сергеевич, с отменной ловкостью шинкуя пучок петрушки. — Чуть! Зайдите в любой приличный ресторан в любой нормальной стране, и в девяноста девяти случаях из ста вы увидите только повара-мужчину!

Он стоял у разделочного стола, а я сидел напротив него, с интересом оглядываясь по сторонам: все свободные от полок для утвари стены кухни были завешаны ресторанными меню — старинными и современными, на самых разных языках, из чего можно было сделать вывод, что сам Пирумов, похоже, уже провел означенный эксперимент, причем не единожды.

— И кстати, обратите внимание, стряпчий у Даля имеет два значения: "повар, кашевар в артели" и одновременно "поверенный, ходатай по делам, законник, тот, кто ходит по судам, ведет иски и тяжбы"! Лично я вижу в этом нечто более глубокое, чем просто однокоренное происхождение этих слов. — Он закончил с петрушкой и принял маленькие кусочками нарезать нежно-розовую телятину. — Уж поверьте моему опыту: в приготовлении блюд, так же как в судебном процессе, важнее всего правильно скомбинировать, гвоздь всего — чувство меры, понимание, так сказать, совместности элементов, будь то слово, жест, соус или пряности. Недоперчить не менее опасно, чем переперчить, а стоит упустить из виду какую-нибудь на первый взгляд сущую мелочь — да вот хотя бы щепотку сухого тимьяна, за которым я, между прочим, специально езу на Черемушкинский рынок, — и все, загубишь дело! Не спорьте, не спорьте, мир создан из мельчайших частиц, и этим нам как бы раз и навсегда дано понять, что пренебрежение малыми сими опасно коварнейшими последствиями!

Я и не думал спорить. Я вообще с тех пор, как вошел, не сказал ни единого слова, только с восхищением наблюдал за тем, как ловко хозяин крошит овощи и коренья, чистит шампиньоны, поджаривает на покрытой тон-

ким слоем разсла маленькой сковородке муку, а потом пересыпает ее в кастрюльку, разводит бульоном, добавляет туда яичный желток, сливки, еще что-то... Наконец, когда на всех четырех конфорках плиты уже все шипело, булькало и исходило паром, Лев Сергеевич позволил себе скинуть ненадолго фардук и присесть напротив меня.

— Так я вас слушаю, юноша. Вы говорили, как будто, что дело касается Глебушки? Э... Глеба Саввича, — поправился он.

Я кивнул.

— В определенном смысле. Не столько самого, сколько наследства... которое он... оставляет... оставил... — я замялся, запутавшись в этих предательских временах, испытывая неловкость от того, что вынужден говорить все это о живом еще человеке.

Но Пирумов избавил меня от терзаний, остановив взмахом руки.

— Понятно, понятно, я в курсе. Рассказывайте по порядку.

Я рассказал. И показал. Я в последнее время уже столько раз это рассказывал и показывал, что практически заучил наизусть и мог бы выступать с этим номером на эстраде. Но Лев Сергеевич был, кажется, первым, кто поверил моей, вернее, шурпинской версии, и первым же, кто не начал истерически дергаться при виде блестящей железки с дыркой.

— Плохо, — произнес он, задумчиво повертев ее в руках и вернув мне, — плохо, если вы правы. Случайно, не по этому ли поводу мне сегодня с утра звонил его племянник Нюмочка Малей?

Я сказал, что да, видимо, по этому.

— О-хо-хо, — тяжело вздохнул стряпчий и снова повторил: — Плохо. Такого поворота Глебушка не предусмотрел... Всего боялся, кроме этого...

И я наконец узнал, чего боялся Глеб Саввич Арефьев.

Во-первых, коллекционер, конечно, боялся воров. В последние годы его пытались грабить дважды. После первого раза он поставил квартиру на охрану в милиции, в результате чего во второй раз грабителями оказались сами милиционеры. Тогда он от них отказался, решив обороняться собственными силами: так, кроме решеток, на окнах появились стальные жалюзи английского производства типа тех, что устанавливаются в ювелирных магазинах, а обычная стальная дверь была заменена на аналогичную тем, которые в банках закрывают проходы в хранилища и депозитарии, да не с обычными замками, а специальными магнитными, практически не поддающимися подбору отмычек. Квартира превратилась в неприступную крепость, способную пасть только под ударами артиллерии.

Но успокоение к квартиранту не пришло, ибо, во-вторых, больше, чем страхом перед грабителями, он был снедаем горькими мыслями о судьбе уникального собрания после его, собирателя, кончины. Жены и детей нет. О том, чтобы передать все какому-нибудь музею, Арефьев не мог думать без содрогания. Государство свое он не только не любил, но и вполне обоснованно ему не доверял, уровень отечественного музейного дела был коллекционеру, само собой, хорошо известен, да к тому же Глеб Саввич не сомневался, что до музея ничего и не дойдет: украдут по дороге. С годами эти мысли терзали его все сильнее, и в конце концов он пришел к решению, которое неожиданно позволило ему успокоиться са-

тому, а заодно (как ни странно выглядит разделение этих понятий — но Лев Сергеевич выразился именно так) успокоить свою совесть.

Из семьи пришло, пусть, умноженное, в семью и вернется — примерно в этом роде решил в конце концов Арефьев. Но братья и сестры все сплошь поумирали, остались лишь племянники и племянницы, а даже в беседах с Пирумовым Глеб Саввич не указывал конкретно, кого он подразумевает под "семьей".

Вообще говоря, скрытность и повышенная мнительность во всем, что связано с накопленным им добром, и до того свойственные Арефьеву, в последние годы, по словам его друга и поверенного, перешли некую грань, за которой медицина квалифицирует их как маниакальный психоз. Так сказать, синдром Скупого рыцаря. Бывало, что он обсуждал с Пирумовым того или иного из родственников, но никогда точно не утверждалось, что кто-либо из них наверняка достоин наследства. Вполне возможно, подобные обсуждения доставляли старику особый род удовольствия, давали ощущение пусть заочной, тайной, но власти над будущим ничего не подозревающих об этом людей: этого благодетельству, того обделю... Но внезапно обострившаяся сарказма потребовала определенности. И Глеб Саввич при виде надвигающейся вечности принял, похоже, кое-какие решения.

Дойдя до этого места, Пирумов внезапно умолк, глядя на меня в задумчивости, от чего морщинистые щеки обвисли еще больше и все его дворняжье лицо приобрело часто свойственное беспородным собакам печальное выражение.

— Ну-с, тут начинаются чужие секреты, — сообщил он. Тяжко вздохнул, в последний раз кинул на меня испытующий взгляд и вяло махнул рукой: — Да, впрочем, какие там могут быть теперь секреты... Когда все по колено в дерьме увязли... — И продолжил.

Итак, Арефьев решил что-то определенное. Для начала он вдруг взял и заказал еще одну голландского производства сейфовую дверь с магнитными замками. Лев Сергеевич честно признался мне, что принял это тогда за обострение психоза, но оказалось, что за всем стоит свой расчет. План родился, возможно, в слегка воспаленном мозгу, но Арефьев принялся ему неукоснительно следовать. Он объявил Пирумову, что среди своих близких выбрал наконец шестерых, которым предполагает оставить наследство, но с соблюдением, однако, следующих условий. Никакого завещания, ибо в этом случае в дело окажутся замешаны посторонние люди, прежде всего нотариус и его помощники, к тому же сама мысль, что придется перед этими людьми в письменном виде перечислить попредметно свою коллекцию, доводила Арефьева до нервной дрожи. Это раз. А два — ему хотелось организовать все таким образом, чтобы те из родственников, кому он не желал ничего оставлять, не смогли бы, воспользовавшись шестимесячным сроком, необходимым для вступления в наследство, нарушить его волю, чего-нибудь себе оттапав.

— Я слышал, у него не сложились отношения с пасынком... — заметил я в паузе. — И с последней... э... дамой сердца. Люся Катафалк, так, кажется?

— А вы неплохо подкованы, — хмыкнул в ответ Лев Сергеевич. — Однако должен заметить, что Савушка имеет весьма переменчивый характер. И, к сожалению, он даже мне не назвал ни одного имени.

Попросив Пирумова взять на себя роль поверенного, свою последнюю волю Арефьев выразил следующим образом. Он сообщил, что перед самой отправкой в больницу пригласил наследников к себе поодиночке и вручил каждому магнитный ключ от одного из шести замков (по три в голландской двери), строго предупредив, что ради их же блага не следует никому об этом говорить.

Все вместе они соберутся в полдень на следующий день после его смерти, в присутствии адвоката откроют двери и на столе в гостиной найдут собственноручное рукописное завещание теперь уже покойного миллионера с подробным описанием, кому что полагается. Оно, конечно, не является законным с юридической точки зрения, но вся штука как раз в том, что наследники явятся все вместе, и каждый, следя за тем, чтоб ему досталась его доля, защитит таким образом права остальных. По убеждению Глеба Саввича, это было единственным способом, гарантирующим, что они не передерутся между собой.

Пирумов закончил рассказ, и мы оба замолчали, думая, видимо, об одном и том же: как сильно Арефьев ошибся.

— Погодите, — сказал я после паузы, — но ведь должны быть и другие ключи, те, которыми пользовался сам хозяин?

— Были, — подтвердил Пирумов. — По дороге в больницу он положил их в банк на депозитное хранение. Поскольку нотариального завещания нет, в случае его смерти добраться до них можно будет только по истечении шести месяцев. И то только тому, кто докажет свое право на наследство и... Кстати... — Адвокат, вдруг вспомнив что-то, сам себя перебил и поднял вверх указательный палец: — Sic! Этот самый депозит... Если мне не изменяет память, Савушка упоминал, что советовал наследникам тоже положить полученные от него ключи в подобное место. Но, как мы теперь знаем, не все его послушались...

Итак, все встало на свои места. Нашли объяснение страха Котика, истерика Верки, дергающийся край века Наума Мадея, крики его сестры Маргариты. Круг замкнулся, и внутри него — все те же персонажи, обозначенные еще Шурпиным. Сумасбродный миллионер сам загнал туда себя и своих родственников, которых хотел осчастливить.

— Вы кого-нибудь уже подозреваете? — с понятным любопытством поинтересовался Пирумов.

— Всех, — вздохнул я, но честно добавил: — И пока никого конкретно.

О том, что у меня, строго говоря, до сих пор нет объективных доказательств даже того, что гибель Женьки и Котика связана со всей этой историей, что это не случайные смерти, а хладнокровные убийства, я благоразумно промолчал.

От предложения радушного хозяина отведать весьма рекомендуемое им рагу по-старофранцузски я, поблагодарив, отказался. Мне следовало поторопиться с одним делом, которое нельзя было откладывать, и, попрощавшись с гостеприимным стряпчим, я ускоренным шагом двинул в сторону Дома-где-метро. Откровенно скажу, я шел туда, совершенно не представ-

ляя, как именно запудрю Малюю мозги, какие туры на колесах разведу, чтобы он пустил меня в квартиру еще раз. Экспромт, экспромт! Раз мне сегодня везет во всем, то и это дело тоже должно выгореть. Я обязан снова побывать в гостях у Наума Яковлевича и изъять уже сыгравший свою роль "жучок". Мне не давала покоя фраза, невзначай оброненная чересчур ушлым автомобильным торговцем Блумовым — если мой микрофончик будет обнаружен, на будущее я в общении с представителями этой семейки могу потерять весьма ценное преимущество.

Гулкий, как пещера, подъезд встретил меня привычным полумраком. Пробравшись сквозь нагромождения стройматериалов, я заранее оставил надежды на лифт и сразу устремился к лестнице. Поглощенный мыслями о том, что бы такое половчей соврать визажисту, я нечувствительно оставил позади уже два лестничных марша, когда, взглянув случайно в пролет с площадки второго этажа, от неожиданности споткнулся и больно ударился лбом о чугунные перила. Прямо подо мной, на дне колодца, лежал упавший с крыши каменный Метростроевец.

Дрожь успела хорошенько пробрать до костей, прежде чем мне стало ясно, что это ерунда, помстилось, всего лишь плод разыгравшего воображения. Однако уже в следующую секунду, взглядевшись хорошенько, я понял, что не помстилось и вовсе не ерунда. Слева от шахты лифта на полу действительно лежала серая человеческая фигура, в полутьме и с испугу сперва показавшаяся мне огромной. Но, спустившись вниз и подойдя ближе, я убедился, что она вполне нормальных размеров, а на скульптуру похожа оттого, что вся залита цементным раствором, уже успевшим кое-где схватиться и подсохнуть. Неестественно вывернутая шея говорила, что передо мной труп. Легонько, одним пальцем я повернул его лицо к слабому свету, идущему из запыленного десятилетиями окна над дверью в подъезд. Это был Малей.

Свежие цементные брызги на стенах и опрокинутый покореженный металлический поддон рядом давали основания предположить, что тело упало сюда с большой высоты. Задрал голову, я посмотрел вверх, и там, в сумрачной вышине, мне почудился слабый отсвет.

Рванув изо всех сил, я взлетел на последний этаж и, тяжело дыша, замер на площадке. Свет падал из распахнутой настезь квартиры парикмахера. Осторожно, едва ли не на цыпочках, я подобрался к порогу и заглянул внутрь. Никого и ничего.

Тогда я решил, шагнул в прихожую и в ужасе чуть не выпрыгнул обратно, попав в окружение каких-то перекошенных рож. Но это были всего лишь мои собственные отражения в покрывающих стены зеркалах. Еще несколько шагов, и я остановился перед полуприкрытой дверью в спальню. Давешний сладковатый сандаловый запах снова ударил мне в нос, но сейчас к нему примешивался еще какой-то другой, тяжелый и тревожный. Носком ботинка я медленно отодвинул дверь в сторону, и глазам моим предстала все та же широченная кровать, только теперь белизна сбитых простыней была изрядно подпорчена алыми подтеками. На полу головой ко мне посреди лужи густеющей крови лежал, раскинув руки, давешний пунцовогубый Севочка. На месте горла у него зияла широкая резаная рана.

Борясь с тошнотой, я отвернулся и прошел в следующую комнату. Здесь не заметно было никаких следов борьбы, вероятно, все события развернулись ближе ко входу. Единственной новой деталью интерьера оказалась стопка знакомых, ярко оклеенных коробок с надписью "ZEPHER".

Цептер. Кастрюли, Верка.

Ладно, это потом.

Отчетливо слыша, как на всю квартиру стучит мое сердце, я подобрался к журнальному столику, обернул руку платком, перевернул телефон и отцепил "жучок". После чего, больше не оборачиваясь, выбрался на площадку и спустился вниз.

Ну, вот наконец и объективное доказательство — объективней некуда. Некто методично и целенаправленно, одного за другим, убирает со своего пути наследников многомиллионного состояния. С чудовищной жестокостью. Не оставляя свидетелей.

Но есть и еще кое-что, не менее пугающее: надо полагать, этот же некто цинично (если здесь вообще годится это слово) прилагает немалые усилия для поддержания угасающей жизни в теле Арефьева. Потому что, пока миллионер пусть формально, но жив, у преступника остается время. Время для новых убийств.

На первом этаже, перед тем как покинуть подъезд, я все-таки не удержался, кинул последний взгляд на серую фигуру слева от лифта и волей-неволей снова прочитал то, что еще утром казалось забавной хохмой: "Движение — это жизнь".

"Жизнь" перечеркнуто. Написано "смерть".

КТО БЕЗ ГРЕХА

Прокопчик говорит, что если много дырок сшить вместе, получится сеть. Большой мозговерт. У меня же пока складывалось ощущение, что в деле, которое я добровольно на себя взвалил, если что-то и есть от сравнения с сетью, так только одно: я натужно тащу его, дело, из глубины, разбухшее от мелких несъедобных подробностей, набитое камнями противоречий, тащу, к тому же, без всякой надежды обнаружить в своем неводе хотя бы нечто, достойное моих усилий.

Итак, что, кроме четырех трупов, мы на сегодня имеем?

Тима вполне грамотно довел бутылочную "безмвуху" до стойла. И в награду выяснил, что, согласно вывеске на здании, принадлежит она частному детективному агентству "Скорпион". То есть фактически ничего не выяснил: вряд ли мне удастся убедить руководство "Скорпиона" поделиться со мной информацией о том, кто их клиент.

После встречи с Пирумовым я теперь получил исчерпывающие объяснения насчет таинственного ключа, полученного от Шурпина, а также всего остального, что с ним связано. Котик, видимо, сперва не решался и мне рассказать про всю эту придуманную стариком Саввичем мудреную процедуру, но, когда захмелел, другие страхи, более сильные, поперли наружу, и он сунул мне эту чертову магнитную открывалку с просьбой спрятать в сейф. Точно так же легко и логично объясняется поведение всех остальных: на их месте любой вел бы себя аналогичным образом.

И пожалуй, последнее.

Сомнений в том, что все убийства связаны с наследством Арефьева, больше нет, причем можно с солидной долей уверенности предположить: по крайней мере в первом и третьем случае действовал один и тот же убийца. Перерезанное горло — жестокий и в исполнении не такой простой, как может показаться, способ лишать свои жертвы жизни. Такая работа для профессионала.

На этом, коли отбросить в сторону всякую разную шелуху, мои знания кончаются. Круг подозреваемых не слишком сузился по сравнению с тем, который очертил Котик.

Если не расширился.

Даже безобидная на первый взгляд Верка теперь нуждается в разъяснении из-за этих своих кастрюль, да и услышанный мною разговор Малеев с родственниками не дает оснований исключить из этого круга его сестрицу Марго с ее дошлым муженьком. А подходя к делу строго, необходимо также добавить туда не упомянутых Шурпиным, но всплывших впоследствии арефьевского пасынка Сюняева и не так давно отвергнутую миллионером его подруку мадам Дееву с нежным прозвищем Люся Катафалк.

Но хуже всего другое. Судя по всему, новых убийств можно ждать когда угодно, а я весьма далек не только от того, чтобы определить их заказчика, но даже от того, чтобы вычислить следующую жертву.

— К-картинки с выставки, — объявил Прокопчик, выплывая из коридора со стороны темной комнаты, оборудованной у нас под фотолaborаторию, с кинкой еще влажных фотографий в руках. — Ж-желаете ознакомиться?

Я желал. Главным образом, за неимением других, более важных занятий.

— Н-нормальная д-девчонка, н-не знаю, чего они к ней привязались, — комментировал Тима, раскладывая передо мной карточки, на которых в сочетании с другими различными тинэйджерами фигурировало одно и то же довольно длинноногое существо лет семнадцати с лицом красивым, но сонным и слегка раздраженно-надутым, отчего у Алисы на всех изображениях был такой вид, будто ее только что и очень некстати разбудили. — В анамнезе п-пока один-единственный аборт и употребляет всего-навсего м-марихуану, а на д-дискотеках экстази. П-правда, в последнее время у них в к-компашке появился г-героинчик, но на него на з-завтраках не больно накономишь.

Прокопчик отобрал из кучи несколько фотографий и разложил их веером. На них рядом с Алисой неизменно оказывался высокий нескладный подросток с прыщавой мордочкой и длинной белой прядью в плохо расчесанной темной шевелюре.

— Бой-френд? — поинтересовался я, но Тима в ответ отрицательно помотал башкой.

— Нет. В п-принципе мальчик у нее имеется, но я его покудова не видел, т-только голосок слышал, там очень р-романтические отношения. А здесь п-проза. Это б-бывший одноклассник, з-звать Рома. Так сказать, д-друг детства. Он у них главный д-драг-дилер, от него и т-травка, и г-героинчик. Насколько я п-понял, к-когда больше нечем,

он у Алисочки м-может принять и н-натурой. Как говорится, д-дружба дружбой, а н-ножки врозь...

— А что насчет денег? — спросил я. — Которые из дома пропадают?

— Н-ну, ты хочешь все с-разу! Я за ними только д-два неполных дня работаю. А вообще они п-по телефону б-болтают все подряд. Н-непугающее п-поколение...

Стасовав обратно в единую пачку карточки с Алисой, Прокопчик принялся разворачивать передо мной следующий вернисаж.

— А это для общего образования. Ф-фирма "Скорпион" на м-марше.

Стекло "безмушки" слегка бликовало под солнцем, но лица водителя и пассажира на переднем сиденье были хорошо различимы. Характерные такие лица, то, что в кино называется типажи. Если б я снимал кино и искал кого-нибудь на роль "пацанов" — рядовых бойцов рядовой преступной группировки, ничего лучшего мне бы не отыскать. Они отлично компановались с моим борцовского вида белобрысым и плосконосым ушанчиком: тяжелые, как боксерские "груши", бритые головы с литьями, словно блин от штанги, мордами, и не больше, чем этот блин, выразительными. Тима еще не выложил все фотографии до конца, а я уже тянулся к телефону.

Шурика Невмянова я нашел только с третьей попытки. Ибо он теперь был, конечно, никакой не Шурик, а был он Александр Николаевич, потому что как же можно называть Шуриком начальника отдела Московского угрозыска. Когда меня наконец с ним соединили, он выслушал мой вопрос и солидно пробасил:

— "Скорпион", говоришь? Сейчас посмотрим, какой это "Скорпион"...

В трубке я слышал, как он переговаривается с кем-то по внутренней линии, задает вопросы и отдает короткие указания властным голосом, и испытывал смешанные чувства. Вот сейчас большой начальник Шурик подтвердит мои предположения о том, что, как это нередко в наше время бывает, под маркой детективного агентства сидит разведка-контрразведка какой-нибудь банды — и что дальше?

Мощная государственная структура, призванная, говоря высоким стилем, бороться с организованной преступностью, имеет об этом информацию (как, впрочем, имеет информацию, надо отдать ей должное, еще об очень многом), но часто сделать ничего не может. Так неужто я смогу? Смешно.

Чем дальше я влезаю в эту историю, тем смешнее.

— Ванинские, — уверенно сообщил наконец Невмянов. — Слышал про таких?

Я вынужден был признать, что нет, не слышал. Солнцевских знаю, ореховских, долгопрудненских, подольских, люберецких, гольяновских. Много еще каких знаю, а вот о ванинских слышу первый раз.

— Отстал ты, браток, — иронически усмехнулся Шурик, — погряз там в своих мелких частных делишках, а тут новые кадры растут. — Дальше он продолжал уже серьезно, чуть занудно, будто лекцию читал: — Ванинские — группировка не слишком большая, но сплоченная, а главное, мобильная. Своей четко обозначенной территории не имеют, да и не стремятся, поэтому ни с кем не конфликтуют из-за зоны влияния. У них другой принцип: готовы сотрудничать с любыми партнерами, лишь бы им платили. По нашим данным, в основном работают на заказ. Отмечены связи как

со славянскими бандами, так и с кавказцами. Тебе к ним лезть не рекомендую — убьют. У них не залежится.

Последние слова Невмянов произнес все тем же маловыразительным лекторским тоном, словно сообщал давным-давно известные прописные истины, не подлежащие обсуждению.

Я и не собирался ничего обсуждать.

Мне и так было ясно, что сопротивление, так сказать, материала достигло, по-видимому, предела. К основным подозреваемым (пока, впрочем, главным образом по принципу "кому выгодно") никаких подходов у меня нет. И они не больно-то просматриваются: автомобильный дилер уже в курсе моих изысканий и соответственно настроже, банкир и шоумен тоже вряд ли вот так запросто допустят меня "к телу" и вообще согласятся контактировать со мной по таким деликатным вопросам без посредства служб безопасности или хотя бы адвокатов. А если учесть, что практическая работа поручена, судя по всему, крутым и хорошо организованным бандитам, мне остается только поднять лапки. Не может же, в конце концов, один частный сыщик подменить собой РУОП.

Не может и не должен. Завтра с утра я пойду к Мнишину и в письменном виде подам ему изложение всего, что знаю. Оно, конечно, Котик предполагал, что милиция с этим делом не справится. Но, с другой стороны, он же надеялся, что я справлюсь. А у меня тоже не выходит.

Выше головы не прыгнешь — с этой успокоительной банальностью я в тот вечер натягивал на подбородок одеяло, надеясь, что, скинув с души заботы, усну легко и быстро. Но сон опять не шел. Я долго ворочался с боку на бок, перебирая разные способы, якобы способствующие засыпанию, пробовал даже повторять бесконечно слово "сплю" — и повторял до тех пор, пока окончательно не убедился в том, что спать не хочется. Тогда я решил покориться и зажег свет.

Книжка с обвитой змеями женщиной на обложке все еще лежала на тумбочке в изголовье. Константин Шурпин. "КТО БЕЗ ГРЕХА, или ЭРИНИИ". Неожиданно я вспомнил, что завтра похороны Женьки и Котика. Они жили счастливо и умерли почти в один день. Почему-то мне показалось важным если не прочесть, то хотя бы начать читать последнее шурпинское произведение именно сейчас, еще до того, как согласно поверью его душа окончательно покинет землю. Быть может, ему это будет приятно там, где он сейчас пребывает. Сентиментальная глупость, конечно. Я взял книгу и устроился поудобнее на подушке.

"Прошло три тысячи лет, и случилось то, что должно было случиться: от Ольги Деловз ушел муж. Примерно тогда же произошло еще одно событие, в настоящем никак с первым не связанное: Макса Крутовича с треском уволили из полиции, и он подался в частные сыщики..."

Занятный, вроде бы, роман написал Шурпин. Хотя, конечно, если вдуматься, это была банальная современная остросюжетная беллетристика с некоторой претензией на глубокомыслие.

Котику довольно удачно удалось обыграть вначале апокрифическую легенду об "адамовых детях" — первых результатах грехопадения, которых им с Евой было стыдно показать на свет Божий, и они скрыли их кого в лесу, кого в воде, кого в доме, кого в бане. Впрочем, автор наме-

кал также и на то, что те первые отпрыски, может быть, были даже вовсе и не адамовыми, а, наоборот, плодами мезальянса греховницы Евы с самим Змием. Но поскольку, как ни крути, изначально людей имелось всего двое, их наследникам так и так без инцеста обойтись не удалось. И город, описываемый Шурпиным, был в общем-то очень похож на наш, только кроме обычных человеков его населяли потомки древних полумифических существ, большей частью ассимилировавших среди местного населения, но сохраняющих кое-какие из своих былых качеств. Всякие там гномы, валькирии, лешие, русалки, тролли, нимфы, парки и прочие, всех не перечислишь.

Но, собственно, интрига в романе начиналась с того, что, как и положено покинутой женщине, Ольга по совету соседки из коммунальной квартиры — доброй банной бабушки-врачевательницы, отправилась к гадалкам. Котик очень правдоподобно описывает первобытный ужас цыганки, разложившей свои Таро пришедшей клиентке. Потом, чтобы перепроверить, она гадала ей по руке, по подошве, на игральные кости, по отрубям, на кофейной гуще, свечах, ножах, по зеркалу и даже по звукам из живота — но результат был один: все говорило за то, что в жилах Ольги Делонэ течет кровь древнейших существ на Земле, потомство которых до сих пор считалось безвозвратно утраченным. Эринии, эринии... Вот они где возникли. Богини мести, рожденные Геей, впитавшей кровь оскотленного Урана. Они появляются, чтобы возбудить ненависть, безумие, злобу, жестоко и неотвратимо карая совершивших любой грех, будь то убийство, кража, прелюбодеяние или лжесвидетельство, о котором им только стало известно. С этого момента Костин сюжет начинает развиваться стремительно.

Властные интриги, драка за сферы влияния, война компроматов, преступность и заказные убийства процветают в городе повсеместно. Но борьба идет, как сказали бы у нас, не только традиционными методами. Например, бургомистр, гены которого восходят к василискам, чудовищным четвероногим петухам с колючими крыльями и змеиным хвостом, всюду пользуется своей способностью убивать взглядом. Правда, против него есть действенное оружие — зеркало. А один из влиятельных финансовых магнатов держит противников в руках благодаря супруге из бывших гарпий, когда-то страшных птиц с лицом девушек, крючковатыми когтями и грязным брюхом, бледных от вечно неутоленного голода — та, как никто, умеет на практике применять старинный секрет пачкать праздничные столы и все, до чего сможет дотянуться, превращать в экскременты. В войне с переменным успехом участвуют полуженщины-полугадюки ламии, вурдалаки-кровососы, распространяющие вирус иммунодефицита, устраивающие пожары злобные духи огня саламандры и отравляющие атмосферу токсинами духи воздуха сильфы, а также прочие потомки кикимор, гидр, упырей и горгон.

Но появление на сцене наследницы эриний спутало на местном рынке убийственных услуг все карты. Ведь теперь достаточно всего лишь сообщить Ольге о чем-то грехе, и разбухшие в ней древние злобные силы сами приведут приговор в исполнение: осужденного ими ждет не-

минуемая смерть — неважно от каких причин. Короче, началась за бедной Ольгой настоящая охота, а она обратилась за помощью к частному детективу — Максусу Крутовицу, и пошел раскручиваться хорошо сбитый триллер...

Наверное, я все-таки задремал прямо с книжкой в руках. Она с шумом свалилась на пол, когда от резкого сигнала зуммера я буквально вывалился из непрочного, как размокшая картонка, сна и при ярком свете забытого над головой бра обнаружил себя уже сидящим на постели с колотящимся сердцем и мурашками по всему телу. Потребовалось все-таки некоторое время, чтобы я полностью осознал происходящее. Прибор в изголовье моей кровати продолжал не только противно зудеть, но еще и мигал сразу двумя огнями — красным и желтым. Красный обозначал, что кто-то пытается проникнуть в мой офис, желтый уточнял, каким именно образом: через окно.

Пару раз такое уже случалось. Однажды сигнализация сработала от того, что какой-то болван запустил среди ночи камнем в стекло, в другом случае пара поддатых бомжей действительно надумала залезть внутрь в надежде чем-нибудь поживиться. Когда я, вот так же разбуженный и поэтому сильно злой, спустился вниз, один из них бросился наутек, а второй, уже исхитрившийся к моему приходу просунуть голову сквозь оконную решетку, не смог так же ловко вытащить ее обратно и был именно в этой чрезвычайно не выгодной для себя позиции мной застукан. Надеюсь, он еще долго потом вспоминал этот эпизод своей биографии, во всяком случае, каждый раз, когда требовалось есть.

Часы показывали половину третьего ночи.

Натянув штаны, майку, куртку и кроссовки, я достал из ящика стола лучшее для таких случаев оружие — плоскую полицейскую дубинку "слепер", и вышел из квартиры. За поздним временем свет на лестнице, разумеется, не горел, но, слава Богу, этот маршрут мне был неплохо знаком: тридцать с лишним лет тренировки достаточно, чтобы научиться проходить его даже с завязанными глазами.

Держась за перила и ощупывая ногами ступеньки, я в неверном сером свете, едва-едва проникающем со двора сквозь узкие окна лестничной клетки, двинулся вниз, стараясь производить как можно меньше шума. Вдруг, потерпев неудачу со стороны улицы, злоумышленник решил попробовать на крепость расположенную на первом этаже дверь моей конторы? Сигнализация сработала на каком-то из окон, но осторожность лишней не бывает. Позади осталась уже большая часть пути, когда на площадке второго этажа я узнал, как глубоко заблуждаюсь: моя осторожность оказалась именно лишней — в том смысле, что от нее не было никакого проку.

Из крошечной черноты ведущего к квартирам холла без всякого предупреждения на мои плечи навалилось что-то тяжелое, остро пахнущее потом, голова моя дернулась от резко проведенного захвата, железный бицепс уперся мне в кадык, показалось, что сейчас захрустят, ломаясь, кости, но хруста я не услышал. В лицо ударила едкая, раздражающая изнутри носоглотку струя, вспыхнуло багровым пламенем перед глазами, и наступила полная тьма.

Когда я пришел в себя...

Нет, не так. Вернее будет сказать: когда я начал приходить в себя. Ибо мгновенного перехода из небытия к тому незавидному бытию, каковое обнаружилось вместе с обретением чувств, не произошло. Я возвращался к действительности не разом, а по кускам, которые, подобно осадку во время химической реакции, выпадали на дно, лишь постепенно образуя некую цельную картину. Первым возник свет, яркий, режущий свет, бьющий в глаза с почти физической силой, за ним появилась боль в горле, жжение в ноздрях и неприятное саднящее ощущение в области лба, над левой бровью. Потом стали прорезаться детали.

Сначала, кое-как сориентировавшись в пространстве, я определил, что нахожусь в горизонтальном положении, лежу на спине, под которой какая-то твердая, холодная и не слишком ровная поверхность. Затем в далекой вышине появились головы, две или три. Они мотались надо мной, как огромные стратостаты, беззвучно разевая черные рты, словно вытащенные на берег рыбы. Мне очень хотелось понять, о чем они говорят, я вслушивался до звона в ушах и наконец начал разбирать сначала отдельные слова, а потом и целые фразы.

— Вы его — не того? — с явственной опаской спрашивал голос, показавшийся мне смутно знакомым.

— Живучий, падла, — грубым баском отвечал другой. — Вишь, сучок, зенками лупает. Ничо, оклемается, эта дрянь надолго не вырубает.

Известия были обнадеживающими, но я почему-то не слишком обрадовался. У меня сформировалось и постепенно крепло опасение, что когда я, по выражению этого неизвестного доброжелателя, оклемаюсь, меня могут ждать новые испытания. Поэтому я снова крепко зажмурился, решив пока не слишком форсировать события и повременить по крайней мере с внешними чересчур яркими проявлениями того, что прихожу в сознание.

Вместо этого я попробовал легонько подвигать сначала руками, а потом ногами, чтобы проверить, насколько мне удастся владеть ими. К моему удивлению, ни то, ни другое не оказалось связанным или скованным, что, естественно, внушило некоторые надежды. Но, как выяснилось, обрадовался я рано.

— Шевелится, — с заметно возрастающим опасением проговорил первый голос.

— Ага, — равнодушно подтвердил бас, — сейчас мы его обработаем.

Сразу вслед за этими словами я снова ощутил близко от себя давешний резкий запах пота, почувствовав, как кто-то без особой нежности перекидывает меня на живот и рывком выворачивает за спину мою левую руку. Послышался треск раздираемой липкой ленты, ею стянули мне запястье, и тут же моя левая нога оказалась загнута к поясице и крепко принайтована к руке. Не скупясь, ленту для крепости намотали в несколько слоев так, что верхняя и нижняя конечность соединились неразрывным кольцом. Затем настал черед правого запястья.

Его тоже обмотали широким скотчем, завязав для верности узлом, и можно было предположить, что сейчас аналогичным образом и эту руку

пристегнут к ноге, завершив хорошо известным профессионалам способом лишения человека малейшей подвижности, именуемый "сазакки". Однако ничего подобного не произошло. Вместо этого меня крепко взяли за шкурку, легко, словно тряпичную куклу, подняв над полом. Другой конец липкой ленты несколько раз обвил где-то над моей головой то ли крюк, то ли балку, после чего мое тело было предоставлено самому себе и оказалось подвешенным так, что единственная оставшаяся свободной правая нога болталась в воздухе, не доставая пола. Края скотча врезались в кожу, показалось, что вот-вот вылетит плечевой сустав, во всяком случае, боль пронзила позвоночник аж до самой поясницы, но глаза я все-таки умудрился не открыть.

— Порядок, — откомментировал какой-то новый, еще не слышанный мной тенорок. — Теперь не рыпнется. Некуда.

— Ну все, ребята, идите отдохните, — предложил опасливый с явным облегчением, — если что, я позову.

— Па-за-ви-и меня в ночи, приду-у-у, — уже удаляясь, фальшиво пропел тенорок.

Я услышал шарканье нескольких пар ног по шершавому бетонному полу, скрип петель и хлопок двери, после чего решил наконец приоткрыть глаза.

Сперва, примерно в полуметре, передо мной возникла кирпичная, когда-то оштукатуренная и покрашенная, а теперь грязная, облупившаяся, покрытая водяными потеками стенка. Тогда я начал осторожно поворачивать голову влево и увидел облезлые металлические стеллажи, заваленные всяким отработанным железным хламом. Потом в поле зрения оказался покрытый ржавой клеенкой деревянный стол с засохшими остатками еды, среди которых несколько инородным телом смотрелась большая, литров на пять, закопченная бензиновая паяльная лампа. И наконец, глаза мои уперлись в стул, на котором, аккуратно повесив пиджачок на спинку, подпернув брючки и положив ногу на ногу, сжимая в кулаке принадлежащий мне "слепер", сидел и разглядывал мою персону брокер широкого профиля господин Фиклин.

Судя по кривой ухмылке, блуждающей при этом на его физиономии, вид у меня был неважный. Неважным, честно говоря, было и мое внутреннее состояние: никогда прежде мне не приходилось оказываться в таком унижительном и, главное, беспомощном положении.

— С добрым утром, — растянул губы в подобии улыбки Фиклин. — Узнаешь меня?

— Узнаю, — ответил я, стараясь выглядеть храбрым. — Ты — рогоносец.

Но, вероятно, мне только показалось, что я это произнес. На самом деле из моего рта вылилось какое-то невнятное бурчание.

— Чего-чего? — привстал со стула брокер. — У тебя язык, что ли, от страха отнялся?

Он приблизился ко мне на несколько шагов, и теперь я видел совсем близко от себя его морщинистое личико старушки-вековушки, на котором только глаза горели отнюдь не старушечьим огнем.

— Рогоносец, — еще раз выплюнул я, и на этот раз он, кажется, услышал.

Хотя дошло до него не сразу, потому что, сдвинув брови и с трудом вслушиваясь в мое бормотание, он сделал ко мне еще пару шагов, прежде чем морду его перекосила злобная гримаса. Фиклин подпрыгнул еще ближе и с размаху вытянул меня дубинкой вдоль спины. Конечно, это не был профессиональный удар, но вся беда в том, что полицейский "слеппер" с пружиной над ручкой и свинцовой головкой в кожаном мешочке штука вполне самодостаточная.

Боль рванула по всему телу, в глазах снова потемнело, но из этой боли, в этой мгновенно накотившей черноте вдруг родилась идея. Собственно, в основе ее лежала сначала вполне утилитарная, так сказать, сиюминутная задача: делая вид, что могу говорить лишь негромко и невнятно, что, впрочем, давалось мне без труда, подманить эту гниду к себе поближе и врезать ему единственной свободной ногой в промежность так, чтобы для него вопросы супружеской измены раз и навсегда перешли в область абстрактно-этической. Но поскольку в части, касающейся моих дальнейших перспектив, результат у такой акции был вполне предсказуемый, я сумел удержаться от первого естественного, но неразумного порыва.

Тем более что у меня затеплилась хоть крохотная, но надежда предпринять кое-что более интересное.

— Я никогда ничего не забываю. И не прощаю, — с высокомерной напыщенностью сообщил Фиклин, возвращаясь обратно на свой стул. Было видно, что он уже взял себя в руки. Не вызвало сомнений, что ради какой-то более важной цели, нежели просто отомстить мне за недавние унижения.

— Где пленка? — спросил он.

— В сейфе, — пробормотал я себе под нос.

Сдвинув напряженно брови, он снова привстал и направился ко мне, угрожающе поигрывая дубинкой.

— Не понял, где?

— В сейфе, — повторил я умирающим голосом.

— Отлично! — радуясь, видимо, что дело сдвинулось, Фиклин возбужденно похлопал "слеппером" по ладони. — А где ключи? В конторе? Или дома?

— Там цифровой замок, — буквально прошелестел я, однако он разобрал.

— Цифровой замок? Давай код.

Я молчал.

Я очень надеялся, что внешне это выглядит как смятение, как последняя слабая попытка сопротивления. На самом деле я тянул время с вполне определенной целью. Конечно, я не мог видеть, как там обстоит дело у меня за спиной, но, шевеля тихонько связанными рукой и ногой, сумел, кажется, определить, что мое запястье крепко-накрепко примотано не к щиколотке, а всего лишь к подошве кроссовки. В этом-то и состояла единственная безумная надежда: попробовать откинуть, так сказать, тапочек в буквальном смысле слова и таким образом освободить руку.

Но пока я продолжал молчать, и Фиклин угрожающе осклабился.

— Не поможет, — уверенно сообщил он, снова шагнул ко мне и еще раз нанес удар, на этот раз пришедшийся по ребрам. После чего деловито пояснил: — Это тебе так, для разминки. Не хочется звать ребят, уж очень у них методы грубые. Но ты меня вынуждаешь. Знаешь, что они сделают? Возьмут эту штуку, — брокер мотнул подбородком в сторону паяльной лампы, — и начнут подпаливать тебя, как поросенка. Неужели охота мучаться?

— Неохота, — вполне искренне прохрипел я.

— Вот и давай код, — обрадованный достигнутым наконец взаимопониманием подбодрил он. — А потом заодно, где ключи от конторы и как отключить сигнализацию.

Все это время я судорожно дергал пальцами связанной ноги, крутил за спиной ладонью, с нарастающим отчаянием понимая, что занимаюсь абсолютно безнадежным делом. Без помощи правой, свободной ноги мне не обойтись, а пустить ее в ход на глазах у Фиклина нет никакой возможности.

Или все-таки есть?

— Ну? — дубинка в руке моего мучителя с угрозой взлетела вверх.

— Тридцать семь... четыре поворота диска влево... — начал я как бы заученной скороговоркой, — пятьдесят три... два поворота вправо... восемьдесят четыре... три поворота влево...

— Стоп, стоп! Я так не запомню, — нетерпеливо прервал он меня и зашарил по карманам явно в поисках чего-нибудь пишущего.

Сердце мое дернулось и, показалось, вот-вот остановится, трепыхаясь в рваном ритме: найдет — не найдет, найдет — не найдет?

Фиклин не нашел и сделал именно то, о чем я тайне молился всем богам на свете: повернулся к висящему на стуле пиджаку.

Это был мой шанс.

Мои две-три секунды, которые я должен использовать, ибо другого времени больше не будет. И я их использовал.

Я их, можно сказать, использовал с таким положительным результатом для своего здоровья, с каким до того не проводил ни один месячный отпуск. Подтянув правую ногу, я уперся носком в задник левой кроссовки и несколькими рывками умудрился почти стащить ее. Но только почти. Потому что Фиклин, найдя авторучку и записную книжку, уже поворачивался обратно.

Приблизившись ко мне, он потребовал:

— Давай еще раз!

Я замер и мгновенно покрылся лишним потом.

Цифры, которые я бормотал в прошлый раз, не имели никакого отношения к истинным, я придумывал их на ходу и сейчас вдруг понял, что не помню, чего врал. А вдруг ему что-то запало в память, и сейчас он уличит меня в этом, насторожится? Значит, больше времени у меня нет: сейчас или никогда.

— Ти-ди-сят о-сеть... — просипел я.

Зажав "слеппер" под мышкой, с блокнотом в одной руке и сверкающим "паркером" в другой, он сделал еще шаг по направлению ко мне, пытаясь разобрать мое бормотание. В ту же секунду я, уже не скрываясь, последним

отчаянным движением сорвал с левой ноги кроссовку, выдернул освобожденную руку из-за спины и попытался схватить Фиклина за горло. Но промахнулся.

То ли противник был настороже, то ли пальцы онемели от неподвижности, а может, и то, и другое. Брокер успел дернуться, и я смог ухватить его лишь за ворот рубашки. Затрещала ткань, со звоном полетели в разные стороны пуговицы, а Фиклин, страшно выкатив глаза, вдруг вцепился мне в руку зубами. У меня не оставалось иного выхода, кроме как рвануть его на себя и что есть силы треснуть головой о стенку. Это подействовало на него успокаивающе: он обмяк и поехал вниз.

Хорошо отдавая себе отчет, что в любое мгновение либо брокер может прийти к себе, либо его дружки могут прийти к нему, я лихорадочно взялся за свое дальнейшее освобождение. Надо признаться, это было не так-то легко. Только с третьего раза мне удалось подтянуться на ослабевшей дрожащей руке к балке, чтобы в таком положении попытаться зубами разорвать скотч. Если вам никогда не приходилось грызть отвратительную липкую ленту, цепляющуюся к губам и языку, вы не поймете моих ощущений. Дважды я срывался и подтягивался вновь, прежде чем удалось покончить с этой малоприятной процедурой и оказаться на полу с трясущимися от напряжения и страха коленями. Но времени отдыхать не было — Фиклин у стенки начал слабо шевелиться и кряхтеть, как сонный младенец.

Оглядевшись по сторонам, я обнаружил то, что искал, на столе за паяльной лампой. Слава Богу, мои пленители не унесли с собой рулон скотча, и я тут же не преминул им воспользоваться. Сил у меня оставалось немного, но на щуплого Фиклина хватило. "Салазки" я ему делать не стал, просто обмотал липкой лентой ноги и руки за спиной и, оторвав небольшой кусок, на всякий случай залепил рот.

После этого, соблюдая максимальную осторожность, двинулся на разведку.

За дверью мне открылся длинный узкий коридор, уныло освещенный дистрофичной лампочкой ватт на пятнадцать. Пройдя по нему налево, я обнаружил, судя по мощному внутреннему засову, выход наружу. Искушение отодвинуть щеколду и дать отсюда деру, пока цел, было велико. Но я его преодолел.

Во-первых, я не имел ни малейшего понятия, где нахожусь, а уходить в ночь наобум, оставляя в тылу превосходящего по силам противника, было по меньшей мере неразумно.

Во-вторых, хотя по сравнению со спасением собственной шкуры это и следовало признать делом факультативным, меня теперь гораздо сильнее, чем раньше, интересовал вопрос, почему безобидный на первый взгляд брокер пускается во все тяжкие с целью овладения какой-то дурацкой пленкой.

Наконец, в-третьих...

В противоположном конце коридора имелась еще одна дверь. Она не была плотно прикрыта, сквозь щель в коридор падал свет и доносились звуки человеческих голосов. Не вызывало сомнений, что там обретается парочка, которой я обязан всем хорошим, что имею на протяжении еще не закончив-

шейся ночи. Умом я понимал, что лучше мне сегодня больше не пытаться возобновить с ними знакомство. Но то умом...

Короче, в-третьих, меня неудержимо тянуло заглянуть в щелку хоть одним глазом. Как говорят в таких случаях, битому неймется.

Я на цыпочках подобрался ближе, но, к сожалению, из-за суженного обзора в первый момент смог увидеть лишь все те же немудрящие аксессуары, свидетельствующие о том, что мы находимся в какой-то третьеразрядной, может быть, даже заброшенной сейчас механической мастерской: в поле моего зрения попали край верстака, оборудованного электросверлом, и резак с воздетой кверху мощной рукояткой. Звуковой ряд следовало признать более информативным: судя по репликам, за пределами моей видимости шла игра в "очко".

— Карточку! — требовал давешний фальшивый баритон. — Еще!

— Подавишься, — мрачно прогнозировал басок.

— Мне хорош, — вступил неожиданно для меня третий голос, совершенно бесцветный. — Мечи себе.

— Туз-гузевич... А вот и валетик, хулиган малолетний... Десятка, мать ее! Перебор...

— Девятнадцать.

— Ваши не пляшут. Двадцать. — На этот раз бесцветный прежде голос окрасился довольной ноткой. — Ну что, хохляндия, идешь на все? Или мандраж купил?

— Не дави на психику, — пробасили в ответ. — Иду за полбанка.

Уж если кому из здесь присутствующих и можно было похвастаться, что он "купил мандраж", так это мне. Хорошо понимая, что рискую всем, я медленно, буквально по миллиметру принялся расширять щель между дверью и притолокой до тех пор, пока глазам не открылась большая часть помещения.

Не в пример соседней, эта комната была невелика, каких-нибудь десять квадратных метров. За столом действительно сидели трое, но хорошо была видна только спина одного из них: широкая, обтянутая курткой защитного цвета, с потемневшими от пота подмышками. Про двух остальных сказать ничего определенного, кроме того, что габаритами они уступают басовитому, было трудно. Медленно, стараясь ни скрипом, ни шорохом не выдать своего присутствия, я покинул наблюдательный пункт и двинулся в обратном направлении.

Наличие третьего персонажа еще больше осложняло ситуацию. Хотя, если вдуматься, двое их там, трое или пятеро — по большому счету, мне было безразлично. Даже со вновь обретенным "слеппером" я не одолею противника, еще, кстати, неизвестно, чем вооруженного. Лихо я буду выглядеть со своей дубинкой, если у них, например, имеется что-нибудь огнестрельное. Ну что ж, раз на моей стороне нет ни численного, ни физического превосходства, остается...

Что же, черт возьми, остается?

Вернувшись обратно в комнату со стеллажами, я мельком кинул взгляд на кулем лежащего в углу Фиклина, с удовлетворением отметив, что тот уже пришел в себя и теперь при виде меня бешено вращает зрачками. Я тихонько посоветовал ему не бужить, а вести себя скромно и

ждать, пока до него дойдет очередь. В ответ он выпучился еще больше и даже что-то жалобно промычал, но я не обратил на это внимания, ибо меня сейчас интересовал совершенно другой объект.

Взяв в руки паяльную лампу, я убедился, что емкость для бензина полна: видать, подпаливать меня, как поросенка, собирались по полной программе. Недолгие поиски на стеллажах, а главное, под ними вскоре увенчались успехом, и я обнаружил грязное жестяное ведро, применяемое, вероятно, для уборки. Освободив его от остатков мусора, я вывинтил пробку из паяльной лампы и слил бензин в ведро. После чего обшарил висящий на стуле пиджак Фиклина и снова нашел то, что хотел: зажигалку. Это был прекрасный серебряный "ронсон-варафлейм" с золотой насечкой на корпусе, великолепная, безотказная штучка. Я несколько раз пощелкал ею, пока не отрегулировал струю пламени на максимальную мощность. Широкопрофильный брокер наблюдал за мной совершенно обезумевшими глазами. Но ему-то как раз пока волноваться не стоило.

Сунув в карман куртки моток скотча, взяв "ронсон" в правую руку, а левой подхватив ведро, снова стараясь ступать мягко и неслышно, я вышел в коридор, как на тропу войны.

До двери в комнату картежников оставалось всего несколько шагов, а я все еще не был абсолютно полон решимости, все еще колебался. Мой инстинкт самосохранения загнанным зверьком метался в этом узком, плохо освещенном коридоре, дрожал, упирался всеми лапами, неудержимо тянул к оставшемуся за спиной выходу на улицу. И, черт его знает, может, я бы и повернул назад — уж слишком отчаянный фокус мне предстояло выкинуть.

Но тут судьба распорядилась иначе, практически лишив меня свободы выбора: дверь распахнулась, и прямо передо мной на пороге вырос тот самый здоровенный детина в защитной куртке, по всей видимости, вышедший посмотреть, как там у нас с Фиклиным идут дела, а может, просто до ветру. Вероятно, его изумление было вполне сравнимо с моим испугом, но я, наверное, благодаря напряжению, в котором находился, оказался все-таки чуть более готов к неожиданностям. Моя шея все еще очень хорошо помнила крепость его бицепсов, и я не сомневался, что в ближнем бою мне ничего не светит. Обе руки у меня были заняты, поэтому я прыгнул вперед, стараясь нанести ему удар ногой в грудь. Однако малый оказался тоже не промах, успел поставить блок ладонями и едва не ухватил мою стопу в клещи. В результате, как на тренировке, у нас обоих не получилось, а получилось, как в банальной ресторанной драке: мы оба, чуть не в обнимку, влетели в распахнутую дверь с шумом и грохотом, усугубляемым лязгом полетевшего вместе с нами ведра. При нашем столь экзальтированном появлении оставшиеся двое вскочили на ноги, и всю партию смело можно было бы считать проигранной в пух и прах, если бы я выпустил из руки зажигалку.

Но я ее не выпустил.

Правда, от первоначального плана остались одни охвостья (предполагалось, что я красивым ударом ноги распахну дверь, швырну на пол ведро и одновременно чиркну зажигалкой — как говорится, все в бензине, один я в белой рубашке). Вместо этого в бензине оказалась вся компания, включая меня, причем я в самый решительный момент отнюдь не возвышался на по-

роге с грозно горящим фитилем в карающей деснице, а, наоборот, стоял на карачках посреди комнаты в довольно невыгодной и уязвимой позиции. Единственным моим преимуществом было то, что я не выпустил из руки зажигалку — но это же составляло и главную опасность. Кругом, не только на полу, но и на моей одежде, был бензин, и от малейшей искры мы все имели шанс запылать одним большим факелом.

Чиркнув кремнем, я мог овладеть ситуацией. А мог и взлететь на воздух. На размышления оставалось так мало времени, что это и размышлениями назвать было грешно. Скорее, речь шла об инстинктах. Эти инстинкты сказали мне, что если я немедленно чего-нибудь не предприму, то моя жизнь в любом случае не будет стоить ломаного гроша. Я нажал на клавишу, и тонкое жало огня с шипением вырвалось наружу.

Все замерли. Но первым, обнаружив, что немедленное аутодафе откладывается, шевельнулся я. Конечно, мне следовало бы подняться во весь рост, расправить грудь и зычно гаркнуть на эту шайку, сразу дав понять, кто здесь главный. Как в хорошем американском кино. Но вместо этого я смог лишь совсем не по-геройски отползти на локтях и коленках к выходу и только там с трудом поднялся на дрожащие ноги. Впрочем, шайка, похоже, и при таком развитии событий сумела определить, кто хозяин положения: ни один не посмел шелохнуться. Если спросить меня сейчас, что за лица у них были в тот момент, ответить не смогу. Я видел только три пары направленных на меня глаз. Но и этого было достаточно. Начиналось самое интересное.

Много лет назад я поклялся не убивать больше людей и с тех пор сделал из этого правила всего одно исключение. Но они, конечно, этого ведать не могли. А я должен был сделать так, чтоб им и в голову такое прийти не могло. Вытащив приготовленный скотч, я через всю комнату кинул его в руки своему потливому знакомцу, который так и сидел задницей в луже бензина, и грозно прорычал:

— Встать!

Он помедлил всего секунду, но я-то знал, что, когда блефуешь, самое опасное — упустить инициативу. И резко поднес руку с горящим фитилем к залитому бензином полу. Убивать мне никого не приходилось уже давно, но вот так с тем или иным оружием блефовать — случалось. Профессия такая. И каждый раз мысль о том, что будет, если блеф не пройдет, я, как злую собаку, загоняю в дальний угол сознания, подпирая дверь поленом и хорошо понимая всю непрочность этой шаткой конструкции.

Но и на этот раз пронесло. Здоровяк вскочил на ноги с готовностью, свидетельствующей о том, что Станиславский на его месте сказал бы: "Верю!" После чего, развивая успех и недвусмысленно угрожая близостью горячей зажигалки к разлитой по полу жидкости, я отдал ряд простых и понятных приказаний, в результате исполнения которых вся троица очень скоро оказалась крепко замотанной лишней лентой по рукам и ногам.

Первых двух связывал под моим контролем и руководством битюг в защитной куртке, у которого запах пота не смог перешибить даже бензиновый аромат, а уж его я стреножил лично, предварительно вырубив с помощью у него же отобранного баллончика нервно-паралитического газа. Так что, по крайней мере, в этом отношении можно было считать, что мы кви-

ты. Подумав, я на всякий случай дал нюхнуть этой гадости и остальным, не без некоторого, сознаюсь, злорадства успокоив, что, по моим сведениям, эта дрянь надолго не вырубает.

Обшарив после этого их карманы, я выгреб кое-какие документы, удостоверяющие их личности. Судя по бумагам, все трое являлись, так сказать, красными командирами: соответственно майором, капитаном и прапорщиком спецназа внутренних войск. Понятно, ребятки таким образом "халтурят". Что ж, в наше трудное время каждый продает, что имеет... Кроме баллончика личный обыск обнаружил при них также один боевой пистолет "ТТ" с семью патронами, один газовый "браунинг", два выкидных ножа и резиновый шланг, залитый изнутри свинцом, — сильная штука в рукопашной. Вместе со всем этим арсеналом я перебрался обратно к Фиклину и для начала отлепил скотч, закрывающий ему рот. Его немедленно вырвало.

— Гне негем дышать! У геня гаймогит! — завопил он, едва утихли спазмы.

— А геморроя нет? — язвительно поинтересовался я в расчете на отрицательный ответ немедленно заявить: "Сейчас будет!" Я не собирался с ним церемониться и вполне сознательно сразу взял агрессивный тон, но совершенно неожиданно услышал:

— Есдь! Есдь гемогой! Я пожигой чеговер! И очень богной! Я мог умегеть!

— Для цивилизации потеря была бы не слишком велика, — заметил я. — К тому же, еще не все потеряно.

Глаза у него от страха чуть не вывалились из орбит.

— Шго вы игеете в гиду? — жалобно проныл он, а я, отметив, что со мной снова перешли на "вы", безжалостно сообщил:

— То, что у тебя единственный шанс выжить — это оказаться мне полезным. Хоть в чем-нибудь.

Весьма торжественно и грозно заявив это, я сам призадумался: а чем, собственно, этот мешок с дерьмом может мне быть полезен? И пришел к выводу, что, пожалуй, в нынешней ситуации, ничего, кроме разве что удовлетворения моего любопытства он мне дать не способен. Ноги после всех недавних упражнений не слишком хорошо держали меня, поэтому я не без удовольствия опустился на стул рядом с распростертым на полу Фиклиным и сказал:

— Давай теперь рассказывай, зачем тебе так нужна эта пленка?

— Моя жена мне изменила... — заныл он.

С удовлетворением отметив, что он, кажется, наконец продышался и перестал гундосить, я устало прервал его:

— Ну, хватит, Отелло, про жену я уже слышал. Очень спать хочется, поэтому быстро кончай эту канитель. Или говори все, как есть, или я сейчас кое-куда звякну, приедут из РУОПа, и будешь рассказывать про жену им. За похищение людей, знаешь ли, прямо отдельная статья в кодексе.

Но то ли моя угроза не возымела надлежащего действия, то ли широко-профильный брокер еще не вполне оправился от шока, пережитого в связи с неожиданными переменами в своем положении, и к нему не вернулась способность трезво оценивать обстановку, но он, глядя на меня бегающими глазами, опять завел свое:

— Он мой партнер, а она... будучи законной секретаршей... то есть, конечно, супругой... но на зарплате... в курсе всех дел... коммерческая тайна...

Тогда я решил изменить тактику. Взял со стола паяльную лампу, трякнув ее, определил, что бензин на дне остался, и принялся, уперев неподвижный взгляд в лицо Фиклину, методично накачивать помпу. Это, кажется, подействовало. Глаза у него расширились, перестали бегать и следили теперь за каждым моим движением с нарастающим ужасом.

Но мне, честно говоря, это все вдруг наскучило, следовало констатировать, что ночь почти прошла самым бессмысленным образом. Манипуляции с лампой были, разумеется, таким же блефом, как и обещание вызвать милицию: без крайней необходимости вязывать в свои дела официальные органы частному сыщику ни к чему. Я и впрямь чувствовал себя разбитым, причем не только в физическом плане, да и кураж, еще несколько минут назад подвигавший меня на немислимые подвиги, подостыл. К тому же, пораздумав, я пришел к выводу, что все тайны объясняются, как обычно, проще простого: наверняка речь идет об элементарном шантаже. В этом свете пленка действительно может стоить дорогого — во всяком случае, для любителя майских устриц, ради которого мне пришлось ползать по мокрому загаженному крышам. Правда, когда я, чтобы не терять больше времени на наводящие вопросы, прямым текстом поделился с Фиклиным этими соображениями, он только жалобно застонал:

— Какой шантаж, Господь с вами! Я порядочный бизнесмен и никогда с такими делами...

Вероятно, лицо у меня сделалось достаточно выразительное, потому что он, оглянувшись на стенку в соседнюю комнату, пролепетал смущенно:

— Эти ребятки... Ну, вы же понимаете... У меня с ними договор о защите, так сказать, интересов. Крыша, одним словом... — Брокер умолк, косясь, как лошадь, на паяльную лампу в моих руках.

Крыша крышей, подумал я, а перед тем как начать у меня выпытывать, где пленка, ты их из комнаты выставил. Похоже, за всем этим и впрямь что-то серьезное. Но, слава Богу, имеющее ко мне отношение только с одной точки зрения: в этой несомненно грязной истории меня использовали втемную. А я этого не люблю. Я люблю быть в курсе.

Устрашающе качнув пару раз помпой, я строго спросил:

— Имя?

— Чье? — с готовностью дернулся он.

— Того, кого ты собираешься шантажировать.

— Не собираюсь я никого шантажировать! — снова заныл он. — Да если б вы этого человека знали, вы бы поняли, что лучше кобру какую-нибудь гремучую шантажировать, чем его! Я про троих точно знаю, которых он заказал, двоих в подъезде расстреляли, одного с машиной взорвали, а на самом-то деле их еще больше! Он сам сидел, уголовник натуральный. Ему душу живую погубить, что мне водички попить, а вы говорите — шантажировать! Я жизнь свою спасать собираюсь! Жизнь!

Я потребовал подробностей, и Фиклин, слегка даже подвывая то ли от страха, то ли от жалости к самому себе, стал рассказывать. Излагал он путано, с какими-то ненужными подробностями, перескакивая с пятого на десятое, попеременно с соплями и всхлипываниями. Что-то там у него в про-

цессе реализации его широких брокерских интересов вышло с одним из партнеров, какая-то недопоставка каких-то "фольксвагенов" почему-то бразильской сборки, где он, Фиклин, был совершенно не виноват, но наехали, как водится, на крайнего, и у него, у крайнего то есть, начались проблемы, поставили на деньги, включили счетчик. Короче, давняя и, кстати, не слишком периодичная, так, раз в месяц, не чаще, интрижка его жены, той еще лявы, шлюхи чертовой, слабой на передок дуры с тем самым типом, который хуже кобры, но большой, между прочим, ходок по этому делу, оказалась очень кстати. У него, у ходока, у кобры гремучей, жена — восточная женщина, ревнивая до черта, а все его, кобрины, успехи, оказываются, через нее, через восточную жену, у ней брат двоюродный — грузинский вор в законе, оттуда все дела и бабки, и крыша, между прочим, а у них уже случались скандалы с супружницей на этой почве, и ему, гремучему, такой компромат был бы сейчас очень не в жилу, а потому пленочка заветная есть его, крайнего брокера, страховой полис и последняя надежда.

Терпеливо дослушав его излияния, я вздохнул и повторил твердо, добавив в тон угрозы:

— Имя!

— Ну что вам имя, что вам имя? — рыдающим голосом спросил Фиклин. И вдруг, скривив в страшной гримасе рот, заорал, почти в истерике забился: — Сами хотите, да? Пленочкой попользоваться? Сами?

Видимо, все-таки нервы оказались у меня последними событиями подорваны. В другой раз подобное дурацкое оскорбление вызвало бы на самый худой конец разве что усмешку. А тут накотившая ненависть к этому червю помутила ни с того ни с сего свет в глазах, зубы сжались, и я, почти не помня себя, с перекошенным лицом замахнулся на брокера тяжелой паяльной лампой.

— Не-ет, — заверещал он, — нет, нет, не бейте, скажу! Блумов его фамилия! Борька Блумов, гад поганый!

По морщинистым фиклинским щекам текли теперь натуральные слезы. Он больше не бился в припадке, он просто плакал по-бабы и тихо причитал:

— Ну что вам, легче, что ли, от его имени? Легче, что ли?

Я и впрямь мгновенно остыл, вся злость на Фиклина прошла. Ничего ему отвечать в мои планы не входило, но оттого, что я при столь необычных обстоятельствах неожиданно-негаданно узнал кое-какие небезынтересные подробности о жизни одной из Саввовых внучек — Маргариты Блумовой (в девичестве Габуня) и, что еще существенней, ее супруга — автомобильного магната Бориса Блумова, в семейных кругах именуемого Бобсом, мне действительно стало легче. Я уже больше не считал, что ночь прошла совсем даром.

МЕСТО ПОКОЙНЕ

Женьку и Котика должны были отпевать в церкви при Крестовском кладбище, на котором потом и похоронить.

Домой я дополз только под утро, вследствие чего проснулся в одиннадцатом часу и следующие минут сорок пытался привести себя в поряд-

док. На похоронах, вполне возможно, предстояло встретиться со многими, так сказать, фигурантами по интересующему меня делу, и хотелось иметь вид по возможности свежий и респектабельный. Но тщетно: даже после всех водных и одеколонных процедур, глянув на себя в зеркало, я пришел к малоутешительному выводу, что свежести во мне не больше, чем в свежем покойнике.

Когда я спустился в контору, Прокопчик как раз заканчивал вставлять новое оконное стекло взамен расколотого, с помощью которого меня вчера, словно последнего баклана, заманили в ловушку. С такой же легкостью вставить себе новую физиономию я не мог и поэтому в ответ на полный сочувствия взгляд помощника постарался компенсировать это обстоятельство победной реляцией:

— Зато теперь из трех основных подозреваемых у меня, кажется, определился главный!

— А это что? — Тима кивнул подбородком на начинающую уже покрываться корочкой ссадину над левым глазом. — Г-головокрушение от успехов?

Достав из сейфа сакраментальную кассету, я передал ее Прокопчику, поручив сделать с нее копию, после чего пойти в банк, арендовать ячейку депозитария и положить оригинал туда. В буквальном смысле от греха подальше.

Подумав, я отдал ему и не менее сакраментальный магнитный ключ от арфьевских сокровищ. С той же целью.

Потом я еще некоторое время посидел за столом, бессмысленно перекладывая с места на место разные бумажки, вполне отдавая себе отчет, что просто оттягиваю момент, когда все равно придется встать и отправиться для участия во всех этих тягостных похоронных процедурах. Странно, но мне, повидавшему на своем веку столько мертвых людей, в том числе лишенных жизни самыми кровавыми и зверскими способами, всегда неуютно бывает рядом с покойником в гробу, особенно если речь идет о ком-то из родных или друзей. Зализанный, напомаженный, он кажется мне подложенной куклой, лишь отдаленно похожей на некогда близкого человека.

Но делать нечего, часы показывали половину двенадцатого, пора было двигаться. Однако уже на улице обстоятельства снова чуть не отвернули меня в сторону.

Гараж, где обычно ночует мой "опель-кадет", расположен в ряду таких же, как он, облезлых и ржавых железных коробок на задах трансформаторной будки, между мусорным контейнером и бойлерной — местечке глухом и безлюдном даже днем. Тем более удивительным было увидеть там живую душу, не имеющую к гаражам никакого отношения: навстречу мне, прижимаясь к задней стенке будки, ковылял Вениамин Козелкин из сотой квартиры.

Походка у него была словно у помойного кота, осторожно пробирающегося по враждебному двору. А когда он приблизился, впечатление лишь усилилось: вид у Вины оказался совсем неважный, какой-то ободранный и даже истерзанный. Больше всего он походил сейчас на только что выпущенного из кутузки бомжа. Рожа у него представляла собой один большой синяк, перламутрово переливающийся всеми цветами от лилового до исси-

ня-черного. Один глаз совсем запыл, а другой, багровый от множества мелких лопнувших сосудов, испуганным кроликом выглядывал в щелку между опухшей бровью и вздувшейся, словно при флюсе, щекой.

При моем приближении жалкая косая ухмылка перекосила ему разбитые губы, и я увидел, что по крайней мере двух или трех передних зубов во рту у Вини не хватает. Следовало, видимо, констатировать, что финансовые проблемы Козелкина перешли в качественно иную стадию: кто-то из кредиторов от угроз перешел к их реализации. Так что возникшее было желание во исполнение просьбы Гарахова немедленно наехать на нашего доморощенного пирамидостроителя слегка поутихло, начав сменяться чувством отчасти жалостным, отчасти гадливым.

Но оказалось, на него и наезжать не было особой необходимости. Когда между нами осталось не больше трех-четырех шагов, он остановился и, тяжело привалившись к кирпичной стенке, заныл:

— Все знаю, все знаю, Гарахов предупредил... Квартиру продал уже, купил другую... Тут, рядом, на Масловке... однушку... Шитов переулк, дом пять, квартира шестнадцать... завтра выезжаю, сейчас иду в домоуправление выписываться. Получу окончательно деньги и сразу... и сразу...

Его, похоже, заело, как треснувшую пластинку. Что "сразу", он так и не досказал, только махнул рукой. Вообще-то мой небедный практический опыт подсказывал, что, если я хочу выполнить гараховское поручение, надо, не теряя времени, брать Виню за шкуру, волочить его, пока теплый, к нему в квартиру, из которой он завтра съедет — ищи потом ветра в поле, и трясти как грушу до тех пор, пока не отдаст несчастным бабулькам несчастные восемь сотен баксов. В конце концов, можно ведь не ехать в церковь к отпеванию, а на кладбище я все равно успею. Сделав грозное лицо, я уже открыл рот, и тут... Козелкинская физиономия перекривилась, поехала куда-то в разные стороны, а багровый подбитый глаз затуманился натуральной слезой. Короче, мне вдруг стало просто по-человечески жалко этого идиота.

Ладно, решил я, лежачего не бьют, никуда он не денется, найду его в крайнем случае и на Масловке, пусть живет, ему ж даже врезать сейчас больше некуда, не человек, а сплошная ссадина. Поэтому, пообещав ему на прощанье что-то суровым голосом, я отпустил Виню идти дальше своей дорогой, а сам пошел своей.

В тот момент я и представить себе не мог, какую ошибку совершаю. Скольких крайне неприятных событий удалось бы избежать, не поддайся я столь не вовремя накотившему приступу гуманизма. Впрочем, вполне возможно, и не удалось бы. История, как известно, не терпит слагательного наклонения. Но одно теперь уже можно сказать наверняка: свой шанс сильно спрямить ту извилистую и полную разных мелких и крупных неприятностей дорогу, на которую мне только-только предстояло ступить, я упустил.

К церкви я подъехал уже в первом часу, но, как выяснилось, не опоздал: вместо траурной процедуры в храме Божьем разворачивался скандал.

— Не положено! — скрипучим казенным голосом возглашал довольно молодой на вид батюшка, аккуратным овальным личиком и круглыми очечками в тонкой металлической оправе смахивающий на Джона Ленно-

на. Вокруг него с растерянным выражением стояли несколько человек, среди которых я узнал Льва Сергеевича Пирумова, а также еще кое-какие знакомые лица, главным образом из Стеклянного дома.

— Не положено, — канцелярской крысой скрипел на одной ноте батюшка, помахивая при этом в воздухе какой-то бумажкой. И вдруг без всякого интонационного перехода продолжал велеречиво-наставительной скороговоркой: — Ибо никто из нас не живет для себя и никто не умирает для себя, а живем ли — для Господа живем, умираем ли — для Господа умираем, потому что живем или умираем, мы всегда Господни, принадлежим Господу.

Единым духом закончив цитату и осенив себя крестным знамением, пастьер точно таким же удивительнейшим образом, практически не переводя дыхания, вернулся на грешную канцелярскую землю:

— В справке что указано? В справке указано: отравление газом. А самоубийц отпевать не имею права. Надо мной тоже руководство есть. Утопление в воде, выпадение из окна, отравление газом...

Стоящие перед ним люди что-то пытались объяснить, что — я не мог расслышать, их голоса уже на расстоянии трех шагов терялись, уплывая под сумеречные своды церкви, в приземье оставались только резкий фальцет иерея:

— Не положено, не имею права, не положено!

Не везет Котику. При жизни, помнится, Женьке редко удавалось затащить мужа в храм. А теперь вот после смерти выставляют его отсюда вон. Я взгляделся в холодную физиономию священника: унтер Пришибеев в рясе. И после некоторого колебания (не мое это дело, ей-Богу!) протиснулся вперед, придал своему лицу максимум почительности, на какой только был способен, дотронулся легонько до черного рукава и проговорил, для вящей убедительности понизив голос:

— Это не самоубийство, святой отец. Его убили.

Все вокруг мгновенно умолкло, я почувствовал на себе множество глаз разом. Сверкнув в полумраке, круглые окуляры тоже устались на меня.

— Вы кто такой? Откуда знаете?

Я вздохнул. Сказавши "а", надо говорить "бе". Готовясь к тому, что из тебя вытащат весь алфавит. Вместе с жилами.

— Можете мне поверить. Я расследую это дело.

— Вот как? — Святой отец растерянно оглянулся по сторонам, словно в поисках поддержки, и стало особенно хорошо видно, как он молод, совсем еще мальчишка. Не знаю, о каком руководстве над собой он говорил — в определенном смысле его начальства на стенах и даже в росписях по потолку было предостаточно. Оно-то, видимо, и дало ему свое благословение.

— Хорошо, — согласился он, но добавил с достоинством: — Надеюсь, вы не взяли на себя грех солгать в храме.

Мне тоже хотелось на это надеяться.

Началась лития, и я все простил этому юному церковному бюрократу. Едва он запел "Боже духов и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый", думаю, не у одного меня перевернулось сердце. У батюшки оказался потрясающий, почти оперный баритон, служил он

истово и одновременно артистично, совершенно чудесным образом при этом преображаясь.

В не слишком густой толпе, окружившей лавки с двумя гробами, я оказался поблизости от Пирумова. И когда священник поразительно ясным и высоким, берущим за душу голосом затянул "покой души усопших ра-аб твоих в месте све-етле, в месте зла-ачне, в месте поко-о-ойне...", с некоторым удивлением отметил, что на глазах адвоката заблестели слезы. Впрочем, утирая их украдкой кончиком платка, Лев Сергеевич перехватил, видимо, мой взгляд, усмехнулся краем губ и пробормотал:

— Стар стал, сантименты замучили... Мне ведь тоже скоро пора... туда... в место покойне... — И уже суше, по-деловому, поинтересовался: — Про Малю-то слышали?

Я кивнул. Рассказывать о том, что не только слышал, но и видал, не хотелось.

— Вон его сестрица Марго, — показал Пирумов глазами на стоящую неподалеку высокую дородную даму в крошечном и от этого при данных обстоятельствах неуместно кокетливом черном шифоновом платочке поверх затейливо уложенных, крашенных в цвет спелой ржи волос. И вздохнул: — Если бы Ньюма был религиозен, завтра пришлось бы идти в синагогу.

— А кто это с ней рядом, муж? — спросил я тихонько.

Пирумов кивнул. В Бобсе я не то чтобы узнал, а скорее угадал того мужчину, в процессе слезки за которым черт занес меня тогда на мокрую загаженную крышу. Сейчас, правда, мне была видна главным образом его грузная фигура с агрессивно рвущимся из-под пиджачной пуговицы брюшком. Больше в церковном полумраке, усиленном клубами ладана, рассмотреть было затруднительно.

Но я решил, что глупо не ухватиться за представившуюся возможность использовать Льва Сергеевича в качестве гида для хотя бы абрисного знакомства с потенциальными наследниками арфьевских богатств. Собственно, интересовали меня двое: шоумен Эльшин и банкир Забусов. Первый присутствовал на панихиде не только с супругой, но и сыночком. Сам глава семьи являл собой низенького, но кряжистого ширококостного мужчину с короткой бородкой, рядом с которым худенькая жена казалась девочкой-подростком. Поблизости переминался с ноги на ногу его недоросль, ростом явно пошедший в папашу, но при этом субтильного сложения.

Вторая пара также оказалась достаточно приметной: оба были долговязые, заметно возвышались над толпой, так что я не сомневался, что в дальнейшем сумею их идентифицировать, особенно самого господина Забусова, обширная плешь которого явственно поблескивала в пламени поминальных свечек. Ничьих лиц, разумеется, я разглядеть не смог, но надеялся сделать это уже на кладбище, при дневном свете.

Однако сперва у меня здесь имелось еще одно совсем личного свойства дело, которое я рассчитывал успеть сделать. Тенор батюшки уже выводил заключительное "во блаженном успении, вечный покой", клир грянул "вечную память", и я стал потихоньку пробираться к выходу. Мне нужно было навестить похороненного здесь же деда.

Когда я вышел на ступени церкви, едва-едва перевалившее зенит полуденное светило прицельно лупило в темечко, одновременно брызжа в

глаза осколками множества маленьких солнц, которые дробились и сверкали на полированных крышах припаркованных у входа на кладбище автомобилей.

Подъезжая сюда, я торопился, но теперь мог без помех рассмотреть интересующие меня объекты и убедиться, что разведка доложила точно: здесь наличествовали и красавец шестисотый "мерседес" цвета морской волны, и черная, как антрацит, мощная приземистая семьсот пятидесятая BMW, и пара тяжелых джипов — один тоже из семейства "мерседесов", темно-шоколадный, похожий на катафалк, другой — белый лакированный франт "гранд-черокки". Чуть поодаль, словно демонстрируя свою особую родовитость и аристократизм, замер серой стальной тенью угловатый "роллс-ройс". Во всех машинах окна были затемненные, но в данный момент, по причине, надо полагать, погоды, многие из них частично приспустились, предоставив внимательному наблюдателю возможность заметить в глубине салонов не только водителей, но и других — не слишком выпячивающих свое присутствие пассажиров. Как правило, крепких широкоплечих молодых людей, всегда чем-то похожих друг на друга — выражением глаз, что ли? Оставалось только очередную раз тяжко вздохнуть по поводу моих более чем туманных перспектив, касающихся возможности проникнуть в тайны столь хорошо охраняемых членов общества.

У деда я особенно не задержался. Визит был внеплановым, поэтому, стряхнув для порядка ладонью прошлогодние листья с цоколя и пристроив к подножию памятника четыре купленных у цветочницы перед входом гвоздики, я просто присел на лавочку, откинулся назад и бездумно запрокинул голову. Сквозь толщу густой спутанной кроны кряжистых лип и столетних дубов крошечными осколками разбитого зеркала пробивалась небесная синь, легкий ветерок, как засыпающий ребенок, еле-еле бормотал что-то, увязнув в листве. Городские звуки сюда почти не долетали, кругом были тишина и покой. Для мертвых вечный, для живых хотя бы временный.

Место светле, место покойне.

Неожиданно явилась мысль, что ведь, случись чего, хоронить меня будет именно здесь, больше нигде. Вот прямо тут, в двух шагах от скамеечки, на которой я сейчас сижу. Но глубже осмыслить и прочувствовать это философическое открытие я не сумел. Потому что сквозь заросли бузины и орешника, не слишком плотной стеной отделяющие мою скамеечку от остального мира, увидел, как траурная процессия, пройдя кладбищенские ворота, двигается в противоположную от меня сторону.

Поднявшись, я самонадеянно прикинул, что, чем возвращаться ко входу и потом догонять, лучше попытаться спрямить дорогу через кладбище. И, разумеется, заблудился. Это место последнего успокоения в течение двух последних столетий застраивалось, видимо, не по плану, а как Бог вложил на душу, и дорожки здесь крутились и вертелись в разные стороны под самыми неожиданными углами, то и дело заканчиваясь тупиками, так что минут через пять я в полной мере начал ощущать себя запущенной в лабиринт лабораторной крысой.

Впрочем, когда меня уже начало охватывать отчаяние и всерьез подумывалось, не ломануть ли напрямик через ограды и заросли кустар-

ника, я вышел наконец на нужную дорожку и оказался у цели, правда, в последний момент.

Погребальная процедура близилась к завершению. На крышки гробов с глухим стуком летели символические комья земли, и наступал тот тягостный этап, когда все слова сказаны, последние долги отданы, а за дело берутся ражие красномордые могильщики. Всем прочим делать больше нечего, но и уходить пока не положено. Остается молча стоять, наблюдая за спорой работой отполированных частым употреблением лопат.

Я тоже, как и все, стоял молча, наблюдая, однако, не только и даже не столько за тем, как растут холмики рыжей глины на могилах двух моих друзей. Возможно, это говорит о моей душевной тупости, но мысли мои были устремлены уже на совсем другие объекты. Стоя во втором ряду за спинами прощающихся, я исподволь всматривался в тех, кто мог оказаться убийцей.

У Арефевых здесь было целое свое маленькое кладбище. Сперва слева направо и как бы из глубины веков шли похожие на маленькие часоушники резные черномраморные монументы с потемневшими выбитыми надписями. "Потомственный почетный гражданинъ Кондрать Саввичъ Арефьев, скончался генваря 17 числа 1876 года, жития его было 69 летъ". "Московский купецъ Петръ Саввичъ Арефьев, 1842-1907, память его 18 июня, и Марія Прохоровна Арефьева, в девичестве Оконишниковна, ск. в 1911 году, память ея 20 июля". С приближением к нашей эпохе надгробья мельчали, имен на них становилось с каждым разом больше, и заканчивалась вся эта история явно сооруженной с дальновидным прицелом на будущее широкой шершавой гранитной плитой унылого серого цвета, где фамилии и даты жизни уже почти наезжали друг на друга в таком количестве, будто самолет упал. А дальше рядком помещались живые.

Широкобедрая и большегрудая мадам Блумова, она же Марго, со скорбно поджатыми губами тарасила оловянные глаза на крупной лошадиной физиономии. Ее Бобс стоял рядом, с трудом сцепив пальцы на неохватном животе и опустив очи долу, предоставив окружающим любоваться своей макушкой с редкими зализанными волосенками. Впрочем, насколько можно было разглядеть, лицо у него было не намного более выразительным, смазанное и тоже как будто зализанное.

Рядом с ними, обессиленно прислонясь к стволу березы, с опухшими, заплаканными глазами примостилась Верка. На ней была черная шляпка с короткой вуалькой и черный же узкий, обтягивающий костюм из юбки с жакетом, позволивший мне (последний раз я видел ее в каком-то несусветном хламидоподобном свитере) сделать вывод, что стройности фигуры она не растеряла.

Следом помещалось семейство Забусовых в полном составе: сухопарый муж, у которого отмеченная мною еще во время панихиды обширная лысина органически переходила в безбровое нездорово-желтое лицо с практически лишенными ресниц веками, образуя как бы одну сплошную плешь, костлявая жена, раскрашенная, точно вождь апачей, и два высоченных телохранителя, или, как их по-новомодному называют, боди-гарды, в солнцезащитных очках.

Мне пришлось переступить на несколько шагов в сторону, чтобы ствол толстенного, как колонна Большого театра, вяза перестал закрывать обзор, после чего моим глазам предстал, наконец и рекламно-телевизионный магнат Эльпин, который стоял опираясь на выставленную вперед элегантную полированную трость черного дерева с серебряным набалдашником. При свете мне удалось рассмотреть, что, кроме воинственно оттопыренной бородки, у него есть еще и аккуратно перетянутая резинкой косичка на затылке, а его супруга, женщина крошечная, почти миниатюрная, увешана таким количеством золотых украшений с бриллиантами, что непонятно, как бедняжка выдерживает эту тяжесть. За спинами семейства шоумена медленным локатором поворачивал туда-сюда голову тяжелый и видно, что под пиджаком бугристый, как придорожный валун, собственный телохранитель. А еще дальше, на третьем плане, терся эльпинский щенячьего обличья сынок, в котором я, к своему немалому изумлению, узнал давешнего Рому из фоторепортажа Прокопчика, того самого прыщавого мальчика с белой прядью на лбу, что в нашем дворе, согласно Тиминому докладу, подвизается на ниве распространения наркотиков.

Это последнее маленькое открытие, безусловно, представляло интерес, оставалось только придумать, можно ли его использовать в том основном деле, которым я занимаюсь, и если можно, то как именно. В остальном же приходилось констатировать, что встреча лицом к лицу с тремя, еще покойным Котиком определенными в качестве подозреваемых, господами никакими новыми достижениями меня не обогатила. Сколько я в эти лица ни всматривался, явных следов кайновой печати на них не обнаруживалось. Все они с приличествующим обстоятельством скорбно-пустным выражением терпеливо ждали конца процедуры, который неумолимо приближался.

Могильщики принялись рубить длинные стебли пунцовых гвоздик, белоснежных хризантем и нежно-зеленых кал, от их отточенных, как бритва, сверкающих на солнце лопат разлетались, купаясь в окружающей листве, веселые яркие зайчики. Один из таких зайчиков заставил меня прищурить глаз, а когда я снова открыл его, то увидел, что игривый солнечный лучик переместился уже на метр левее, приплясывая по стволу исполинского вяза.

И неожиданно странное, еще неосознанное, но очень острое тревожное чувство посетило меня. Я не мог понять его причины, хмурился, стараясь сообразить, что же так насторожило меня, как вдруг, похолодев, догадался. Это случилось, когда могильщики отложили лопаты и принялись укладывать цветы на свежие могилы. А странный, розоватого оттенка зайчик остался.

К тому моменту, как я все понял, он сместился еще на полметра и коснулся края серой надгробной плиты, медленно, но неумолимо двигаясь в ту сторону, где компактной группой толпились Блумовы, Верка, Забусовы и Эльпины. Последнее, что я увидел перед тем, как прыгнул вперед, были приоткрытый в напряжении рот и перекошенное лицо одного из банкирских охранников.

Пожалуй, он среагировал даже раньше меня — это и стоило ему жизни.

Я рванулся в общем-то на голом инстинкте, широко, словно при игре в горелки, расставив руки и стремясь свалить с ног ближайшего одного, а лучше двух или трех человек, телохранитель же действовал, как учили, как положено по инструкции. Я летел, краем глаза фиксируя его движения: вот он сует ладонь под пиджак, разворачивается правым плечом навстречу опасности и делает шаг вперед, пытаясь загородить охраняемый объект. Все дальнейшее происходило не последовательно, а как бы в одно и то же мгновение.

Ближе всех ко мне стояла мадам Блумова, и, возможно, при других обстоятельствах было бы забавно наблюдать, как эта здоровенная тетька, так и не успев ничего понять, валится с ног все с тем же плотно приклеенным скорбно-надутым выражением на лице. Боди-гард выхватил из-под мышки пистолет, но поднять его и прицелиться уже не смог: пуля попала ему в переносицу, развалив темные очки, половинки которых разлетелись в разные стороны.

Его самого откинуло назад, и он свалил с ног сразу двоих: банкиршу и эльпинского сыночка. Одновременно с этим тяжеловесная Марго, падая, спиной ударила мужа по ногам, и Бобс в свою очередь рухнул, сперва боднув головой в бок Верку, а затем плечом толкнув под руку Эльпина, который тоже не устоял и, зацепив хрупкую жену рукой с тростью, врезался головой в живот долговязому Забусову. Люди летели наземь, как костяшки домино, и поэтому следующая пуля ушла "в молоко" — только рванули по сторонам щепки от вяза.

В это же время эльпинский валунообразный охранник, припав на одно колено, начал с грохотом падать куда-то в сторону кладбищенской стены, но недолго. Третья пуля угодила ему в плечо, он глухо ойкнул, выронил оружие и завертелся на пятке, судорожно пытаясь зажать фонтаном брызжущую кровь. А я, лежа животом на свежем могильном холмике, прямо перед собой увидел выпущенный им "макаров", схватил его, перекатился несколько раз по земле, оказавшись под прикрытием одного из мраморных надгробий, вскочил на ноги и рванул что было мочи.

Это был бег с препятствиями в полном смысле слова.

Я перескакивал через чугунные ограды, спотыкался о вросшие в землю могильные плиты, продирался сквозь заросли кустарника — и все это не снижая взятого темпа. И не выпуская зажато в правой руке "макарова". И очень надеясь не потерять выбранного направления — к стене, за которой, очевидно, засел снайпер, но не лобовой атакой, а в обход, забирая правее, рассчитывая обойти его с фланга.

Впрочем, уже через пару-тройку секунд я получил весьма убедительное подтверждение, что двигаюсь верным путем: пули принялись свистеть вокруг моей головы. Не вызывало сомнений, что дело приходится иметь с профессионалом. Для него не остались незамеченными предпринятые мною маневры, он правильно оценил мои намерения и перенес огонь на меня. Но в охоте на несущегося по кустам зайца лазерный прицел уже, скорее, помеха, чем преимущество. Я же пригибал голову, даже, кажется, прижимал уши, ныряя среди деревьев, крестов и надгробий. И в конце концов добился своего: миновал зону обстрела, выскочил к невысокой кладбищенской ограде и, тяжело дыша, привалился к ней.

Наступил самый неприятный момент.

Я был по эту сторону бетонного забора, он — по ту. Если я попробую перебраться, то окажусь у него на прицеле. Если потеряю время, он уйдет. Почувствовав, что колебания чересчур затягиваются, я выбрал паллиативный вариант: с "макаровым" наизготовку, прижимаясь спиной к ограде, медленно двинулся вдоль нее к той точке, откуда стрелял снайпер. И шаг за шагом, преодолевая десятилетия осторожности, вознагражден, у самой земли обнаружив в обветшавшей бетонной стене внушительный пролом с торчащими кусками ржавой арматуры.

В принципе, дилемма сохранялась: выставив наружу голову, можно остаться без головы, не выставив — остаться с носом. Я снова попытался vybrать среднеарифметическое и для начала высунул в дырку нос. Ничего не произошло, прежде всего потому, что с противоположной стороны кладбищенская ограда вся оказалась заросшей бурьяном. Осмелев, я продвинулся вперед, руками аккуратно раздвинул заросли, и теперь мне предстала облезлая пустошь, на противоположном краю которой возвышались ряды то ли складов, то ли гаражей — с позиции почти на уровне земли разглядеть точней было трудно.

Осторожно, боясь спугнуть противника, я повернул голову влево и обнаружил, что спугивать больше некого: буквально в паре метров от меня на пыльной утоптанной земле валялась снайперская винтовка "грендел" калибра 7,62 с глушителем и лазерным прицелом. Рядом у кладбищенской ограды возвышался рукотворный помост, сооруженный из доски, положенной на два больших деревянных ящика. В настоящее время уже пустой, разумеется. Пока я с той стороны забора терзался страхами и сомнениями, стрелок не колеблясь принял решение ретироваться и теперь находился под защитой каменных строений на противоположном краю открытого всем ветрам (и пулям) пространства. Вновь предоставив мне выбор: податься во весь рост и пойти через пустырь в психическую атаку либо признать наконец свое поражение. Но на сей раз, как ни было обидно и досадно, я сделал его без всяких колебаний: признал поражение.

И только много позже, уже в спокойной обстановке пытаюсь разложить происшедшее по полочкам, я обнаружил, что мне никак не удастся отделаться от еще одной, прямо скажем, не слишком гуманистической, но от этого не менее досадливой мыслишки.

Если бы киллер не промазал, у меня было бы одним подозреваемым меньше.

БЕНСОН И ХЕДЖЕС

В окошко мне было видно, как к дверям моей конторы подкатил для начала шестисестый "мерседес" цвета морской волны, а вслед за ним ослепительно белый джип "гранд-черочки". Из "мерседеса", однако, сразу никто не вышел, зато в джипе распахнулись все четыре дверцы, и оттуда, как горох из мешка, посыпались бравые ребята в одинаковых темных очках, с одинаковыми черными рациями в руках.

— Отряд н-не заметил п-потери бойца, — прокомментировал это явление выглянувший из коридора Прокопчик.

Один боди-гард скорым шагом заскочил в подъезд, а остальные мгновенно окружили кольцом обе машины, повернулись к ним спиной и взяли под наблюдение каждый угол нашего двора. После чего отворилась передняя пассажирская дверь "мерседеса", из которой вылез еще один телохранитель, тоже в очках, но по уверенным медлительным движениям видать, что главный, к тому же на этот раз уже не с ракетой, а с зонтиком. Задрав голову, он внимательно обвел взглядом окна и крыши окружающих домов, глянул зачем-то на небо и, хотя небосвод был абсолютно безоблачным, тем не менее зонтик открыл.

Только после всего этого откинулась наконец задняя дверь "мерса", и оттуда на свет Божий появилась лысина Григория Николаевича Забусова. Четыре или пять шагов до нашего парадного она проделала, прикрываемая наклоненным в сторону потенциальной опасности зонтиком, который должен был помешать снайперу прицелиться. Не знаю, прятался ли где-нибудь вокруг убийца, но банкиру этот путь удалось преодолеть целым и невредимым, и в мой офис он зашел уже один, без всякой охраны. Что могло свидетельствовать как о высокой степени доверия ко мне, так и о низкой по отношению к собственным топтунам, которых, видимо, совершенно не собирались посвящать в историю с наследством.

Когда Забусов позвонил по телефону и довольно безапелляционным тоном сообщил, что непременно желает встретиться со мной через тридцать минут, первым порывом было немедленно поставить его на место. Намекнуть на неотложные дела и назначить встречу в другое время. Но я сдержался.

Все-таки мы с ним вместе только что побывали под пулями, такими вещами легко не бросаются. Если, конечно, не он сам эти пули организовал.

Прокопчик открыл банкиру дверь и проводил его ко мне в кабинет. Словавшись сразу в нескольких местах, как складной метр, тот опустился в кресло напротив моего стола и стал осматриваться по сторонам. Вероятно, осмотр не привел его в большой восторг, спартанская обстановка моего офиса действительно свидетельствовала о том, что дела у нас идут ни шатко ни валко. Но на его откровенно оценивающий взгляд я ответил взглядом твердым и, надеюсь, гордым. После чего поинтересовался:

— Нуждаетесь в услугах частного детектива?

Его лысая физиономия осветилась подобием улыбки.

— Почему бы и нет? Я держу целую свору бездельников, называющих себя службой безопасности, но, насколько мог судить сегодня утром, грамотно себя повели именно вы.

Слушать комплименты приятно, но справедливость прежде всего. Поэтому я сказал:

— Один из ваших сотрудников тоже показал профессионализм...

Забусов сморщился, его болезненно-желтое безволосое лицо, как пустыня барханами, покрылось глубокими морщинами.

— Профессионализм ему бы удалось показать, оставшись в живых, — недовольно пробормотал он. — А мертвые квалификации не имеют. У них у всех одна профессия — мертвец. — Видимо, фраза оказалась ему забавной, потому что он, хихикнув, повторил: — Професси-

ональный мертвец. — Однако тут же, спохватившись, посерьезнел и сообщил: — Но мы сейчас толкуем не о нем, а о вас.

Банкир выжидательно замолчал, рассчитывая, быть может, на мою реакцию, однако ничего не дождался и продолжил:

— Давеча в церкви вы сказали, что расследуете смерть Кости Шурпина...

Здесь возразить было нечего, и я кивнул.

— Ну и какие результаты?

— Обнадеживающие, — сообщил я ему.

— Не хотите говорить. — Констатировав это, он откинулся на спинку кресла, словно располагаясь для долгой беседы. — Тогда я сам скажу. Перед тем как идти сюда, я был у Пирумова, и он мне все рассказал. И про то, как к вам попал ключ, и про то, что вы с самого начала не верили в самоубийство. Ну а теперь, после Малея... И этой стрельбы на кладбище... Только дураку может быть не ясно, что происходит. Вы уже знаете, кто убийца?

Сказано было полуутвердительно и весьма требовательно, как будто он интересовался у своего бухгалтера насчет квартального баланса. Я разозлился и ответил:

— Даже если б знал, вам не сказал бы.

Он снова разулыбался, сунул руку во внутренний карман пиджака, извлек оттуда толстую пачку долларов и, помахивая ею в воздухе, заговорщически понизил голос:

— А вы мне нравитесь. Считайте, что я вас нанял для расследования этого дела. Здесь десять тысяч. Хватит в качестве аванса?

Опять десять тысяч на аванс! Заколдованная сумма.

— Во-первых, у меня уже есть клиент, для которого я расследую это дело, — возразил я с достоинством. — Во-вторых...

— Во-вторых, не врите! — перебил он меня. — Ваш клиент умер, поэтому выражение "есть клиент" сюда не подходит. "Был клиент" — так вернее. Или вы хотите меня уверить, что отчитываетесь перед ним с помощью столотверчения?

Забусов снова захихикал над собственной шуткой, после чего продолжил уже без тени юмора:

— Я заказчик небедный, следовательно, хороший. К тому же в активе имеется то преимущество, что я живой. Хотя сегодня кое-кто и хотел убить меня либо кого-то из членов моей семьи. Сразу скажу, чтобы не было вопросов: да, я в состоянии нанять не такого, вроде вас, кустаря-одиночку, а получить в свое распоряжение любое, самое мощное детективное агентство. Да, собственно, и агентства не надо — достаточно щелкнуть пальцами, и вся московская милиция будет на меня работать. Надеюсь, это вы понимаете?

В ответ я умудрился кивнуть, одновременно пожав плечами, что можно было истолковать в любом смысле, нужное подчеркнуть: да, понимаю; понимаю, но сомневаюсь; сомневаюсь, что понимаю; от моего понимания, равно как и от моего сомнения, равным счетом ничего не зависит.

— Но я решил прийти к вам... — в голосе его появились успокаивающие, убаюкивающие нотки. — Потому что дело весьма деликатное, огласка здесь была бы излишней... Даже вредной! А вы все равно уже в курсе...

Казалось, его плешивая физиономия то наливается изнутри неярким огнем, то угасает, как желтая предупреждающая мигалка светофора на пустынном ночном перекрестке. На пустых перекрестках я привык не осторожничать. И ударил по газам.

— Так вы за что мне предлагаете десять штук баксов: за поиск убийцы или за то, чтобы я молчал?

Забусов огорченно насупил безволосые брови и заметил со вздохом:

— Экий вы приткий, право. Я же сказал: десять тысяч — это аванс. Найдете убийцу... Не столько самого исполнителя, сколько заказчика, разумеется, — получите еще... — он замаялся, и стало почти отчетливо слышно, как в голове у него щелкают, слегка искрясь, всякие там транзисторы и резисторы, — получите еще пятьдесят. Ну, а пока не найдете... — вероятно, тут лицо банкира, в переводе на обычную человеческую мимику, должно было приобрести лукавое выражение, — согласно профессиональной этике, вам придется соблюдать конфиденциальность.

Как он меня! И ведь не подкупаешься. Чистый выигрыш по очкам.

Теперь, если отказаться, получится, что я либо что-то скрываю, либо боюсь. А если согласиться, то выйдет, что меня, вернее, мое молчание, купили за десять тысяч. Ибо, судя по немыслимой сумме окончательного гонорара, вариант с поимкой мною убийцы как реальный в расчет не принимается. Я почувствовал, что меня задели за живое. Надо было немедленно уравнивать позиции, и я сказал:

— Хорошо, мы с вами подпишем договор. Но с двумя условиями. Первое. Я, конечно, не чту все статьи уголовного кодекса подряд, без разбора, особенно насчет неприкосновенности частной жизни и жилищ или там нарушения тайны телефонных переговоров, — профессия такая. Но когда мой клиент сам оказывается, например, убийцей, под условие конфиденциальности это не попадает. Правда, и на гонорар я в таких случаях не претендую. Договорились?

Банкир коротко дернул подбородком, что должно было, видимо, означать согласие.

— И второе. Сотрудничать так сотрудничать. Если хотите на самом деле убедить меня, что платите за работу, а не только затем, чтобы заткнуть мне рот, пожалуйста, ваш вариант ответа: кто убийца? Время пошло, в вашем распоряжении тридцать секунд.

Я демонстративно уставился на часы, а Забусов снова удрученно насутился и пробормотал:

— А вы и впрямь приткий малый... Но при всей вашей прыти вам бы надо понимать, что если б я твердо знал кто, мы бы здесь с вами лясы не точили. А вот предположить... предположить могу.

Я весь, что называется, превратился во внимание, но Забусов не торопился продолжать, словно все еще раздумывал: говорить — не говорить. Наконец нехотя (впрочем, настолько нехотя, что наигрыш был очевиден) пробормотал:

— У Андрюши Эльпина сейчас положеньице — не позавидуешь... В двух словах и не опишешь.

— Попробуйте в трех, — подбодрил я его.

— Его сейчас вытесняют из рекламы сразу на двух телеканалах... Да что "вытесняют"! Гонят взащей, надо прямо говорить. Там очередная перестройка, хотят контрольный пакет отдать какой-нибудь одной солидной компании, а у него, похоже, не хватает средств... — Банкир замолчал, в уме прикидывая, сколько именно, и произнес таким тоном, словно речь шла о том, что означенный шоумен выскочил из дома с одной лишь мелочью в кармане и ему не хватает на сигареты: — Миллионов двадцать пять—тридцать. Долларов, разумеется.

Совпадение необходимой Эльпину суммы с оценкой арфьевского наследства выглядело впечатляющим, что, вероятно, отразилось на моем лице. Но следующим своим сообщением банкир еще подбавил перца:

— В сущности, речь идет не о том, чтобы прикупить или не прикупить выгодный бизнес, нет. Вопрос стоит так: либо он наскребет денег и получит этот контрольный пакет, либо потеряет все, что имеет, потому что его просто выкинут вон. В течение ближайших трех-четырёх недель должно определиться, останется он на плаву или пойдет на дно, то есть окажется без гроша. Понятно?

Но я упрямо покачал головой.

— Непонятно.

— Что именно? — сварливо поинтересовался он.

— Именно непонятно следующее: корыстный мотив — условие, как говорят математики, обязательное, но недостаточное. Я вообще мало знаю людей, которым совсем были бы не нужны деньги. Мне, например, нужны. Вам, я думаю, тоже. Но далеко не каждый по этому поводу режет родственников в подворотнях и швыряет их с шестого этажа.

Глядя на него незамутненным взором, я откровенно строил из себя дурачка, и он, судя по тяжелому ответному взгляду, хорошо это понимал. Но мне было наплевать, мне важен был результат, и я его получил.

— Вам что, нужно объяснять, сколько в наше время стоит убить человека? Или вы думаете, что трудно найти исполнителей? Вернее, посредников, которым только мигни — слетятся, как мухи на мед? А что касается того, каждый или не каждый... — Забусов мрачно замолчал, потом продолжил как бы через силу: — Чего уж там, родственников не выбирают. Откройте газеты за прошлый год, да, пожалуй, и за позапрошлый тоже. Насчитаете, в общей сложности, три скандала, связанных с Эльпиным. В каждом случае его подозревают в устранении конкурента, от всех смертей сказочно выигрывает только он, во всех случаях, сами понимаете, ничего не доказано. А Андрюша еще и в судах выиграл пять дел насчет чести и достоинства. Теперь, наконец, понятно?

— Да, — кивнул я. — Но раз у нас с вами даже и кандидат есть, то возникает еще один вопросец. Пока чисто гипотетический. Пока. Что мы будем делать, если у меня на руках, вопреки вашему пессимизму окажутся все-таки веские доказательства и я смогу сказать: вот убийца, а?

Лицо Забусова словно бы подернулось дымкой, желтый фонарь расплылся в тумане. Даже голос зазвучал глуше, как будто шел откуда-то из-за поворота. Хотя сами слова были произнесены твердо и даже с нажимом:

— Это уже будет не ваша проблема.

Лично я придерживался прямо противоположного мнения, но не в моих правилах чересчур горячо делить шкуру еще не найденного ее обладателя. Да и десять тысяч зеленых не казались мне настолько лишними в бюджете фирмы, чтобы сейчас пускаться в теоретические споры на тему "если бы да кабы".

После того как с необходимыми формальностями было покончено, я сказал то, что обязан был сказать. Что-то вроде обязательной предполетной лекции стюардессы о пользовании надувным спасательным жилетом в случае падения авиалайнера на воду:

— Ну, раз вы теперь мой клиент, выслушайте совет: берите семью и уезжайте куда-нибудь, пока вся эта история не закончится. Нельзя быть спокойным до тех пор, пока убийца не пойман. Если уж он начал вас убивать, так на полпути не остановится, никакие зонтики не помогут.

— Сам бы рад, — пробормотал в ответ Забусов, снова уплывая куда-то лицом, на котором глаз никак не успевал сфокусироваться, как на уходящем в глубь колодца медном пятаке. — Сам бы рад, да дела не отпускают. Надеюсь, мне обеспечат надежную охрану.

— А вашей жене? Насколько я понимаю, по формальному признаку nasledница-то именно она?

— Да! — каркнул он неожиданно резко, так, словно я зацепил больное место. — Да! Ей тоже — охрана!

После чего банкир встал и, попрощавшись кивком, вышел, причем процедура зеркально повторилась: сначала один из топтунов выскочил из подъезда, на ходу бормоча что-то в рацию, наружная охрана напряглась и подтянулась, и наконец вышел сам хозяин, с боков прикрываемый телохранителями, а с воздуха зонтиком.

Мои же ощущения лучше всего выразил Прокопчик, сразу вслед за этим явившийся из соседней комнаты, сквозь тонкую перегородку которой, разумеется, слышен был весь разговор:

— П-поздравляю с новым главным п-подозреваемым. Теперь их у тебя д-двое. Еще одно и-небольшое усилие, и опять будет т-три. П-полный комплект. И все г-главные.

Тима и не подозревал, как он в своем сарказме на сей раз оказался близок к истине.

Чтобы в этом убедиться, мне не потребовалось совершать слишком длинных путешествий: принадлежащий господину Блумову салон иномарок "Авто-Мир" находился через две улицы. Но сперва понадобилось преодолеть иной барьер — в виде стойкого нежелания вышеназванного господина со мной встретаться.

Телефонная просьба об аудиенции наткнулась на глухую броню не слишком вежливого отказа. Не помогли никакие интригующие намеки, и в конце концов под угрозой того, что трубка вот-вот будет попросту брошена, пришлось подключить к делу технику. Уже на второй минуте демонстрации некой весьма пикантной аудиозаписи резкости и самоуверенности в голосе Бобса поубавилось, и он согласился на встречу. Но подобные люди так просто не сдаются, и мне было дано убедиться в этом, едва я переступил порог блумовского офиса.

По всей видимости, располагался он в одном из бывших многочисленных режимных КБ, когда-то работавшем на оборону великой империи, но потом, в силу известных обстоятельств, потерявшем сначала значение, за ним смысл, потом, как следствие, финансирование, а затем соответственно большинство персонала и, наконец, самое себя. Оставив своего "кадета" за квартал от названного адреса, я дальше отправился пешком и поэтому получил достаточно полное представление об останках этого когда-то гордого и могущественного заведения. Единственное, что сохранилось в неприкосновенности, это условия для того самого "режима": высокий каменный забор с колючей проволокой поверху, система пропускных пунктов через каждые двадцать шагов, зарешеченные окна, стальные двери, обширная, хорошо просматриваемая (и, будьте спокойны, простреливаемая) с нескольких сторожевых вышек территория.

Прежде все эти прелести худо-бедно обеспечивали хранение военной тайны, а теперь тоже пригодились — но уже для сохранения других, более отвечающих запросам времени интересов. На двух или трех проходных внимательные дяди в полувоенного образца френчах и с ястребиными взорами (вот кого не уволили новые хозяева из всего многотысячного творческого коллектива!) каждый раз дотошно сличали соответствие моей физиономии фотографии на документе. И наконец в сопровождении специально вышедшего встретить меня у последней заставы теперь уже молодого представителя "секьюрити", как следовало из пластиковой таблички на лацкане его не в пример вертухаям старой формации лощеного современного костюмчика (что, впрочем, являлось единственным, пожалуй, отличием — глаза оставались те же, ястребиные), я попал в главный корпус (бетон, стекло, металл) и был доставлен в приемную размером с волейбольную площадку, где мне строго указали кресло, в которое сел, и встали рядом, беззастенчиво давая понять, что приглядывают за каждым моим движением. Я понял, что противиться бессмысленно, опустил, куда указано, после чего, как примерный школьник, положил руки на колени и стал ждать, когда вызовут к директору.

Но не тут-то было. В приемной появился еще один молодой ястребинный с табличкой "секьюрити" на строгом сером пиджаке, да вдобавок с металлоискателем в руках. Меня попросили встать, обшарили с помощью прибора, но на этом не успокоились и попросили выложить на столик все из карманов. Я покорно повиновался, тем более что выкладывать особенно было нечего: ключи на брелке, авторучка, зажигалка "зиппо", пачка сигарет "Бенсон энд Хеджес", бумажник и носовой платок.

Под моим ироническим взглядом парни вдвоем изучили мое имущество со всей возможной дотошностью — авторучку развинтили, зажигалку вытащили из корпуса, пытались разобрать брелок в виде пластмассового колеса с эмблемой "опеля", но он оказался цельнолитым. На мое, сознаюсь, ерническое предложение разуться и, если прикажут, раздеться до трусов никакой реакции не последовало, но тем не менее меня еще раз проверили металлоискателем, разрешили собрать выложенное для проверки имущество и только тогда молча указали дверь, ведущую в кабинет генерального директора.

Это помещение показалось мне размером уже с небольшое футбольное поле. Хозяин сидел за обширным письменным столом на фоне окна во всю стену, за которым открывался вид на то, что вполне можно было назвать принадлежащим ему автотранспортом без всяких кавычек: под открытым небом в решетчатых загонах рядами стояли представители населяющей этот мир фауны всех классов, родов, семейств, видов и подвидов — американские "кадиллаки", немецкие "мерседесы", французские "ситроены" и другие, совсем уж экзотические звери вроде итальянской "ланчи". На фоне всего этого многоцветья лицо Бобса казалось особенно сумрачным и неприветливым. Он даже не соизволил подняться навстречу, вместо приветствия указав мне на одинокий стул посреди комнаты метрах в пяти от начальственного стола, установленный, подозреваю, специально к моему приходу.

Удрученно покачав головой, я сел на него и сочувственно поинтересовался:

— У вас что, мания преследования? Ваши архаровцы с таким энтузиазмом искали у меня подслушивающее устройство, будто думали, что я пришел давать взятку. Или брать. Так вот, сразу хочу сказать: не надейтесь!

— Хватит паясничать, — мрачно прорычал Блумов, и мне показалося, что привычно зализанные на его макушке волоски приподнялись, как наэлектризованные. — С вами тут станешь психом! Откуда у тебя эта пленка?

Решив пока не обращать внимания на его грубости, я постарался в двух словах ответить на вопрос. Рассказал всю историю с Фиклиным. Бобс помрачнел еще больше и выразил свое отношение к моему рассказу кратко и смачно:

— Сволочь!

— Кто? — уточнил я.

Он подумал и злобно выдохнул:

— Оба!

— Полегче, полегче, — сказал я с укоризной. — Обратите внимание: я ведь к вам пришел, а не к Маргарите Робертовне.

Блумов посмотрел на меня с ненавистью.

— И сколько ты хочешь?

Я вздохнул.

— Вам же еще по телефону было сказано, чего мне надо. Задать несколько вопросов на совершенно другую тему. А пленка здесь ни при чем, просто, извините, не было другого способа овладеть вашим вниманием. Считайте, что ее нет.

— Что значит "нет"? — Бобс все равно продолжал смотреть на меня волком. — Если ты отдашь ее этому... этому... — он даже задохнулся, не находя подходящего определения своему бывшему коммерческому партнеру.

Я начинал отдавать себе отчет, что мы с автомобильным дилером говорим на разных языках: похоже, он органически не способен был понять, как такое может быть, чтобы кто-то добровольно отказывался от шанса выжать из него деньги. Надо было искать общую почву под ногами. Для начала я тоже перешел с ним на "ты".

— Не отдам, — твердо заявил я. — При одном условии: ты мне назовешь убийцу Шурпиных и Малая.

По крайней мере, мне удалось его слегка ошарашить.

— Ты что, спятил? — поинтересовался он недоуменно, но без прежней агрессивности. — С чего ты взял, что я его знаю?

Если он лицедействовал, то довольно умело.

— Ну, может, и не знаешь, — легонько сдал я назад. — Может, предлагаешь. Я же сказал: хочу поговорить, задать несколько вопросов.

Было видно, что Бобс подостыл и призадумался.

— Ладно, — произнес он наконец. — Задавай свои вопросы.

Я поудобнее уселся на стуле, закинул ногу на ногу, непринужденно достал сигареты и закурил. После чего спохватился и протянул пачку по направлению к Блумову:

— Не желаете?

— Не желаю, — отрезал он. — Хочу жить долго.

— Тогда вопрос первый: почему вы с женой в милиции ничего не сказали о мотивах убийства Наума? И сразу второй: как вы собираетесь извлечь его ключ из депозитной ячейки в банке?

— Экий ты ушлый малый... — на этот раз во взгляде Бобса мне почудилось что-то похожее на уважение. — Ну положим, насчет мотивов тебе твои кореша в ментовке сказали, а вот как ты узнал про банк? Нет, правильно я тогда говорил, что ты у Ньюмы "жучка" воткнул!

Ни первое (несправедливое), ни второе (вполне отвечающее действительности) предположения я комментировать не собирался. Тем более что про милицию сделал вывод из простого факта: если там уже начали связывать смерти Шурпиных и Малая, я уже давно должен был бы давать показания господам Мнишину и Харину. А что касается банка — это и вовсе было моим голым предположением, ни на чем, кроме просьбы Арефьева к наследникам, о которой я узнал от Пирумова, не основанным.

Проще говоря, я взял Бобса на пушку, а он купился. Поэтому я промолчал, всем своим видом давая понять, что жду ответов на конкретные вопросы.

Блумов тоже замолчал, насупись, а потом все-таки неохотно выдавил из себя, начав с конца:

— Ничего из банка мы извлекать не собираемся. Когда придет время, соберутся-то все свои люди, можно сказать, родственнички, — при этих словах он скривил губы: то ли усмехнулся, то ли оскалился, — и решим соответственно, по-родственному. Например, дверь сломаем. И дружкам твоим в красивых фуражках я ничего не сказал по той же причине, что это наше семейное дело. Сами разберемся.

— Значит, дверь сломаете, — повторил я. — Тогда вопрос третий: а как будете делить то, что было предназначено Шурпиной и Малюю? Пропорционально?

И тут автомобильный торговец впервые сорвался.

— Доля Малая наша, ясно? Его сестра — его наследница! — заорал он, надсаживаясь. — И вообще... Твое какое собачье дело? Тебя туда не пустят, не рассчитывай! Я же сказал: разберемся сами!

Произнеся все это, Бобс уставился на меня такими холодными недобрыми глазами, с таким выражением, что на морду ему смело можно было вешать табличку "Не влезай — убьет!" И я вдруг вспомнил, что глотающий слезы и сопли Фиклин рассказывал мне, как однажды кто-то из недругов

гада Борьки Блумова через забор закидал его стоянку предназначенных на продажу роскошных автомобилей гранатами. Шуму было сначала на весь квартал, а потом, благодаря газетам, на весь город. Так Бобс даже не пустил людей из угрозыска на территорию, сказал: все в порядке, никого не убило, а насчет остального не беспокойтесь. Добавив примерно то же, что сейчас мне: сами разберемся. И, по слухам, действительно разобрались.

В разных точках города взорвалась еще пара-тройка иномарок, правда, уже на этот раз кое-кого убило. Зато гранат через заборы больше никто не бросал.

— Хорошо, хорошо, — кивнул я успокоительно, хотя на самом деле ничего хорошего ни в Бобсе, ни в его специфических способах самому во всем разбираться не усматривал. — Будем считать, что на первые три вопроса ответы получены. Вопрос четвертый и последний: кто же все-таки, по-твоему, убийца?

— Да кто угодно! — фыркнул Блумов, успокаиваясь по мере изменения неприятной ему темы.

— Кто угодно — значит, и ты? — спросил я с невинным видом. — Доля Шурпиной ведь делится теперь между всеми оставшимися, а Малей и вовсе отходит к вам, так?

Он снова начал наливать кровью, разевая рот, как приготовленная к потрошению рыба, и я поспешил отступить:

— Спокойно, спокойно, никто не ждет, что ты прямо так и заявишь: "Я — убийца". Но если не ты, то кто же?

Заметным даже со стороны усилием воли Бобс привел себя в чувство и сообщил уже без излишней экзальтации:

— Хоть бы и эта крыса, Гришка Забусов!

— Забусов?! — удивился я. — Солидный человек, президент крупного банка...

— Ага, президент, — гоготнул Блумов. — Только ты пойдй разузнай, на чьи денечки банк-то открылся. И заодно спроси, какая у этого президента была кликуха, когда он еще букмекером на бегунках крутился. Гнус, вот как его люди-то называли!

Я молчал, на этот раз действительно пораженный.

А Бобс, довольный произведенным впечатлением, продолжал рассказывать. У букмекера, или просто бука, такая работа, что кто-то из тотошников постоянно ему должен. И естественно, кто-то не отдает. Еще в те далекие социалистические времена Григорию Забусову по кличке Гнус понадобилась хорошая "крыша", способная одновременно выбивать долги и защищать от возможных наездов недовольных должников. И он, разумеется, такой крышей обзавелся: по словам Блумова, его патронировал сам ставший впоследствии знаменитым московским уголовным авторитетом бывший боксер и каратист Пиночет. А когда в стране зашевелилось, наконец, выпущенное из глубокой тени частное предпринимательство и всем вокруг понадобились деньги, Гнус оперативно пере-квалифицировался и начал давать деньги в рост, тем более что опыт выбивания долгов у него за спиной имелся отличный. И хотя Пиночета года четыре назад застрелили при разборке в кафе "Лебедь", а сменивший его в качестве "крыши" над Гнусом не менее известный бандит Чапа про-

шлым летом умер от передозировки наркотиков, бизнес Забусова не только не пострадал, а, наоборот, вырос и качественно видоизменился: из подпольного ростовщика Гнус превратился во вполне легального и уважаемого банкира. Причем Блумов не сомневался, чьи именно деньги составили основу учредительного капитала и соответственно кому идет львиная доля прибыли: в совете директоров "Генерал-банка" и сейчас состоят два бандитских авторитета и даже один вор в законе.

— Но они его всегда держали на коротком поводке, все это одна видимость, своих денег у него немного... — с презрительной миной подвел итог Бобс, но дальше его губы изломались уже в недобрую усмешку: — А тут сами знаете, какой куш! Да он бы маму родную зарезал по такому случаю, не то что двоюродного брата жены!

Я в задумчивости снова закурил, сигарета оказалась последней, я сконкал пачку, искал глазами, куда ее выбросить, и обнаружил мусорную корзину в углу метрах в четырех от меня. Прицелился и точным броском отправил ее туда.

— Ловкач, — с кривой усмешкой прокомментировал Блумов. — Если ты и в делах такой же меткий...

— Такой же, — обнадежил я его.

— Еще вопросы есть? — спросил он хмуро.

— Да, один. Хочу все-таки понять: почему ты так боишься именно моих "жучков"? Меня ведь твоя коммерция не волнует, я известно чем интересуюсь. Выходит, тебе есть что скрывать?

— От вашего шпионского племени надо скрывать все, что можно, — тяжело вздохнул Бобс, но мне показалось, что он слегка отвел глаза. — И кабы у тебя не было этой пленки, ты бы у меня узнал, чего я не боюсь. Но все равно запомни: всплывет она — ты у меня тоже всплывешь уже на следующий день. Кверху брюхом в Москве-реке.

Быть может, где-то под столом у него была тайная кнопка, потому что Блумов поднялся на ноги, давая понять, что аудиенция окончена, и сейчас же из-за дверей появился очередной представитель отряда ястребиных, который отконвоировал меня к выходу на улицу. Последнее слово осталось-таки за автомобильным дилером. Во всяком случае, так ему, наверное, представлялось.

Я же надеялся, что если не в буквальном, то хотя бы в переносном смысле оно останется за мной. Главная моя надежда была на миниатюрный микрофон с передатчиком, который я загодя упрятал на дно лежащей сейчас в мусорной корзине пустой пачки из-под сигарет "Бенсон энд Хеджес".

ФЕРМОПИЛЬСКИЙ ПРОХОД

Болтун Прокопчик в этот раз оказался-таки, к моему глубокому разочарованию, прозорливцем. Судя по собранным на текущий момент сведениям, вся троица — банкир, автодилер и шоумен — имела, по крайней мере, возможность, а каждый в отдельности еще и свой персональный мотив для убийства наследников-конкурентов. Да и покойный Котик был прав: к этим столпам общества так запросто не подступишься. Они не то, что широкопрофильный брокер Фиклин, сами на дело не ходят. Да случись чего, их

и не прижмешь в темном углу, не испугаешь паяльной лампой — скорее они сами кого хочешь напугают до смерти.

Если в подобной ситуации и можно что-то выяснить доподлинно, то бишь с получением хоть каких-то объективных доказательств, то все способы достижения этого были изобретены задолго до моего рождения и почему-то как один определяются исключительно в военных терминах типа: "разведка боем" или, например, "ложный удар". Цель и смысл у них в принципе одни и те же — своими действиями взбудоражить противника и спровоцировать его на встречные активные ходы, проследив за которыми можно получить ценную разведывательную информацию о вражеских силах, планах и вообще разных секретах. Собственно, я уже достиг этого однажды с Малеем и теперь собирался повторить то же в отношении Бобса: обозначил свое присутствие, слегка попугал, чуть-чуть пошантажировал. Одновременно расставил силки и теперь ожидаю, попадется ли в них что-нибудь стоящее. Познакомившись в первом приближении с нервическим характером господина Блума, я надеялся на довольно скорую реакцию с его стороны.

Обо всем этом я размышлял, неспешно дрейфуя в сторону оставленного неподалеку "кадета", где, согласно моим чаяниям, под передним сиденьем уже должен был вовсю крутиться магнитофон, записывающий разговоры в кабинете хозяина "Авто-Мира". Чтобы оказаться у цели, мне оставалось свернуть за угол, и я, скорее не из каких-то конкретных опасений, а просто по многолетней привычке делать это, находясь на работе, проверился. Нагнулся поправить шнурок ботинка около косо припаркованного к тротуару "Жигуленка" и в его боковом зеркале сразу увидел "хвост".

Ну, вот и реакция. Правда, не совсем такая, как ожидалось, но уж что скорая — несомненно. Даже, пожалуй, слишком.

Это, конечно, было неприятно. И главная из неприятностей — с "хвостом" мне нельзя к машине. Хорош бы я был через пару минут в своем "кадете", цепляя наушники на голову, чтобы проверить, идет ли запись! На глазах у "хвоста"...

Я срисовал его еще у проходной, в тот момент, когда покинул пределы строго охраняемой автомобильной зоны. Коротышка в линейной джинсовой курточке с такой же застиранной почти до полной бесцветности физиономией подпирал стенку на противоположной стороне переулка. Он автоматически запомнился мне именно потому, что стоял, а не двигался, как прочие прохожие. Так меня научили много лет назад: выходя на улицу, отметь всех, кто неподвижен, а спустя некоторое время постарайся определить, кто из них тронулся за тобой. Разумеется, хороший, профессиональный "хвост" в свою очередь постарается не броситься тебе в глаза, найдет укрытие или, ожидая тебя, будет все время находиться в движении. Но мой торчал столбом на одном месте, не очень искусно делая вид, что палится куда-то в небеса. Это хорошо, потому что может означать, что я имею дело не с профи. Если так оно и есть, оторваться от них будет легко. Но вот надо ли?

Для начала имело смысл, извините за невольный каламбур, проверить "хвост" на вшивость: во-первых, его качественные характеристики, во-вторых, количественные (сколько человек меня ведут), и, наконец, при удачном стечении обстоятельств, попытаться выяснить, откуда, что называет-

ся, ноги растут. Приведя шнурки в порядок, я разогнулся и неторопливо двинулся дальше.

Как ни странно, первыми явились ответы на два последних вопроса. Явились в образе мрачного детины с запавшей мне в память литой и, как всякая чугунная болванка, маловыразительной мордой, которую Прокопчик в свое время художественно запечатлел сквозь бликующее стекло "безмущки". Остановившись у палатки уличного книготорговца, я минуты три, если не больше, лениво разглядывал цветастые обложки, один фантастический триллер даже повертел в руках, после чего резко положил его на место, посмотрел на часы, словно вспомнил, что куда-то спешу, и взял с места в карьер. Уже через десять шагов определил, что мой маневр вынужденно повторили еще трое: кроме чугуннолитого знакомца и застиранного коротышки дернулся поджарый жилистый парень в буром пиджаке. Из всего этого я сделал вывод, что следят за мной все те же ванинские бандиты, которые потеряли меня тогда на пути от онкоцентра. И их, как минимум, больше двух.

Собственно говоря, напрашивались и другие выводы. Пареньки действительно не профессионалы, и уйти от них труда не составит. Но сейчас меня занимало не это. Меня занимала мысль, что все, кажется, встало наконец на свои места.

Это ванинские стерегут в больнице старика Арефьева от непрошенных интересантов. А тот, кто искусственно поддерживает в умирающем миллионере жизнь, одновременно наняв охранять подходы к нему одну из самых крутых банд в городе, и есть выигрывающий время для новых преступлений убийца. И это ванинские же ведут меня от дверей офиса Блумова.

Значит, все-таки Блумов. Кобра гремучая, как нежно охарактеризовал его мой приятель Фиклин. Блумов, которому "живую душу погубить, что водички попить". Бобс "разберемся сами". Похоже, я все-таки вычислил его, и теперь дальнейшее — дело техники. Вернее, дело за техникой. Надо отрываться от этих филеров-любителей и как можно быстрее возвращаться к "кадету". У меня аж зуд в ладонях начался от нетерпения — так хотелось немедленно узнать, не занесло ли уже чего интересного в мои электромагнитные сети.

Но, к сожалению, слишком торопиться при этом я не имел права: уходить от "хвоста" следовало без излишней экзальтации, их добросовестные насчет наших отношений заблуждения в будущем мне еще могли пригодиться. Поэтому я взял себя в руки и приступил к делу неторопливо, со всей серьезностью.

Прозрачный вечер густел на глазах. Но до настоящей темноты еще было далеко, поэтому просто потеряться где-нибудь в проходных дворах мне не удастся, придется применять иные способы. Лучше и эффективней всего было бы крутануть примитивный "сквозняк" — войти, скажем, в кафе, магазин или парикмахерскую, а выйти с другой стороны через служебный вход. Район был мой, знакомый с детства, и этот вариант на первый взгляд представлялся самым легким и простым. Но только на первый.

Уже направившись фланкирующей походкой к известному заведеньицу, во дни моей юности бывшему безымянной общепитовской столовой, а в последующей своей реинкарнации ставшему артистическим ресторани-

ком с элегантным названием "Три О", я на полпути внутренне замер. То есть ноги мои все еще двигались в заданном направлении, по-прежнему имитируя рассеянную походку, но я уже знал, что "сквозняк" не годится. Сейчас мне, как лисице, надо не просто уйти от охотников, но еще и постараться увести их от норы, то бишь от "кадета". Увести подальше и только там потеряться уже окончательно.

В этом случае выбор сужается. Метро — отличный способ оторваться, можно спуститься по эскалатору и тут же по другому подняться, можно заклинить ногой дверь и выскочить из вагона, когда поезд уже тронется, есть и еще несколько столь же простых, сколь действенных способов, но все они не подходят к данному случаю, ибо явно демонстрируют мое желание избавиться от "хвоста". Срочно требуется что-то иное.

Переулочек кончился, я оказался на углу проспекта и увидел довольно необычную для этого времени суток густую толпу, прущую по тротуару, как вода в половодье, со стороны расположенного поблизости стадиона, где, вероятно, только что закончился матч. К остановке подошел троллейбус, и возбужденные любители футбола, толкаясь, стали набиваться в него. Задние бесцеремонно напирала, уминая передних, даже снаружи было видно, что в салоне уже не протолкнуться, и я понял, что вот он, мой шанс. Попробовав отрегулировать приток пассажиров, водитель закрыл переднюю дверь. Тут я ускорил шаг, вспомнил молодость и с разгону ввинтился в плотную людскую массу, осаждающую хвостовой вход.

Выяснилось, что это не так легко, сказывалось отсутствие в последние годы ежедневных когда-то тренировок, однако я справился. Во мне проснулся здоровый азарт, пришлось двумя руками уцепиться за поручень, надавить плечом, боднуть кого-то головой, но в конце концов я все-таки оказался на последней площадке. С сожалением отметил, что по крайней мере Бурый Пиджак и Чугунная Болванка успели последовать моему примеру. Куда делся Линялый, я сразу определить не успел и было обрадовался, что одним филерком у меня теперь за спиной меньше, но скоро выяснилось, что торжествовать рано. Едва троллейбус тронулся с места, в заднем стекле я увидел знакомый зелено-бутылочный нос BMW-320 и сделал огорчительный вывод, что меня ведут несколько большими силами, чем мною предполагалось.

Ну что ж, не остается ничего иного, как начать резать "хвост" по частям. Энергично заработав локтями, я стал пробираться в глубь троллейбуса.

Путь оказался, мягко говоря, тернист. Сжатая под большим давлением масса болельщиков состояла главным образом из довольно нехилых мужиков, взвинченных только что закончившимся зрелищем, и проталкиваться сквозь пропахшие потом, чесноком и пивом тела было делом не самым легким и приятным. Мне отдавили ноги, а пару раз вполне чувствительно заехали локтем по ребрам, еще отлично помнящим вчерашнего Фиклина со "слеппером". Но игра стоила свеч: моим филерочкам, которые тоже яростно продирались мне вслед, доставалось еще горше от разъяренных мной пассажиров, ребятки постепенно отставали, и можно было надеяться, что, когда на очередной остановке я предприиму последний рывок к передней двери, они за мной не успеют,

попросту застряв в вязкой человеческой пробке. А если и успеют, то не все. Периодически, чтобы мои передвижения не носили внешне чересчур целенаправленный характер, я останавливался, краем глаза поглядывая за своими опекунами. Вот во время одной подобной передышки, опустив глаза, я и увидел нечто такое, от чего на лбу у меня выступила мгновенная испарина: буропиджачный тип сжимал в правой руке нож.

Это несколько меняло дело. Да что я говорю ерунду: это меняло его в корне! Жилистый парень держал нож пальцами за рукоятку так, что лезвие уходило ему под рукав пиджака. Так оружие держат, готовясь нанести удар внезапный и коварный. И у меня не было сомнений, в кого он будет направлен. Значит, это не "хвост". Это мои убийцы.

Наверное, при этой мысли я отчасти утратил над собой контроль и не успел отвести глаза. Бурый Пиджак проследил за моим взглядом, застывшим на его руке, и по выражению злой досады, перекосившему его морду, стало ясно, что все, игры кончились. Уже больше не таясь друг от друга, мы одновременно рванулись к выходу, и пара метров, разделяющая нас, вполне могла стать той дистанцией, которая отделяла мою жизнь от смерти.

На людной улице резать меня не очень-то сподручно, а вот сейчас, в людской давке, никто ничего даже не заметит. Троллейбус уже подкатывал к очередной остановке, когда между мной и передней дверью оставалось всего несколько человек. И тут на моем пути встала спина, которая умудрялась загораживать практически весь проход. Это была не спина, а китайская стена, которую ни обойти, ни объехать. Здоровенный, как высоковольтная опора, дядька в мятой серой рубаше с пропитанными потом подмышками держался раскидистыми ручищами за металлические поручни сразу с обеих сторон прохода и явно не собирался меня пропускать.

— А ну осадн, — не посчитав нужным даже обернуться, пророкотал он в ответ на мои тщетные попытки взять приступом охраняемый им рубеж. — Небось все тут сходим.

Вы-то тут сойдете, а я-то тут останусь, мелькнула полная безнадежности мысль. Почти физически ощущая, как нож вот-вот с хрустом войдет мне под лопатку, я последним отчаянным усилием нырнул вперед, буквально по головам возмущенно орущих, толкающих и матерящих меня граждан, мирно сидевших до того на передних местах, проскочил, протиснулся, протырился к выходу и, едва дверь с усталым вздохом отехала в сторону, натуральным образом выпал из троллейбуса на асфальт.

Но залеживаться в мои планы не входило. Вскочив на ноги, я резво бросился вперед по ходу движения, потому что в противоположную сторону бежать не имело смысла: там могла ждать зеленая "безмуха". Обернувшись на бегу, я увидел, что и Бурый Пиджак, и Чугунная Болванка несутся за мной. Впрочем, когда позади осталась первая стометровка, я, глянув вперед, обнаружил прямо по курсу Линялого и рядом с ним еще кого-то, чьи очертания из-за того, что все прыгало в глазах, было не разобрать: надо полагать, они на машине обогнали нас и теперь вышли для торжественной встречи. Времени на обдумывание, что делать, практически не оставалось. Цейтнот.

Спереди и сзади люди, которые хотят меня убить, слева сплошной поток несущихся по проспекту машин, справа забор какой-то стройки с распахнутыми по широкой российской привычке воротами. Цугцванг.

Кругом по тротуару брели озабоченные собственными делами пешеходы, мимо катили автомобили, но у меня сразу сложилось в голове, что на помощь со стороны рассчитывать не приходится. Если я хоть на секунду остановлюсь, чтобы кому-то что-то объяснить, все произойдет так быстро, что никто не успеет не только помочь, но даже понять. В последней безумной надежде я еще раз окинул взглядом окрестности в поисках хоть какого-нибудь патрульного, хоть гаишника на худой конец. И не найдя, выбрал ворота.

Может, показалось, а может, и впрямь на мелькнувшей передо мной в последний миг неотчетливой, как смазанная фотка, роже Линялого сияла злорадная ухмылка. Да, охотники загнали зверя в капкан и теперь могли ликовать.

На стройплощадке гонка резко снизила темп, из спринтерского забега превратившись в кросс по пересеченной местности. Я бы сказал, очень сильно пересеченной. Похоже, это вообще не было стройкой в обычном смысле слова, а, скорее, реконструкцией старинной пятиэтажки — все пространство перед кряжистым, потемневшим от времени каменным домом было завалено его вывернутыми наружу внутренностями. С ходу перемахнув через две кучи мусора, на третьей я споткнулся и полетел на землю, больно ударившись коленкой и грудью об раскиданные повсюду кирпичные обломки. Впрочем, моим преследователям приходилось не легче, поэтому мне удавалось держать прежнюю дистанцию между нами до самого дома. Но когда до ближайшего парадного с сорванной дверью, зияющего черным провалом, как разинутый рот удавленника, оставались считанные метры, у меня снова забились в голове уже не мысли даже, а какая-то дробная морзянка из отдельных слов-понятий: куда? — вокруг! — успею? — нет!!! — в дом, наверх!..

И я прыгнул в этот провал, как в омут, пролетел четыре этажа и остановился только потому, что дальше двигаться не мог, не хватало дышалки.

Но внизу уже торжествующе громко топали несколько пар ног, и надо было на что-то решаться. В мутном свете, едва проникающем сюда из выломанных окон, я огляделся и обнаружил, что стою на площадке, чуть не до потолка заваленной битым кирпичом. Наверное, его выволакивали из уходящих вправо и влево квартир и сваливали здесь до тех пор, пока не образовались две огромные груды, между которыми оставалась лишь небольшая тропка.

Что там дальше? Еще один этаж? И крыша?

А потом что? Красивый полет над вечерним городом?..

Топот приближался. В пролете уже показались первые макушки охотников за моей жизнью. Вдруг ощутив в себе поднывающую откуда-то из генных глубин первобытную ярость своего хищниками загнанного на скалу пещерного предка, я схватил здоровенный обломок стены и швырнул его вниз. Не знаю, удалось ли мне в кого-нибудь попасть, но

грохота и пыли поднялось предостаточно. А главное, преследователи сдали назад, и оттуда, из-под лестницы, послышалась глухая ругань.

— Давай по одному, обормоты! — крикнул я, воодушевленный успехом, взвешивая на руке новый обломок. — Тут на всех хватит!

Однако обормоты не торопились в атаку.

Тогда, на всякий случай, чтоб не расслаблялись, я один за другим отправил в пролет еще несколько внушительных снарядов, но никакого адекватного ответа не получил. Похоже, у них либо не было при себе ничего огнестрельного, либо они все-таки побаивались затевать пальбу посреди города. Однако расслабляться не следовало и мне.

Я отступил назад по узкому проходу между пирамидами из битого кирпича таким образом, чтобы в случае чего укрыться за ними от пуль, и, не теряя времени, принялся на ощупь отбирать подходящие каменные куски и складывать их рядом, чтоб были под рукой. Одновременно я напряженно прислушивался к доносящимся снизу звукам, судя по которым там все-таки происходило какое-то движение, из чего следовало заключить, что противник огню не сдался, а лишь отошел, готовя контрнаступление. И действительно, через пару минут я получил этому грозное подтверждение.

На лестнице снова послышались тяжелые шаги, я выглянул из-за укрытия и в сумерках сперва не смог разобрать, что происходит, а когда разобрал, похолодел. Эти сволочи нашли где-то большой лист кровельного железа и теперь двигались ко мне под его прикрытием. Еще слава Богу, что он оказался немного шире, чем требовалось, и им было трудно разворачиваться с этой хреновиной на лестнице, она звенела и громыхала, цепляясь за углы, но неуклонно продвигалась ко мне.

Я швырнул в нее одну каменюку, потом сразу вторую, третью. Грохот, пыль, звон стояли адовы, но этот чертов щит неуклонно приближался, наполняя мою душу отчаянием. Через пару минут они уже почти взобрались на площадку, и мне оставалось лишь отступить по узкой тропке меж двух каменных куч, заняв последний рубеж обороны, мой Фермопильский проход, защищая который я должен был, видимо, героически умереть.

Но, наверное, в связи с отсутствием спартанского воспитания перспектива погибнуть красиво и с достоинством меня не вдохновляла. Ничего, кроме животного страха, я, сознаюсь, в тот момент не испытывал и поэтому не чем иным, как животным инстинктивным порывом, свои дальнейшие действия объяснить не могу. Собственно, я даже не очень хорошо помню, что произошло. Кажется, у меня вырвался какой-то горловой звериный рык, одновременно с этим я выскочил из своего последнего укрытия и руками, ногами, всем туловищем ударил по железному листу, по укрывающимся за ним убийцам.

Каким-то чудом мне при этом удалось удержаться на ногах. Чего не скажешь о них. Противник был в буквальном смысле отброшен, и, судя по стонам и матерным крикам, последовавшим за моей контра-такой, понес не только физический, но и значительный моральный урон. Я же стоял на вершине, дрожа от пережитого напряжения и все глубже осознавая, что второй раунд наверняка будет уже не в мою

пользу. Эти спортивные паренки не привыкли к поражениям, они просто так не сдадутся, очень скоро следует ждать продолжения. Поэтому у меня есть совсем немного времени, чтобы придумать, как отсюда выбраться.

Тихо, едва не на цыпочках, я перебрался ко входу в левую квартиру. Здесь было немного светлее, в оконных проемах без стекол и рам багровел гаснущий день. Перегнувшись через подоконник, я глянул вниз: высокий четвертый этаж, щебень и поблескивающее в закатных лучах битое стекло — не лучшая площадка для приземления. Высунувшись еще глубже, я оглядел стены в поисках водосточных труб, но таковых не обнаружил. Снова тупик. Нет выхода.

Надо было скорей возвращаться туда, где я хоть как-то, хоть из последних сил, но мог еще держаться. Обреченно я тронулся в обратный путь, и тут в коридоре мой взгляд упал на небольшое темное помещение, в глубине которого что-то тускло отсвечивало. Шагнув туда, я догадался, что это бывшая ванная, а блестят в углу свежеположенные водопроводные трубы. Безумная надежда заставила еще более ушаченно биться мое сердце: присев на корточки, я ощупал пол руками и определил, что, как я и надеялся, на месте прокладки труб в нем проломлена дыра. Теперь оставалось опытным путем определить, пролезет ли в нее человек. Не вообще человек и не какой-нибудь там Гудино Гудини, а конкретно я.

Для начала, стащив с себя куртку, я швырнул ее вниз, после чего, мысленно перекрестившись, ухватился за трубу и принялся сползать по ней ногами вперед. Это было очень тяжелое испытание, которое я и сейчас не могу вспоминать без сосущего чувства под лоджечкой. Особенно тот момент, когда бедра уже прошли в дырку и вдруг застряли руки с плечами. Но мысль, что эти подонки застанут меня в такой унижительной и беспомощной позиции, придала мне невиданные силы. Не знаю, как, но, изорвав на себе всю одежду, оставив на острых краях перекрытия лохмотья кожи, я все-таки протиснулся. Правда, чуть не рухнув по инерции на пол.

Там тоже имелась дырка, ведущая дальше вниз, но организм отказывался воспринимать даже самую мысль о повторении подобного испытания, и я решил на сей раз пойти ему навстречу. Выглянув осторожно из квартиры на площадку третьего этажа, я никого там не обнаружил: все ушли на фронт, голоса раздавались теперь уже сверху. Окрыленный удачей, я скатился вниз по лестнице и у выхода из подъезда лицом к лицу столкнулся с Бурым Пиджаком.

Он стоял и, задрвав голову, прислушивался к звукам ведущихся наверху боевых действий. Наверное, пока меня должны были убивать, его оставили здесь на шухере, и вид живого и почти невредимого приговоренного к смерти, в одиночестве покидающего место казни, произвел на него сильное впечатление: у него отвисла челюсть и слегка остекленели глаза. Но он быстро справился с собой и выхватил из кармана нож — тот самый. После чего сделал им выпад в мою сторону.

— Это ты зря, — сказал я, перехватывая ему руку и заводя ее на прием. — Этому-то меня хорошо научили.

Нож выпал, но парень, завыв от резкой боли, попытался все-таки вырваться, крутясь и норовя пхнуть меня ногой в пах. Из чего я сделал вывод, что его-то, похоже, никто никогда ничему не учил, и со злорадным удовлетворением уперся покрепче и дернул так, что хрустнуло. Он обмяк от боли и сполз на землю. Надеюсь, я сломал ему руку сразу в паре-тройке мест, и ближайшие несколько месяцев у него больше не будет возможности работать по специальности.

Подобрав нож, я покинул стройплощадку и оказался на улице. Здесь как будто ничего не изменилось: все так же летели по проспекту автомобили, плелись по тротуару натрудившиеся за день прохожие, к остановке подкатывал очередной троллейбус. Но мне в первую очередь был интересен иной объект — бутылочно-зеленая BMW. Я подскочил к ней и с пугающим меня самого сладострастием вонзил финку сначала в переднее, а потом в заднее колесо. На большее времени не оставалось: троллейбус уже отваливал от тротуара, я еле-еле успел вскочить на подножку.

Наверное, мой вид был для нормальных людей пугающ — я ловил на себе подозрительные взгляды пассажиров, а одна пожилая тетка с сумками даже пересела от меня подальше. Однако мне было наплевать. Я все-таки оторвался от "хвоста".

Еще трясущийся, грязный, ободранный, местами даже практически освежеванный, но главное — живой. Живой!

Понадобилось совсем немного времени, что-то около полутора троллейбусных остановок, чтобы я, трезво оценивая сложившуюся ситуацию, вынужден был внести существенную поправку: пока живой.

Окончание следует. ■

ВОЛШЕБНЫЙ МОНТ



Метаморфозы, произошедшие со сценическим образом эстрадной певицы Ларисы Долиной, поражают. С недавних пор она предстала перед публикой в новой, гораздо более легкой весовой категории. Если раньше Долина скрывала пухленькие ножки под длинными платьями, то теперь она смело обнажает их. Красота и изящество форм некогда пышной женщины сегодня достойны восхищения. Она смело облачается в супермини, благо ее в корне изменившаяся внешность поз-

воляет такую смелость. Естественно, свою беседу я начал с вопроса:

— Лариса, как же вам удалось столь резко преобразиться?

— А-а-а, — нонетливо произнесла она, — не скажу, пусть это будет моей маленькой тайной. Если честно, я приложила для этого очень много усилий. Отказывала себе во многом. Зато понимала, что в один прекрасный день я получу награду за все свои мучения. Известно ведь, что красота требует жертв, вот я и жертвовала маленькими жен-

скими слабостями — сладостями, мучным, печеным и т.д. Но, как видите, игра стоила свеч! — торжественно произнесла эстрадная дива, привстав и продемонстрировав еще раз все великолепие своей новой внешности.

— И что, не было никакой диеты?

— Отчего же, была и есть. Я в течение года чередовала кефир с фруктами.

— Вы часто меняете свой артистический образ. Это что, поиск чего-то постоянного, или вы любите экспериментировать?

— Я по гороскопу — Дева, а люди этого знака вечные путники. Я постоянная в жизни — как жена, как друг. Это для меня вещи святые и непреложные. Но на сцене не люблю постоянства, потому что застой в творчестве губителен для артиста. Поэтому я всегда в поисках чего-то нового, свежего и разнообразного. Это требует больших усилий. На сцене всегда нужно находить силы и желание меняться, перевоплощаться, чтобы быть интересной, желанной и всегда оставаться сюрпризом для зрителей.

— Ваши клипы на песни "Погода в доме" и "Обижаюсь" породили множество слухов о неких взаимоотношениях между вами и Алексеем Булдаковым. Внесите, пожалуйста, ясность.

— Ой, Господи! Ну почему у нас любят говорить об отношениях, если певец или певица появляются в свете с друзьями или подругами. Ну что, мы не имеем права иметь друзей? Булдаков — большой друг нашей семьи, и мы очень дорожим нашей дружбой. Почему он у меня в клипе? Потому что он — актер, причем, великолепный. Кстати, если бы обо мне говорили как о скандалистке, вздорной, взыскательной бабе, или как о безголосой певице, это было бы гораздо страшнее и обиднее. Пикантные же слухинисколько не вредят артисту, более того, способствуют.

— Лариса, а какая погода в вашем доме?

— Всегда ясная, теплая и солнечная.

— Неужели никогда не бывает пасмурно?

— Отчего же, случается, но все тучи над нашим домом мы тут же разгоняем вместе с Витей с помощью нашего "волшебного зонта".

— Кстати, Лариса, а где и как вы познакомились с вашим мужем?

— Это было так давно! Я собиралась с гастроями на Украину. Не было гитариста. Знакомые музыканты предложили своего друга из Ульяновска. Им оказался Виктор, который бунвально за месяц обаял меня.

— Несмотря на вашу суперпопулярность, ваши песни все реже попадают в музыкальные хит-парады и всевозможные рейтинги. Странная ситуация, вам не кажется?

— Нет, не кажется. Я догадываюсь, как строятся эти так называемые рейтинги и хит-парады, в которых больше присутствуют личные пристрастия их составителей. Меня бы задело это лишь в том случае, если бы они были хоть отчасти объективными, а нынешняя суеда напоминает варку в собственном соку. Смешно, когда страна сходит с ума по какому-либо артисту, а в хит-параде он ни разу не значился.

— Для меня было странным видеть афиши ваших выступлений и концертов в обычных столичных кинотеатрах. В последнее время вы довольно часто прантинкуете это. Вам не кажется, что для певицы вашего ранга это немного унизительно?

— Ерунда. Разницы между моим слушателем в концертном зале и кинотеатре нет никакой. Он тот же. Смеем вас уверить. Я очень трепетно отношусь к своей аудитории, а большая ее часть не может порой позволить себе билеты в большие концертные залы,





стоимость которых иной раз превышает их месячный заработок. Выступления в кинотеатрах или на огромных площадках — это хоть какой-то шанс встретиться со зрителем.

— Говорят, такого профессионального балета, как у вас, нет ни у одного артиста. Вы очень требовательны к своему "Мастер-балету"?

— В первую очередь я очень требовательна и беспощадна к самой себе. Поэтому не терплю халатности в работе и от других. Ребята моего балета это прекрасно понимают. К тому же за их плечами классическое хореографическое образование, что обязывает всегда быть в хорошей форме.

— Вам подвластны и рок, и джаз, и поп. Но к какой музыке больше лежит душа?

— Когда-то, когда я увлеклась джазом, меня часто можно было видеть в обществе джазменов, мне был необходим этот линбез, общение с ними. Мы много беседовали и музицировали. Потом, когда этот период закончился, я перешла в стан рокеров, у которых многому научилась. Даже приняла участие в рок-фестивале на стадионе "Динамо", посвященном борьбе со СПИДом. Пресса после моего боевого крещения была хорошая. А вот фанаты меня не приняли. Уж не знаю, чем им не угодила, но я ушла. Может, оно и к лучшему. Музыке люблю учиться, я люблю открывать в ней что-то новое. И первые шаги на поп-поприще не считаю слабыми и неуверенными.

— Вы чувствуете, что уже достигли уровня, когда не нужно никому ничего доказывать?

— По-моему, удалось доказать всем, что я мало-мальски умею петь. Я стала мягче, и голос стал мягче во время работы над альбомом "Погода в доме", написанного для меня с любовью и прекрасными авторами — композитором Русланом Горобцом и по-

этом Михаилом Таничем. Я много поочерпнула у джазменов, рокеров, у Аллы Борисовны. Ее тоже считаю в какой-то мере своим учителем. Теперь хочу больше теплоты, мягкости, женственности. Того, чего мне не хватало много лет. Была жесткость, сталь, металл в голосе и во всем. Меня ведь так и называли — "железная леди".

— Однако это не мешало вам петь о маленькой женщине?

— Но как петь? Маленькая женщина тоже может быть ого-го какой железной.

— И что же растопило в вас эту сталь?

— Первым шагом, наверное, стала песня "До свиданья". Когда я ее записывала Руслан Горобец мне просто вынудил руки. "Убирай голос, — кричал он, — здесь нужно что-то другое. Представь, что тебе около 20 лет, ты еще никто, и все впереди. Он не принял тебя, не оценил, но он еще будет кусать локти. Вспомни, как ты плакала, любя. Вот так должна петь". И я спела. Когда прослушала запись, поняла, что хочу петь именно так. Я очень благодарна Руслану за это свое перевоплощение.

— Лариса, я не ошибусь, если заявлю, что вы, помимо того, что замечательная певица, еще и неповторимая антриса. Ваши эпизодические роли в кино запомнились многим. Продолжения не будет?

— Спасибо за комплимент. Меня пригласили на роль эстрадной звезды по имени Тортилла в фильме "Необычайные приключения Пинокио", где задействованы многие артисты. Рассказывать сюжет не стану, увидите и оцените сами. ■

Беседу вел
Рамазан Рамазанов.

Каждому россиянину, кроме своей основной профессии, приходится нынче осваивать великое множество профессий вспомогательных...

Питаться в ресторане — дорого, поэтому женщины (да и мужчины) становятся поварами, и порой такими, что любого ресторанного "шефа" затнут за пояс. Без пресловутых "шести сотен" многим просто голодно. Посему миллионы людей приобретают знания агрономов, земледельцев, а то и ветеринаров. Для всевозможных начинок в доме (или постройке нового) мужчины осваивают профессии столяра и элентрика, панадолом, но и старинными народными средствами... Для всех вас, тех, кто готовит, шьет, плотничает, столярничает и ведет сельское хозяйство, "Смена" открывает новую рубрику — «Практикум». Нужна ли она, такая рубрика в журнале? Интересна ли вам? Полезна ли? Нам очень важно знать ваше мнение. От вашего, уважаемый читатель, голоса зависит, будет ли она существовать. И если вы — "за" новую рубрику, мы просим присылать в "Смену" рецепты любимых блюд, ваши "фирменные" советы по уходу за садом и домом, секреты умельцев сделать из "ничего" нефетну... Ждем, что вы поделитесь ими с десятками тысяч читателей "Смены".

Домашний верстак

Несколько советов для тех, кто хотел бы сделать свое жилище уютнее:

Приклеить отвалившуюся от стены нафельную плитку можно при помощи ацетона и пенопласта. Для этого по углам плитки нужно положить квадратные кусочки пенопласта размером 2 x 2 сантиметра и капнуть на них 20 капель ацетона. После того как пенопласт растворится, плитку плотно прижать к стене и подержать оноло минуты.

Тупой нож легче заточить, если предварительно подержать с полчаса его лезвие в слабом соленом растворе.

Тряпочной, смоченной в молоке, хорошо очищаются зеркала, рамы картин, клавиши пианино

Чтобы заставить оконные стекла блестеть, для начала в литре воды растворите 100 граммов мела. Лняной тряпкой, смоченной в этом растворе, смажьте стекла. Когда они слегка просохнут, сухой хлопчатобумажной тряпкой протрите их. Рамы хорошо мыть раствором теплой воды со стиральным порошком.

Цвет ковра станет ярче, если с вечера посыпать его мелкой солью, а на другой день снять соль чистой влажной тряпкой.

Чтобы предохранить оконные стекла от запотевания и замерзания, их надо смазать изнутри спиртовым раствором глицерина (1 часть глицерина на 10 частей этилового технического спирта), а затем протереть фланелью.

Белый налет со стекла и хрустали отмывается с помощью столового уксуса.

Зернало, засиженное мухами, легко очистить разрезанной луковичей: смазав, через 10 минут зернало надо вымыть.

Во саду ли, в огороде...

Когда на дворе зима, не обязательно восполнять нехватку витаминов заморскими диче или привезенными за тридевять земель апельсинами. Загляните в окна домов на вашей улице, и в одном вы непременно увидите на подоконнике острые перышки лука, или листья салата, или зелень петрушки. Вот где кладовая витаминов! И на рынок ходить не надо, и все экологически чистое... А "работает" огород на подоконнике круглый год, и не знает сбоев срезанная продукция непрерывно возобновляется.

Как же запустить "новейер витаминов"?

Огород хорошо удается зимой тем любителям, у которых окна в квартире, балкон или лоджия выходят на юг, на юго-восток и юго-запад, летом же зелень лучше растет на северной стороне.

Выращивать ее лучше всего в деревянных ящиках. Сделайте их сами (оптимальная длина — 50—60 см., высота — 10—15, ширина — 30—40 см). Чем меньше размер, тем легче их переносить и размещать в несколько "этажей". Можно взять и небольшие ящики из-под фруктов. А чтобы не мочили подоконники при поливе, на каждый сделайте неглубокий поддон из фольги.

Чтобы зелень росла, одного ящика мало. Нужна и земля. Лучше подойдут дерновая земля, перегной, торф, керамзит и песок (в соотношении 2:1,7:1:1). Не забудьте сделать в торцах ящиков отверстия (туда будет стекать лишняя вода), а на дно положить

керамзит, битый кирпич или крупный речной песок — для дренажа.

Большинство предпочитают выращивать на подоконнике перья лука. Прозорливые люди! "Перышки" богаты витаминами В₁, В₂, В₆, РР, каротином, а витамина С в них в три раза больше, чем в самой луковиче.

Луковичку, что будет питать вас своими стрелками, перед посадкой 2—3 суток выдержите в теплой воде (ее желательно менять ежедневно). Верхнюю часть ее срежьте "по плечики". Сделайте 2—3 неглубоких вертикальных надреза — перья полезут быстрее. Сажайте луковички плотно, одна к другой ("мостовая посадка" — они располагаются столь близко, как камни на мостовой).

Если вы захотели петрушки, лучше сажайте корнеплоды, заготовленные с осени. Зелень тогда появится через 2—3 недели, а при посеве семенами — через 2—3 месяца. Обильного и частого полива петрушка не выносит, да и жары тоже — температура воздуха выше 23°C ей противопоказана.

Можно посеять и укроп, и кинзу. Но они требуют к себе особого подхода. Семена их плохо прорастают, поскольку в них содержатся эфирные масла. Поэтому семена сначала выдерживают двое суток в воде (20—25°C), меняя ее через 5—6 часов. Сколько сеять? 3—5 граммов семян на квадратный метр земли.

Пока укроп с кинзой не взойшли, лучше держать в темноте, закрытыми пленкой (температура +23 — 25°C). С появлением всходов — переносить их на подоконник.

Вдобавок в квартире можно выращивать салат, шпинат, базилик, майоран, пенинскую капусту...

И еще: в тех же самых ящиках можно вырастить цветы к 8 Марта. А потом — рассаду к весенним посадкам...

Обоидемся без доктора

Многим известно, что овощи лечат. А вот как правильно ими лечиться, какими именно и при каких болезнях — о том ведают не все.

Нашель и насморк лучше любой "упсы" можно вылечить, вдыхая пары свежесваренной картошки. Только для этого не обязательно засовывать голову в кастрюлю. Лучше растолочь картошку и вдыхать пар через бумажную воронку. Картофель этот можно потом съесть. Или сделать из него питательную маску для лица. Для этого надо добавить в картофель молочно и яичный желток. Перемешать и в теплом виде положить на лицо. Держать 15—20 минут. (Домашним своим в таком виде лучше не показываться.) После процедуры смыть маску горячей водой и умыться холодной. Кожа становится упругой и нежной — к чему импортные лосьоны и бальзамы!

Примерно такой же компресс можно устроить и для рук, когда они покраснели, а кожа шелушится. Только в этом случае в вареную и мятую картошку добавляют одно молочно без желтка. Чтобы картофель с рук не сваливался, его предварительно надо положить на какую-нибудь ткань, а потом уже ею замотать кисти.

А сырой картофель хорошо помогает при опогах, энземах, язвах. Лучше всего лечиться так: натереть картофелину, положить получившуюся массу на марлю, сложенную в несколько слоев, и прибинтовать к пораженному участку. Держать 2—3 часа.

Сок сырого картофеля будет, пожалуй, полезней апельсинового (правда, вот внос...). Им можно лечить желудочно-кишечные заболевания, которые сопровождаются повышенной кислотностью. Пьют его в этом случае за

полчаса до еды трижды в день. Начиная с четверти стакана в один прием и постепенно доводят эту дозу до 3—4 стаканов. Гастриты и колиты вылечиваются соком за 4—6 недель, в тяжелых случаях — за 6—8 недель. Язвенная болезнь тоже может отступить за 6—8 недель, только при этом надо придерживаться щадящей диеты. Рекомендуются повторять курсы "картофельно-сонового" лечения ранней осенью и весной — в качестве профилактики (но уже в меньших дозах — по 50 граммов сока на прием).

При хронических головных болях полезно выпить четверть стакана сока в день. При диспепсии или нарушении пищеварения рекомендуется по 50—100 граммов напитка за полчаса до еды. Полезен он и при лечении диабета, гипертонии, нарушении обмена веществ. Помогает при угрях, опогах.

Прежде чем начинать "картофельно-соновое" лечение, лучше все-таки посоветоваться с врачом.

Так как промышленное производство картофельного сока, увы, не налажено, придется готовить его самим. Для одной порции потребуется 2—3 больших или 3—4 небольших картошки. Их надо хорошенько вымыть, кожуру соскоблить и особенно тщательно вырезать глазки. Потом пропустить через мясорубку (или соковыжималку, в крайнем случае — натереть на терке). Получившуюся кашицу завертывают в марлю и выдавливают сок. Перед употреблением взбалтывают. ■

Практинум вели

**Елена Евдокимова,
Александр Куленкамп,
Александр Зазеев**

Цыган и змей



Геннадий Новожилков

В одну деревню повадился змей летать. И всех съел. Одного мужика только на закуску оставил. Вот пришел тут цыган с серьгой в ухе, в одну хату зашел — никого. В другие зашел — тоже никого. А в последней мужик на лавке лежит, из-под козуха босые ноги торчат. Смотрит цыган, в избе не метено, мыши по столу бегают, в лампаде перед иконой паук сидит. Цыган мужику:

— Здорово! Чо народу-то нет?

Повернул мужик голову, отвечает:

— Дык к нам змей повадился. Всех и пожрал.

— Будешь лежмя лежать, и тебя сожрет.

— А как же...

— А ты бы убёг.

— Да ну... у...

— Вы б с мужиками собрались бы гуртом и змея-то и порешили.

— Да ну... у...

Вдруг змей прилетел, в избу еле втиснулся.

— Ух ты, — пышет жаром змей, — одного оставил, а тута два! Эй, чумазый, знашь, какой я сильнющий?

Шляхетин Г.



Смотрит цыган, змей-то не из умных, и говорит ему:

— А я посильней тебя буду.

Змей развеселился:

— Ух ты, посильней! Ладно, пускай. Давай тады мериться.

— Только на двор айда, — говорит цыган, — жарко от тебя.

Вышли на двор. Змей вокруг глазами позыркал, камень нашел, цыгану под нос сует:

— Это што?

рисунок автора

— Ну, камень.
— То-то, камень! Теперь гляди, чернявый. — Положил змей камень на землю, как лапой топнет.

— Ну и чего? — спрашивает цыган, а самому ох как боязно.

— А тово, что с тобой будет сейчас то же самое. Стало быть, мокрое место останется, — веселится змей и лапу убирает. А там вместо камня пыль.

— Какое ж оно мокрое? — нахально спрашивает цыган. — Вот от тебя точно мокрое будет. Погоди маленько.

Кружит по двору цыган, будто камень подходящий отыскать хочет. А сам уж картофелину приметил, поднял, змею показывает:

— Видал?

— Ну, видал, — говорит змей.

— Тогда гляди сюда. — Цыган картофелину кладет перед змеем и как топнет.

— Ну и чего? — таращится на цыгана змей.

Ногу поднял цыган, а там одна жижа от картофелины.

— Давай дружить, — сует змей лапу цыгану.

— Мне што, давай, — соглашается цыган.

— Пошли мужика есть, — тянет змей цыгана за рубаху.

— Да ну его к шуту! Какой в ём вкус, в мужике-то лядащем? Ты бы, слышь, в лесок слетал, какого-нибудь кабанчика изловил. А я тем часом костерок тут налажу.

— Сей момент! — обрадовался змей, снялся и к лесу полетел.

Цыган по селу прошелся, там-сям пошарил, две бадейки хлебного вина приволок. Костер во дворе развел, ждет. Явился змей с матерым кабаном в лапах.

— Не мал будет? — спрашивает змей.

— Сойдет, — отвечает цыган, нож из-за голенища достает и кабана разделывает. Разделал, опалил, на углях испек.

— Ну, давай со знакомством, что ли! — поднимает стаканчик цыган, а змею ведро подает.

— Будь здоров, лохматый! — схватил ведро змей и вмиг высосал. Голову кабанию оторвал, в пасть кинул и давай костями хрустеть.

“Тикать надо”, — думает цыган.

Змей приказывает:

— Еще давай!

— На, — подносит цыган вторую бадью.

Змей выпил, бадью вылизал и пошел куролесить. По двору мотается, на все натывается.

— Знашь, кучерявый, какой я бядовый? Во, гляди!

Вцепился в ворота змей, натужился, так вместе с забором и выдрал. Бросил ворота, на крышу взлетел, трубу развалил, орет:

— Щас избу раскатаю!

— Годи, нечистый ты задери! — просит цыган. — Раздавишь мужика-то!

— Всех вас передавлю! И съем! Опосля женюсь! — безобразничает змей. Хотел плясать, да споткнулся и с крыши скатился. Шмякнулся о траву и захрапел.

Пошел в избу цыган, говорит мужику:

— Чо делать-то будем, а, мужик? Надоть как-то от змеюки избавляться. Подымайся, думать будем.

Мужик опять свое:

— Да ну... у...

Повернулся бородой к стене и затих. Сел цыган к столу, голову руками обхватил — думает. “Одна надежда на змееву дурость. Чего-нибудь не придумаю, заказывай панихиду”. Долго думал цыган, ничего не придумал. Встал, вышел на крыльцо. Видит цыган, змей там же валяется, глазищами хлопают. И вдруг спрашивает цыгана:

— Ты кто такой?

— Ты чо, своих не узнаешь? Я ж дружок твой, цыган.

— Много вас тут, дружков таких, туда-сюда шатаются. Ну-ка, дружок, боком повернись.

Цыган боком к змею встал.

— Не, впервой вижу, — вздыхает змей. — Давай знакомиться. Ты кто?

— Я цыган.

— А я змей.

— Будем знакомые, — говорит цыган, а сам смекает: “Эге, да он нашего вина никогда не пил. Вона, ничего не помнит. Стало быть, мы ему очухаться не дадим. А там поглядим”. Присел цыган на бревнышко, спрашивает:

— Ты откудова будешь-то?

— Отгудова, — отвечает змей.

— Понятно. Отец-то есть?

— Тятька нас бросил.

— От оно как! А мамка?

— Съел.

— Кого?

— Мамку.

— Кто, тятька?

— Какой тятька, я и съел.

— Да кто ж мать свою ест, баловник!

— Дак тады она меня!

— У вас все, что ли, так друг дружку?

— Цыган, чего ты все про еду да про еду? Давай я тя съем.

— Ладно, ешь. Только заливки какой не то принесу. Ты здесь погоди, ничего не тронь, я мигом.

Бросился цыган по деревне шарить. По избам всем, по всем погребам. Все корыта перевернул, во все бочки слазил, еле-еле кадушка набралась.

— На, друг, глотни. Легче еда пойдет.

— А ты добрый, цыган, — умилился змей. Хвать кадушку, и вот уж с морды последняя капля стекает. Облизнулся змей, говорит:

— Иди давай.

Цыган видит, змей еле языком ворочает.

— Ополоснулся только. Не умывался ноне, те неприятно будет.

— И так ладно. Мы ведь дружки, — промямлил змей и захрапел.
“Мать честная, где ж теперь пойло-то брать?” — Бросился цыган к мужику:

— Мужик, вина надо! Проспится змеюка, сожрет он нас и не охнет! Мужик молчит, лицом к стене лежит. Потом говорит:

— Помираю я.

— Как так? А чего ж ты такой здоровый, а помираешь?

— Чего здоровый, чего хворый, все едино.

— Ну так помирать помирай, а хлебушек сей.

— Отцепись, цыган. Те хорошо, ты коня украл и того. А мне?

— Где вино гонишь, паразит? — разозлился цыган.

— Где, где! За мельницей! В ракитнике! Во где! — крикнул в ответ мужик.

Бросился цыган вон. По деревне побежал, подобрал, наскреб, что где осталось для дела своего, и к мельнице, в ракитник, к мужикову инструменту. Вот дымок показался, крепкий запах по росе пополз. Всю ночь трудился цыган. Утром с двумя кадушками крепкого вина спешит к змею, ногой его пихает. Проснулся змей, на цыгана глазищи таращит. И опять:

— Ты кто, неизвестный?

— Я цыган, а ты кто?

— И я цыган. А ты кто?

— А я змей, — брякнул цыган. — На-ко, цыган, попей, небось, все горло-то пересохло.

Выдул змей бадью, спрашивает:

— Скажи-ка мне, змей, ты как сюда попал?

— Прилетел на крыльях.

— А я?

— А ты вон отудова на краденой кобыле прискакал.

— Как же, как же, помню, — вздохнул змей и захрапел.

На третий день вдруг мужик вышел и за ним тощий кот. Стояли, смотрели. Потом мужик как закричит:

— Чаво тута развовалялся! Какие воявальщики нашлись! Спать не даете, нехристи!

От мужиковых криков очнулся змей, спрашивает:

— Ой, кто это?

— Кто его знат, — притворяется цыган. — Видать, прохожий.

— Э, прохожий! — зовет змей. — Подь-ка сюды! Вишь, я обезножел, а время закуску закусывать!

— Щас, разбяжалси! Ишь, какой закусильщик нашелся тута! — огрызнулся мужик и с котом в избе скрылся. А змей цыгану:

— Дай!

— На, — подал цыган бадью.

“Вона какая зверюга от энтого винца кончается. А наше население ничего, попивает и все еще полознет”, — думает цыган.

На пятый день еле растолкал цыган приятеля своего. И так, и сяк, и уж горшок о зеленую его башку расколотил. Думал, издох змей. Ан нет, открылись змеинные очи. Спрашивает змей:

— Ты кто такой большой?

“Все. Совсем спятил”, — видит цыган.

— Я большой цыган. А ты кто?

— Я махонький. Но не знаю кто. Кто я?

— И я не знаю. Но жалко тебя, такого махонького.

— А какой я махонький?

— Как это?

— Ну, ростом-то с кого?

Повертел головой цыган:

— Ну вона, мыша бегит. Ты вроде его.

Заплакал змей:

— Большой, окажи пособие, поклади меня в свой карман! А то меня кошка сожрет.

— Лазь давай. Да сначала попей. А то смотрю, пить хошь, а спросить боисси.

На седьмой день издох-таки змей. Поплевал на руки цыган, рядом со змеем большущую яму выкопал. Зашел с тыла, поднатужился, столкнул в яму змея. И закопал. Всадил заступ в землю, отряхнулся.

“Чегой-то холодами потянуло, — поглядел на небо цыган, — вона, птицы уж кучкуются. И мне пора”. Пошел в избу:

— Эй, хозяин, не помер еще?

— Да ну... у...

— Подымайся давай! Жрать ты более некому. Вставай, работы работай. Вона, все развалилося.

Молчит мужик. Цыган к стене подошел, на ходиках гирю подтянул, по маятнику щелкнул. Говорит:

— Слышь, мужик, чегой-то мне энту крокодилу даже жалко. Привык к ей, что ли?

— Летось об энту пору уж снег случился, — говорит в стенку мужик.

Постоял цыган, ходики послушал. Да как тряхнет вдруг лохматой головой, как крикнет:

— Эйх, чавэла!

Пробежал хлопками цыган по красной рубахе своей, по ляжкам, по сапогам: “Хоп, хоп, хоп!”, сверкнул серьгой, а после треснул дверь и отправился в степи табор свой догонять. ■



конкурс!

конкурс!

Продолжаем публикацию рецептов любимых блюд наших читателей, решивших принять участие в конкурсе "Пальчики оближешь". Пишем много, но мы публикуем только самые оригинальные рецепты, в то же время простые в приготовлении и по составу продуктов.

Галина Адамсон из эстонского города Йльви предлагает:

Сельдь с майонезом

Филе соленой сельди нарезать кубиками, заправить укропом, майонезом, перемешать, а сверху украсить тертым вареным яйцом.

Суп "фирменный"

В кипящую воду положить нарезанный кубиками картофель, варить 10—15 минут, добавить мелко нарезанную вареную колбасу, заправить бульонным кубиком. Разбить в суп яйцо, хорошенько все размешать и сразу выключить плиту. Суп готов. Подавать с зеленью.

Варенье из кабачков

Два-три кабачка очистить от кожуры и семян, нарезать мелкими кубиками или соломкой. Засыпать сахаром — половина от веса кабачков — и оставить на шесть часов, чтобы появился сок. Полученную массу 5—10 минут поварить, добавить в нее нарезанный вместе с кожурой апельсин, предварительно ошпарив его кипятком. Варить до готовности.

Варенье получается изумительно-го янтарного цвета, похожее на мармелад, а апельсин придает ему особый аромат. Ваши гости ни за что не догадаются, что такое лакомство вы приготовили из обычных кабачков. Кстати, такая же вкуснятина получается из тынвы.

Валентина Васильевна Войчалъ из Миасса Челябинской области предлагает свои любимые блюда:

Мясо с грибами

Любое мясо (правда, лучше всего свинину) нарезать небольшими кусочками, добавить лук, морковь, посолить и слегка потушить на слабом огне. Можно добавить чуточку воды.


Сваренные грибы обжарить в сливочном масле до полуготовности, соединить с мясом, добавить сметаны и под крышкой запечь в духовке до золотистого цвета. Можно использовать и сушеные грибы, предварительно замочив их кипятком в закрытой посуде и слегка прогрев на слабом огне. Дозировка — по вкусу и количеству имеющихся продуктов.

Шкра грибная

Сваренные или сушеные грибы (естественно, размягченные) обжарить с морковью, луком и небольшим количеством

пальчики оближешь





томата, пропустить через мясорубку, добавить перец, выпарить лишнюю влагу. Такую икру можно хранить в закатанных банках, но лучше и безопаснее — в морозилке.

Лариса Храмкина из Пензы прислала много рецептов. Вот самые "вкусные" из них:

Закуска оригинальная

Продукты: 4 куриных окорочка, 1 банка острого майонеза, 1 стакан грецких орехов (200—300 г), 30—40 г чеснока, соль по вкусу.

Мясо отварить и провернуть через мясорубку, добавить измельченные и подсушенные в духовке грецкие орехи, измельченный чеснок, соль по вкусу и заправить майонезом.

Эту закуску можно подавать как отдельное блюдо, а можно использовать для бутербродов. Особенно она понравится любителям остренького.

Банановый крем


4 мягких спелых банана, 250 г сметаны, сахар по вкусу.

Бананы очистить и размять обычной толкушкой до однородной массы, добавить сахар и сметану, хорошенько все взбить, выложить в формочки и поставить в морозильник на полтора часа. Крем можно подавать отдельно и с любым сиропом.

Оксана Мальцева из поселка Прямыцыно Курской области предлагает


Салат "Утраченная красота"

На большую круглую тарелку выкладывают лучами, расширяющимися к краю тарелки, тертые на терке картофель, вареную свеклу, вареную или свежую

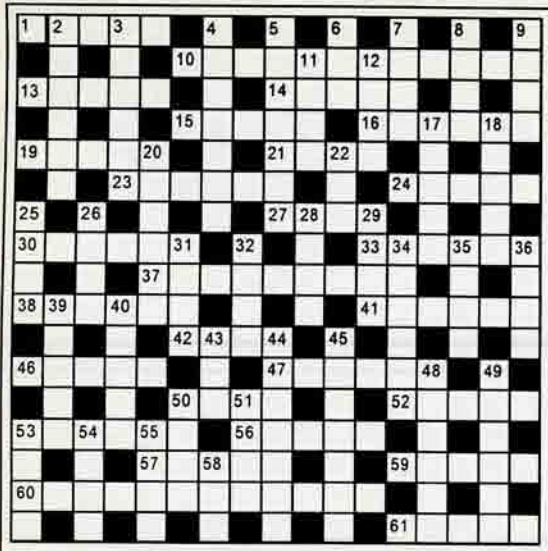


морковь, порезанные лук, яйца, соевые огурцы, зеленый горошек, помидоры, зелень по сезону. Насыщенность, что какого-то компонента можно не быть (например, зимой свежих помидоров). Солить по вкусу. В центре тарелки осторожно (вспомните, как дети извлекают из ведерочек песочные куличи) помещают рыбные консервы в масле и выливают на них баночку майонеза. Картина готова! А когда гости усядутся за стол и устанут восхищаться и глотать слюнки, следует все перемешать. После "шока", вызванного таким "кошунством", блюдо с аппетитом и очень быстро уничтожается.

Друзья, итоги мы подведем в № 3. Призы, объявленные в № 8, прошлого года, ждут вас.



ЭРУДИТ



По горизонтали. 1. Дробь на самую мелкую дробь. 10. Младшая сестра дуэности. 13. Возникший в XVI веке в Испании жанр короткой пьесы комедиано-бытового плана. 14. Самоволка из мест отдаленных. 15. Газ, которого много в вечной мерзлоте Сибири. 16. Охранник золотых яблон у Гесперида, убитый Геранлом. 19. Мистин и мореплаватель, штурман Менданы, последний коннистадор на Тихом океане. 21. Царь из "Махабхараты", умевший, слуха возницей, заставить коней нестись быстрее ветра. 23. Программа будущего дуба. 24. Архитектор, создавший Вестминстерский дворец в Лондоне. 27. Узбекский суп, который едят с катыком или сметаной, прихлебывая их из другой посуды. 30. Поэт, единственный человек, кого слушался Батюшков в душевной болезни. 33. Организация крестьян в Китае в стоворки и тысячедворки. 37. Русский танцовщик, восклицавший в состоянии безумия "Я — Бог, я — Бог". 38. Французский драматург,

все пьесы которого перевела Т. Щепкина-Нуперник. 41. Швейцарец, предтеча экспрессионизма в живописи. 42. Тянь, символ XVIII века в произведениях А. Пушкина. 46. Сведения и толки, распространяемые со скоростью слуха. 47. Чешский писатель, чья настоящая фамилия — Вонява. 50. Римский император, заколотый центурионами своего брата Нарангаллы. 52. Ударный инструмент в русском придворном музицировании XVI—XVII веков. 53. Вино, накого в простом виде не бывает в губернских городах (Н. Гоголь "Мертвые души"). 56. Один из признанов передедания. 57. "Я один в мире" (М. Булгаков "Мастер и Маргарита"). 59. Более известное имя Шаньямуни. 60. Порождение русских легенд о "царях-избавителях". 61. Библиейское название договора.

По вертикали. 2. Муза с глобусом и указательной палочкой в руках. 3. "Я знаю, у красотины видно у крыльца, но он не загородит дорогу молодца". 4. Нубинский зверек, которого иошны, видимо, принимают за крысу. 5. Прихватизация. 6. Магический символ материального мира. 7. Французский художник, хорошо игравший на скрипке. 8. Орган виноградной лозы, выше которого не бывает соцветий. 9. Рыба, классический объект для лабораторных исследований. 11. Репинская территория. 12. "Мотыга плотника" в Древнем Египте. 17. Знаменитый математик XIV века, издавший первый в Италии альманах. 18. Популярное оружие гранданской войны. 20. Антриса, сыгравшая Натюшу Маслову в фильме М. Швейцера "Воскресение". 22. Фома — "Сумма теологии" — "Сумма технологий". 25. Древнегреческая мера площади, четверть гектара. 26. Представитель древневосточного народа, у которого было принято благодарить за "милостивое наказание розгами". 28. Лютый зверь Древней Руси. 29. Ученый и путешественник по Кавказу и Ирану, внук химика Нлпрота. 31. Оборон деньгами или продуктами в феодальной Европе в пользу сеньора. 32. Пронурор Паринской коммуны, жестокий и мстительный. 34. Индийский тмин. 35. Ее не было у Обломова. 36. Снаряд циркового жонглера-силовина. 39. Компонент первого искусственного материала в человеческой истории. 40. Молочиник у Шолом-Алейхема. 43. Мертвые в тибетской мифологии, обитающие на небе. 44. Самый романтический герой Т. Готье. 45. Существо, которое должны лечить как врач, так и ветеринар. 48. Толное, непроходимое болото. 49. "Неодушевленный раб" (Аристотель). 50. "... венчанный" (А. Пушкин о Грозном). 51. Низшая судебная должность в Древней Руси. 53. Допрос под пыткой в старину. 54. Город, куда был сослан Овидий. 55. Совокупность царских парадных одежд. 58. Золотой, а то и алмазный предмет, венчающий пагоду в Мьянме.

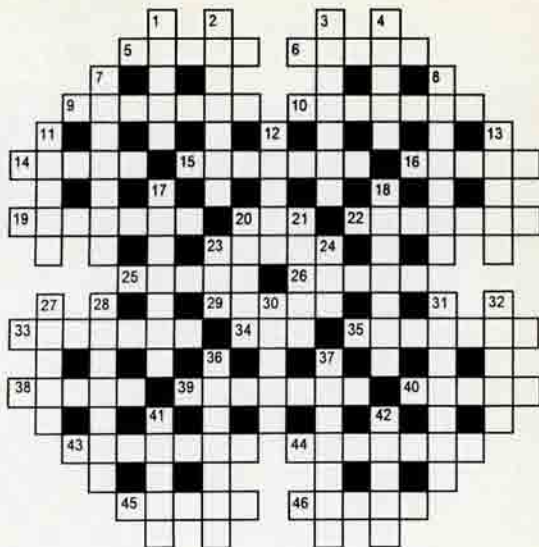
ОТВЕТЫ НА "ЭРУДИТ", НАПЕЧАТАННЫЙ В № 12

По горизонтали: 4. Жгари. 7. Слуд. 10. Циперус. 12. Лихтенберг. 13. Еропкин. 15. Шихтмейстер. 16. Рогоз. 19. Налог. 23. Уста. 26. Нублин. 28. Ищерия. 30. Норвет. 31. Липоло. 33. Юрон. 34. Слав. 40. Дайра. 41. Хулганго. 44. Анкемиз. 45. Бермондьер. 48. Телемор. 47. Иней. 48. Прут.

По вертикали: 1. Вилбрин. 2. Чеплон. 3. мунш. 5. Глиста. 6. Риттер. 8. ... лебейство. 9. Дага. 11. Ачиси. 14. Нисон. 17. Занн. 18. Мечта. 20. Гугли. 21. Ньелс. 22. Тик. 24. Битог. 25. целомудрие. 27. Номад. 29. Аил. 32. Олава. 35. Варенец. 36. Дроздов. 37. Пинон. 38. Фандор. 39. Яслерс. 42. Октет. 43. Эбби.

КРОССВОРД

По горизонтали. 5. И этикетка, и документ из Золотой Орды. 6. "Ну-нежная земля" в Немеровской области. 9. Публичное признание заслуг. 10. Перпендикуляр к касательной, проходящий через точку касания. 14. Одна из танталовых мин. 15. "Небесный" музыкальный инструмент. 16. Противоположность пиано. 19. Медуница, окопник, сыняк (соцветие). 20. Значимость. 22. Буква греческой азбуки. 23. Ребенок от родителей разных рас. 25. "Дворянский" титул у цыган. 26. Импортный арман. 29. Эпос частной жизни в художественной литературе. 33. Отец Параски в "Сорочинской ярмарке" Н. Гоголя. 34. Заростренная палка, которую суеверие "втыкало" в могилу ведьмы или ведьмана. 35. Знаменитый японец, последние гравюры подписывавший:



"Старик, одержимый рисунком". 38. Сибирская сарана, выросшая, по легенде, из сердца погибшего Ермака, как цветок. 39. Самогонщик в старой Руси. 40. Личинки и молодые пчелы в улье. 43. Ласточка, не способная в отличие от касатки схватить добычу с травинки или стены. 44. Уговор, соглашение. 45. Народ, один из творцов античной цивилизации. 46. Французская писательница, ненавидевшая Наполеона.

По вертикали. 1. Архитектурный фонарь. 2. Повесть А. Пушкина. 3. Корна на ноге чеповена. 4. Рябинка, незаменимая при мытье бочен для засолки огурцов. 7. Съедобный гриб с приятным вкусом и фруктовым запахом. 8. Чужое подлинное имя, поставленное автором произведения вместо своего. 11. Убийственный способ воздушного боя. 12. Итоговая сторона бухгалтерских счетов. 13. Отступление во время военных действий. 17. Солдат в исполнении В. Шунгина в фильме "Они сражались за Родину". 18. Глава церковного округа у христиан. 20. Лавровая награда победителя на античных Олимпийских играх. 21. Жаростойкий чугуун для производства колосников. 23. Утопист, друг Эзрама Роттердамского. 24. Чин у священнослужителей. 27. Порт на Одре, один из первых объектов фашистской агрессии против Польши. 28. Комедия Н. Гоголя, показавшая мерзкие стороны чиновничьей России. 30. Часть уха, "созданная" для сережек. 31. Химический элемент, который открыл Н. Клаус и назвал во славу России. 32. Поле-ва страда. 36. Новрин, подстилка. 37. Природа достигшая совершенства" (О. Генри). 41. Обычный объект манипуляций у закатателей змей. 42. Английский ученый, сформулировавший первое определение химического элемента.

Составил Владимир Филиппов, Екатеринбург

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 12

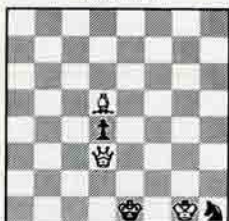
По горизонтали: 3. Нурикуль 9. Манар 10. Ливан 11. Верлибр 12. Финлиш 14. Чашава 15. оягта 17. Пимен 20. Иваны 23. Гидич 25. Увечье 26. Центриоль 27. Руфь 28. Уси 29. Хабаровск 31. Нарзан 32. Сейвал 33. Фильм 36. Талия 37. Ершов 40. Парфос 42. Йован 43. Система 44. Адепт 45. Бомба 46. Нандарм

По вертикали: 1. Базис 2. Данио 4. Ущелти 5. Ниль 6. Лобвин 7. Титан 8. Лавина 9. Наука 13. Шприц 14. Чарвы 16. Австралия 17. Пятигорье 18. Агаряне 19. Земфира 21. Ячество 22. Зернало 24. Ченан 25. Улисс 29. Ханас 30. Нитой 33. Физика 34. Мрамор 35. Бандэ 36. Туппа 38. Выбор 39. Шарба 41. Энд



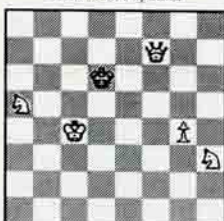
Под редакцией международного гроссмейстера Виктора Чепижного
VII международный конкурс составления шахматных задач-миниатюр

К. ГРЮНЕВЕЛЬД
Голландия



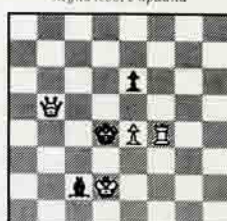
#2

Б. ЖЕНЕРУН
Полтава, Украина



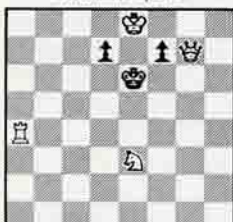
б) а) после 1 хода #2

В. ДЯЧУН
Мукачево, Украина



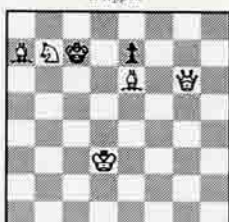
#2

Н. НОНДРАТЮК
г. Плехов, Украина



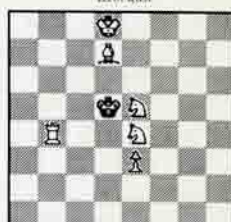
#2

В. ЗИНОВЬЕВ
г. Курск



б) Фg6-h6, в) Крс7-г7 #2

Х. ФРЕБЕРГ
Швейцария



б) ч.л.сб, в) - б) в. Крсб #2

Д. МАХАТАДЗЕ
г. Зестафони, Грузия



б) после 1 хода #3

В. НАЛАНДАДЗЕ
Тбилиси, Грузия



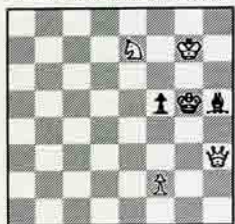
#3

В. НОВАЛЕНКО
г. Большая Камень Приморского кр.



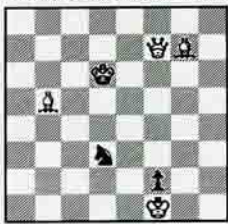
#3

Ю. АНДРИВСКИЙ
пос. Каминский Ивановской обл.



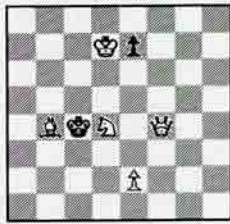
#3

В. ЛУНЬЯНОВ
с. Александровское Ставропольского кр.



#3

С. НИКОЛАЕВ
Иваново



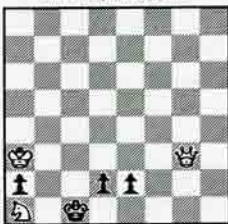
#3

Р. УПСТРЕМ
Швеция



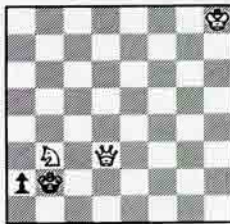
#4

Д. МАХАТАДЗЕ
г. Зестафони, Грузия



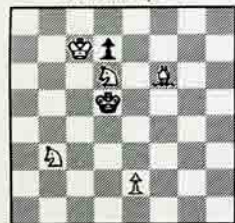
#4

Ю. БАЗЛОВ
Владивосток



#5

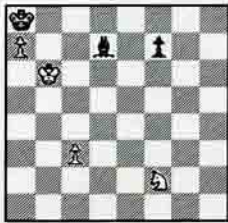
А. ЗАЕЗНАЙ
с. Мельня, Украина



в) п.с2 - в4

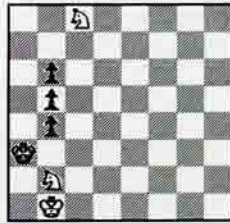
#5

А. НУРАВЛЕВ
Тула



#7

А. МАНВЕЛЯН
Ереван, Армения



#8



Для рожденных под покровительством Марса, властных и энергичных **ОВНОВ** январь будет самым напряженным месяцем года. Некоторая импульсивность и честолюбие могут затруднить ваши отношения с коллегами по работе и близкими. Призвав в союзники свойственную вам выдержку и самообладание, направьте свою энергию в бизнес. Это поможет получить неплохой урожай в будущем.



ТЕЛЬЦЫ! Ваш покровитель — Венера, а потому вы эмоциональны и несколько противоречивы. Динамичность января призывает вас к бдительности и осторожности. В этом вам поможет ваш трезвый рациональный ум. А январь подарит встречи с интересными для вас людьми и откроет новое поле для реализации ваших способностей.



Умные, разносторонние, любопытные **БЛИЗНЕЦЫ**, ваша планета — Меркурий. Январь для вас — месяц противоречий. Разделите его надвое: серьезные предприятия отложите на вторую половину месяца, там вас ждет успех, если вы не забудете вернуть старые долги в начале января.



Открытые, мечтательные, рожденные под покровительством Луны, **РАКИ!** Для вас в январе закладывается фундамент здания, имя которому — Год. Насколько ответственно и рассудительно вы относитесь к его постройке, настолько комфортно и безопасно вы будете чувствовать себя в этом году. Напряжение этого месяца потребует много здоровья, позаботьтесь о нем.



Царь звезд — Солнце покровительствует центральной фигуре Зодиака — **ЛЬВУ**, а потому вам и “первая чарка и первая палка”. Как и для большинства январь для вас — месяц основополагающий. Сконцентрируйте свои внутренние силы, так как не исключены большие нагрузки в профессиональной деятельности. Свойственные вам сознание и дисциплина принесут удачу.



В знаке **ДЕВЫ** рождены люди, обладающие глубоким характером и практичным умом. Этими качествами вы обязаны вашему покровителю — Меркурию. Однако в январе многие из вас могут быть вовлечены в сомнительные мероприятия и тогда все прежние усилия окажутся напрасными. Ваше оружие — ясность мышления, которое поможет вам не поддаться страстям.



Уравновешенный характер, свойственный представителям знака **ВЕСОВ**, поможет вам спокойно пережить достаточно импульсивный месяц январь. Удачному балансу своего характера вы обязаны Венере и Сатурну. Но будьте осмотрительны, так как в январе возможно недопонимание со стороны окружающих, что подтолкнет вас к поиску новых партнеров и источников дохода.



Контрастный, темпераментный **СКОРПИОН**, рожденный под покровительством Марса и Нептуна, должен быть начеку. Январь для вас — месяц перемен. Может измениться многое и не всегда по вашей инициативе. Ваше руководство к действию: “Семь раз отмерь, один — отрежь.” Необдуманные слова, поступки могут привести к серьезным конфликтам.



Планета счастья — Юпитер покровительствует **СТРЕЛЬЦУ**. Ваша счастливая звезда поможет заложить в январе фундамент благосостояния и

карьеру на весь год. Символ Стрельца — Кентавр, а привычное дело — движение, потому будьте предельно внимательны, так как в январе возрастает количество аварий и катастроф. Не ленитесь, в конце января вас ждут успехи в делах.



Самый выносливый и стойкий из всех знаков Зодиака — КОЗЕРОГ. Ваш покровитель — Сатурн. В январе вам предстоит заняться делами на новом поприще. Но имейте в виду, большинство поступивших вам предложений будут носить явно авантюрный характер. Аналитический ум и упорство, свойственные вам, помогут сделать правильный выбор.



фото **Михаила Шибалина**



Эмоциональные и впечатлительные натуры рождены под знаком ВОДОЛЕЯ. Ваши планеты — Сатурн и Уран. Составленные ранее планы в середине января могут быть нарушены. И виной тому — не выполненные прошлые обязательства и обещания. Январь для вас — месяц раздумий. Совершите маленький экскурс в прошлое и будущее. Вы всегда готовы прийти на помощь, а потому вас любят.



Юпитер и Нептун покровительствуют тонкой и интуитивной РЫБЕ. Живой ум и мудрость помогут вам мобилизовать внутренние силы и встретить январь — месяц перемен и переоценки ценностей, когда прежние планы и замыслы могут претерпеть значительные изменения, а наряду со своими проблемами придется решать проблемы друзей и близких.



ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ
АВСТРАЛИЮ

ВМЕСТЕ С

АЛПА ТРЭВЭЛЗ

Москва, Кайсариловский пр., 17А

Тел: (895) 246-00-15, 296-02-07

Факс: (895) 246-61-25